Мэри Мейн

Эвита

Женщина с хлыстом

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Данная книга биографическая и повествует о жизни Эвиты (настоящее имя Эва Дуарте де Перон) – звезды эфира, жены аргентинского президента, диктатора Хуано Доминго Перона, «защитницы угнетенных» и «великой благодетельницы», кровожадной и жестокой властительницы. Судьба и амбиции вознесли ее на вершину власти. Заполучив в свои руки миллиардное состояние, она поставила себе цель – отомстить высшему обществу за свое голодное, полное унижений детство.

- Мэри Мейн
  - Буэнос-Айрес
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Эпилог – 1977
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Мэри Мейн
Эвита. Женщина с хлыстом

Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес – мой родной город, так же как для вас – Сиракузы, или Омаха, или Сан-Франциско, если вы родились и выросли там. Я сохранила о нем детские воспоминания, которые неизменно пробуждают все пять человеческих чувств, возвращая к жизни давно утраченные восторги. Я знаю его ритм – от быстрого перестука копыт по булыжной мостовой до шуршания автомобильных шин по асфальту авеню и легкого топота беспокойных ног, когда люди толпою покидают станции метро, торопясь на работу.

В то время болтовня женщин-служанок под томно клонящимися деревьями на площади звучала для детских ушей мирно, словно воркование голубей, в долгие часы сиесты все говорили шепотом, и закрытые ставни защищали комнаты от зноя или от пыли, что дымкой заволакивала город перед грозой, пока ветер не начинал хлопать окнами, разгоняя детишек, словно маленькое стадо, и наполняя душу восхитительным беспокойством. Первая мировая война шла где-то в другой части земного шара и, казалось, в ином времени.

Но отголоски этой бури доносились и до нас, и рябь покрыла прежде спокойное течение дней, и уже не из-за пыли закрывались в городе окна и запирались двери. Перед нами замаячил образ окруженного охраной пожилого человека с дуэльной шпагой, и дамы, собиравшиеся в гостиной моей матушки, щебетали, словно растревоженные птички, при звуке ружейных выстрелов или же взволнованно шептались о президенте[1], который, похоже, считал, что рабочий класс вправе с полным основанием разрушить уютные гнездышки.

К двадцатым годам ненависть утихла, и жизнь стала спокойной и роскошной, словно поток «роллсов» и «даймлеров», медленно объезжавших розарий парка Палермо; леди в высоких шляпах, похожих на бочонки, слегка наклоняли головы, приветствуя знакомых, так же, как и они, упражнявшихся в этом благородном искусстве каждый четверг во второй половине дня. Это было время обедов из пяти перемен блюд и вечеринок с картами, время, когда у одних целое утро тратилось на то, чтобы подобрать материю на платье, а у других целая жизнь проходила за плитой в темной кухне. Наш президент тогда носил не форму, а сюртук. Я увидела его как-то раз – дородный плешивый джентльмен вылезал из автомобиля, держа в руках свой цилиндр, – и с юношеской непосредственностью воскликнула: «Смотрите, это же Pelado![2]» А он повернулся и – ужасно меня

смутив – отвесил мне изящный маленький поклон.

Двадцатью годами позже я ехала с другом по Авенида Альвеар; притормозив в пробке, он вдруг толкнул меня локтем: «Смотри, в том автомобиле – Перон». Я наклонилась вперед, чтобы разглядеть плотного привлекательного человека в белом кителе, и недоверчиво покачала головой, а всенародно избранный президент, заметив мои сомнения, добродушно усмехнулся, кивнул и выразительно постучал себя по груди. Между этими двумя жестами – поклоном и улыбкой, между цилиндром и кителем промелькнула целая эпоха.

В тридцатые годы, когда в один прекрасный вечер правительство было арестовано, мы скорее удивились, чем встревожились, поскольку считали Аргентину таким же благополучным государством, как Англия в дни Гладстона. Нас совершенно не смущало то, что в более мелких странах Латинской Америки революции стали частью политической жизни. А новое десятилетие, похоже, окончательно убедило нас в том, что мы живем в респектабельной, процветающей и спокойной стране – это было десятилетие экономического прогресса, новых квартир с кухнями, сверкающими электрическим оборудованием, вечеринок с коктейлями и бриджа, и в обществе больше ворчали по поводу прислуги, которая «забыла, где ее место», нежели из-за посягательств правительства на идеалы свободы. Странным образом, наш президент[3] сам был первым и наиболее рьяным поборником гражданских свобод; и город испытал подобие страха, когда поползли слухи, что его держат в заключении, что его отравили. Однажды я проходила мимо дома, где умирал тучный и почти слепой человек, и при моем приближении охранники выступили вперед и без церемоний объяснили, что мне следует перейти на другую сторону улицы.

А потом настало время, когда конная полиция патрулировала безлюдные проспекты, и мы просыпались ночью от топота копыт, а иной раз видели толпы, которые в сумерках лавиной катились к Калье Флорида, теснимые грузовиками с вооруженными людьми. И так, практически без насилия, мы, оставаясь гражданами богатой и мирной страны, оказались под игом диктатуры.

Я покинула Буэнос-Айрес почти сразу после того, как Перона в первый раз избрали президентом, и вернулась туда уже в 1951 году. Старый, неторопливый уклад жизни безвозвратно ушел в прошлое, как и повсюду в мире, и на первый взгляд город изменился к лучшему; чуть ли не в каждом бедном квартале мрачные бараки теснили строящиеся новые дома, а центральные

проспекты украсились монументальными правительственными зданиями. Цветочные лавки на углах, как и раньше, пестрели всевозможными экзотическими красками, а на улицах все еще предлагали букеты роз и гортензий – всего за несколько центов. По вечерам Калье Флорида, которую закрывали для движения машин, была полна людей, словно танцплощадка в boite[4], и в этой разноязыкой толпе витал дух довольства и благополучия. Образ жизни, казалось, не изменился, лишь ритм ее стал стремительнее – интересы людей по-прежнему вращались вокруг нарядов, вечеринок с коктейлями и уик-эндов в загородном доме или в estancia[5]; говорили все больше о растущих ценах, о том, как быстро сколотить состояние, о правилах игры в гольф и о дефиците сливочного масла, а еще о добрых старых временах, когда кухарке платили пятнадцать долларов в неделю и она при этом брала на себя всю стирку; но было заметно, что люди стараются перевести разговор на бытовые темы, чтобы скрыть свою озабоченность. И только мелкие детали выдавали кроющийся за этим внешним легкомыслием постоянный страх: палец, прижатый к губам и кивок в сторону шофера такси, сидящего спиной к пассажирам, красные кресты, намалеванные на дверях, и струящие свет рекламные щиты в городе, по ночам почти полностью погруженном во тьму, а на них – два имени, которые не полагается произносить вслух. Все это принадлежало другой жизни, жизни, полной тайного ужаса, затрагивавшей всех нас, поскольку не нашлось бы человека, у которого кто-нибудь из знакомых не был бы невинно арестован и который чувствовал бы себя в безопасности. Хотя в гуще социальной и деловой жизни эта угроза присутствовала лишь в качестве фантазии, она непосредственно коснулась только некоторых, остальным же она казалась каким-то нелепым отклонением от реальности бизнеса, баров и клубов. Но боялись все, и это проявлялось в настойчивости, с которой беседа – не для чужих ушей, но зачастую весьма неосторожно – сводилась к слухам о том, что готовятся беспорядки, или что приближается бунт, или к сплетням о ней. Да, за всеми этими страхами стояли мысли о ней, поскольку она стала символом нестабильности и опасности, пришедших в жизнь, и множество людей связывали происходящее с ней тем больше, чем больше они пытались преуменьшить ее влияние и власть. Только те, кто составлял активную политическую оппозицию режиму, могли говорить о ней сдержанно и с достоинством, если они вообще о ней говорили.

В первый раз я увидела ее в самом расцвете ее красоты. Это было на гала-представлении в «Колон-опера», где я стояла в толпе, за двойным рядом военных, вытянувшихся по обеим

сторонам лестницы. Толпа состояла в основном из секретарш и продавщиц, хотя попадались и семейные пары; все они ждали, и на их лицах было написано не столько рвение, сколько алчность. Не слышно было даже упоминания ее имени, никаких разговоров или шуточек, каких можно ожидать на подобном сборище; среди всех этих людей не чувствовалось ни единодушия, ни дружелюбия. Наконец по толпе прокатился ропот, потом послышались повелительные окрики военных, и на устланных ковром ступеньках появилась она: тоненькая, светловолосая, темноглазая женщина пролетела мимо нас с головокружительной быстротой, ее развевающееся платье и шелковая накидка были розовыми с отделкой по краю золотом и снова розовым – только более глубокого цвета. Она задержалась на мгновение, чтобы одарить улыбкой тех и этих, затем снова прибавила шаг. Президент и его министры следовали за ней по пятам.

Как-то вечером я наткнулась на группу людей на центральной улице. Полицейские сновали вокруг и проверяли у всех документы. Вдоль тротуара выстроились патрульные машины, а на балконах над ними электрики устанавливали прожекторы, освещавшие вход в здание напротив, увешанное портретами Перона и Перонситы с его пиджаком в руках. Собравшиеся были в основном женщины из бедноты: прислуга из близлежащих многоквартирных домов, пожилая крестьянка, укутанная в шаль до подбородка, мускулистая девушка-работница, с ног до головы одетая в черное, с лицом средневековой фанатички; несколько продавщиц, подбоченившись, высовывались из дверей своих магазинчиков. И снова никто не называл имени; вообще, не было никаких разговоров до тех пор, пока одна молодая девушка с приятным и открытым лицом не спросила громко, что здесь сейчас будет. Никто не ответил ей, и мне пришлось объяснить, что мы хотим увидеть президента и его жену, которые каждую неделю приезжают в школу, размещающуюся в этом здании, чтобы сказать речь юным перонистам. «Ха, – бросила она. – В моей стране такой чепухой не занимаются. Мы можем увидеть своего президента на пляже или в бассейне в любой день, когда пожелаем». В толпе произошло едва заметное движение, словно люди, окружавшие нас, все как один попытались отодвинуться как можно дальше. «В вашей стране?» – переспросила я. «В Уругвае, – ответила девушка, и в ее голосе зазвучали воинственные нотки. – У нас есть то, чего нет здесь, в Буэнос-Айресе, – свобода!» Это был уже неприкрытый вызов, но никто ей не ответил. Она рассмеялась, пожала плечами и ушла, а толпа хранила молчание, и каждый избегал смотреть в глаза другому.

Наконец у освещенного прожекторами входа резко

затормозил джип, из него выскочили двое молодых людей. Они вполне могли сойти за близнецов – с одинаковыми, подбитыми ватой плечами и набриолиненными черными волосами. Один нес букет лилий, другой – вазу с розами и блюдо сладкого горошка, они прошествовали в школу с озабоченной поспешностью любителей, готовящих сцену для профессиональных актеров. Прибыл дополнительный наряд полиции и принялся оттеснять толпу еще дальше назад; пожилая крестьянка отказывалась двигаться до тех пор, пока они не подхватили ее под руки и не оттолкнули. Потом подъехали два автомобиля, из одного из них вышла Эва в окружении мужчин. У залитого светом входа она на минутку задержалась, послала толпе свою сияющую улыбку и исчезла, сопровождаемая яростными аплодисментами и – пожилой женщиной, которая, увернувшись от полиции, отчаянно рванулась за ней, но ее схватили раньше, чем она успела добежать до дверей. Старуху тут же увели.

Всякий раз, когда я видела Эву, повторялось одно и то же: немая толпа, которая, даже поклоняясь ей, похоже, все равно боялась произносить вслух ее имя – разве что по команде и хором. Хотя имя это вместе с именем Перона было начертано по трафарету на каждой стене, она улыбалась с портретов в любом сколько-нибудь официальном помещении, во всякой комнате на всякой железнодорожной станции, на каждой почте и в каждой школе, в магазинах и конторах, она неуловимо и неумолимо присутствовала везде, и мысли о ней неотступно преследовали всех жителей города.

Глава 1

Я – женщина из народа…

Э.П.

В гостиных и кафе Буэнос-Айреса в то время циркулировало такое количество скандальных слухов о Марии Эве Дуарте де Перон и ее жизни, что жизнь эта приняла расплывчатые и туманные очертания мифа еще до того, как пролетела хотя бы ее половина. Никто – и без сомнения, ни единая женщина в истории Южной Америки – не вызывал такого количества споров и разногласий, не возбуждал такой ненависти и такого фанатичного обожания, как она. Одного упоминания ее имени было достаточно, чтобы разбудить самые бурные чувства, так что говорить о ней беспристрастно не представлялось возможным; те, кто лучше всех знал ее, столько потеряли или приобрели в результате знакомства с нею, что не могли судить объективно, те, кто превозносил ее до небес, делали это с таким чрезмерным раболепием, что не столько убеждали собеседника, сколько вызывали у него легкую тошноту; те, кто критиковал ее, даже отрицая свою предвзятость, говорили с такой страстной ненавистью и обвиняли ее в столь многих извращениях, что все их речи начинали звучать сомнительно. И ко всем этим чувствам – будь то преданность или непримиримая вражда – примешивался страх, который, разумеется, по большей части и являлся причиной того и другого. Нельзя было задать вопрос или ответить на него, не бросив мимолетный взгляд через плечо, не посмотрев, не стоит ли кто за спиной. Ее могли восхвалять при скоплении народа или чернить в частной беседе, но любая серьезная попытка понять ее характер и поступки в одно мгновение запускала дьявольский механизм страха; те, кто осуждал ее, не без оснований боялись, что даже доверенный собеседник может разгласить сведения и тем самым невольно навлечет на них беду; сторонники же не допускали даже самой слабой критики, считая, что малейший недостаток энтузиазма может быть воспринят как desacato[6], которое вполне уместно наказать тремя годами тюрьмы.

Сама Эва Перон ничего не делала для того, чтобы рассеять облака слухов и вымыслов, окутывающих ее имя. Она запретила любое упоминание о своем прошлом, кроме разве того факта, что она была низкого происхождения, и уничтожала все документы и свидетельства, которые только попадали ей в руки, а в Аргентине

мало что находилось вне пределов досягаемости этих жадных белых ручек. Казалось, она пыталась заставить всех поверить, будто она, сияющая словно Феникс, восстала из пепла революции 1945 года, чтобы сразу сделаться женой Хуана Доминго Перона. И тот образ, который она представляла публике, будучи в расцвете женственности, очаровательный образ Леди Щедрости, посвятившей свою жизнь униженному народу, ни на йоту не ближе к истине, чем самые непристойные сплетни, которые в огромном количестве рождались вокруг нее.

Истинную жизнь Эвы Перон скрывали жадность и ненависть, тщеславие и страх, поэтому любой, кто берется теперь писать о ней, чувствует необходимость принести свои извинения – но не героине «биографии», которой теперь уже безразличны даже самые ложные толкования, но читателям, которые, возможно, рассчитывали найти в этой книге документальные свидетельства и четкое изложение событий. Но такая биография, если она вообще будет написана, появится лишь через много лет, когда позабудутся яростная ненависть и звуки фанфар, и только в одном можно не сомневаться: что эта история окажется, скорей всего, еще более поразительной, чем все то, что мы знаем сейчас.

Мария Эва Дуарте родилась 17 мая 1919 года в Лос-Толдос, маленьком пуэбло в провинции Буэнос-Айрес, примерно в двух сотнях миль от столицы. Человек, никогда не видевший такого пуэбло, не может себе представить, насколько тоскливы эти места. Пуэбло подобны еще не застывшему гипсовому слепку на плоской деревянной тарелке, их маленькие грязные домишки карабкаются к небу из грязи и пыли, из которой и были построены. Пыль лежит всюду – слоем толщиной в фут она покрывает немощеную дорогу, на которой проходящее стадо вздымает белые пыльные клубы. Еще некоторое время она столбом стоит в жарком воздухе, затем вновь медленно опускается на землю. Пыль просачивается в крошечные домишки, чьи розовые и желтые ставни не в силах сдержать ее серовато-коричневые облака; песок попадает в кушанья и забивается в складки одежды, скрипит на коже и на зубах, и самом сердце человека. Пыль и тишина царят повсюду, мертвое спокойствие нарушают лишь дворняги, перебегающие дорогу, чтобы почесать бок о железную лопасть ветряного двигателя, который тихонько позвякивает, ворочаясь на ветру. Мухи жужжат во дворе над выброшенной требухой, порой мужские голоса на мгновение, в порыве секундного гнева зазвучат громче или же женщина выбранит плачущего ребенка.

Небо и земля огромны. Пуэбло окружают обширные, богатые

поля – от семи до одиннадцати футов самого лучшего чернозема, где ветер радостно перешептывается с молодыми побегами кукурузы или поднимает тучи желтых бабочек с полей цветущей люцерны. Печники вьют гнезда на столбах ограды, а совсем мелкие пичужки стараются удержать равновесие на верхних рядах колючей проволоки. И надо всем этим, словно перевернутая чаша, – величавый купол неба, по сравнению с которым пуэбло да и сам человек кажутся размером с насекомое. По ночам он сверкает звездами, которые здесь ярче, чем на севере, днем по большей части обретает ясную, невыразимую голубизну – если чернильно-черные грозовые облака не двинутся от горизонта и дождь и град не пронесутся галопом по пампасам, чтобы сбить пыль и превратить ее в непролазную грязь, которая в те дни, когда дороги еще были грунтовыми, напрочь преграждала путь от одного пуэбло до другого.

Именно здесь, где человек и его дела кажутся такими ничтожными, а земля и небо такими большими, выросла мать Эвы, Хуана Ибарген: хорошенькая, несколько вульгарная и веселая девушка, в жилах которой текла кровь басков. Если Хуана и получила какое-то образование, то разве что начальное, поскольку семья ее жила бедно. Говорили, что ее отец был кучером: возможно, он правил одной из тех, похожих на катафалк, повозок, которые подвозили богатых землевладельцев от станции до estancias, – в те дни, когда автомобилей еще не изобрели. В пуэбло, наподобие Лос-Толдос, у девушки, желавшей устроить свою жизнь, имелось всего несколько возможностей: если у нее было хоть какое-то приданое, она могла надеяться удачно выйти замуж, те же, кто претендовал на образованность, пытались пойти в школьные учительницы или работницами на почту. Но если у девушки не было ни того ни другого и при этом она желала сохранить хотя бы видимость приличия, ей оставалось только наняться служанкой в дом какого-нибудь богатея по соседству, где, даже если на нее не клевал сам хозяин, у нее все же оставался шанс приглянуться одному из его сыновей или работников. А затем она могла выйти замуж за какого-нибудь пеона, которому нужна была бы женщина, чтобы готовить еду и помогать ему в поле. Девочка старше четырнадцати лет, сохранившая невинность, являла собой забавное исключение, и слишком многие оканчивали свою карьеру проститутками на грязных ранчо, ютившихся на окраине пуэбло.

Однако для хорошенькой девушки оставался и еще один путь: найти какого-нибудь женатого мужчину и понравиться ему настолько, чтобы он стал обеспечивать ее – разумеется, не в ущерб собственной семье. Это, конечно, не избавляло ее от

необходимости брать деньги с обычных «покупателей», но давало некое временное ощущение стабильности и даже нечто вроде положения в обществе – в зависимости от состоятельности и статуса «спонсора»; а иногда подобная связь перерастала в стабильные взаимоотношения, почти столь же респектабельные, как и официальный брак.

Хуана Ибарген нашла себе покровителя в лице Хуана Дуарте, человека среднего достатка, уроженца городка Чивилкой, находившегося неподалеку, уже успевшего обзавестись там семьей. В той двойной жизни, которую он вел, не было ничего необычного – такое встречалось сплошь и рядом. Его поступок удивил бы разве что самых высокомерных пуритан из числа его знакомых, и негодовать по этому поводу могли если только в его законной семье в Чивилкой. Хранить верность жене считалось в то время чудачеством, а Хуан Дуарте был человеком консервативного склада.

Его отношения с доньей Хуаной, как ее из вежливости стали называть, продолжались больше двенадцати лет и принесли пятерых детей, из которых Мария Эва была самой младшей. Судя по всему, Хуан Дуарте чувствовал некую ответственность за свой незаконный выводок: если он и не жил с ними, то, во всяком случае, частенько навещал. Они без стеснения назывались его фамилией, а крестный Эвы был его добрым другом.

Для маленькой Эвы первым «выходом в свет» стали похороны отца. Когда Хуан Дуарте почил с миром, его семья в Чивилкой, с вполне понятным жестокосердием, ответила отказом на просьбу доньи Хуаны позволить ей с детьми проводить его в последний путь. В Аргентине похороны считаются делом семьи, и присутствие доньи Хуаны означало бы формальное признание ее отношений с умершим, к чему она так жадно стремилась и чего сеньора де Дуарте так же сильно желала избежать. Донья Хуана обратилась к крестному Эвы, и после долгих переговоров удалось достичь компромисса – детям доньи Хуаны, но не ей самой, разрешили присутствовать на церемонии.

Элизе, старшей в семье, исполнилось в то время одиннадцать, Бланке – девять, единственному мальчику, Хуанито, – пять, Арминде – три, а маленькой Эве – два года. Она была достаточно мала, чтобы восседать на руках у крестного, но возможно, и достаточно взрослой, чтобы почувствовать атмосферу, которая царила в более зажиточной и развитой семье ее papito, и ощутить их враждебность. Даже для двухлетнего ребенка большое потрясение узнать, что его отец принадлежит другой семье.

Девочек, и даже самую младшую, с утра обрядили в мрачные черные блузы и длинные белые чулки, а также, наверное, и в

новые черные туфли, а Хуанито на рукав пришили тесьму из черного крепа – этими формальностями не пренебрегали даже в самых бедных и скверных семьях. Эва была маленьким, тихим ребенком со смуглым личиком и густыми, темными волосами. Утвердившись на руках крестного, она получила преимущество перед своими братьями и сестрами: она могла с высоты рассматривать головы и плечи более желанных гостей, собравшихся у гроба ее отца, и взирать на своих сводных сестер с неумолимой детской враждебностью в темных глазах.

Первые годы после смерти Хуана Дуарте донья Хуана и ее дети терпели жестокую нужду. Ей нечем было добывать себе средства к существованию, кроме как найти нового покровителя для себя и своих детей. Но донья Хуана знала, как угождать мужчинам, вела себя умно и не останавливалась ни перед чем, так что ей в конце концов удалось поймать в свои сети одного увлеченного ею итальянца, хозяина маленького ресторана – скорее закусочной – в Хунине, городке, расположенном в сорока с лишним милях от пуэбло. И хотя с финансовой точки зрения их жизнь не слишком улучшилась – чтобы свести концы с концами, донье Хуане приходилось брать постояльцев, детям, переехавшим в Хунин, казалось, что они перебрались чуть ли не в столицу. Там были двухэтажные здания, вокзал и гостиница, мощенные булыжником улицы и площади с парой скамеек, несколько магазинов, торговавших миткалем, хлопком и дешевым шелком кричащих расцветок; некоторые женщины вместо башмаков с веревочными подошвами – обычной обувью в деревне – носили туфли на высоком каблуке; и не все мужчины были одеты в объемистые bombachas[7], удобные для верховой езды, – кое-кто ходил в строгих костюмах даже летом. Правда, пиджаки заменяли легкие куртки, покроем напоминавшие пижаму. Один или два раза в неделю в грязном зальчике показывали кино, и по мостовым вместе с высокими двуколками, которые гремели колесами, взбивая пыль между камнями, грохотали «форды» и «шевроле», привозившие почту для жителей estancia, и обдавали тротуары и дома целыми тучами пыли.

Дом, в котором жили Дуарте, был типичным для аргентинских городов – на самом деле позже они перебрались в другой, точную копию первого, – выстроенный в форме буквы «F», верхняя часть которого представляла собой фасад дома с двумя окнами, балконами и узкой парадной дверью, выходившей прямо на тротуар. Ряд спален, располагавшихся позади «залы», окна которой выходили на фасад, окон не имели, поскольку обращены были к задней части дома, но зато в каждой было по три двери:

две из них вели в соседние комнаты, а еще одна, с деревянными филенчатыми створками, открывалась в патио, вокруг которого и размещались комнаты. С другой стороны патио закрывала стена соседнего дома, а в середине его разделяла надвое большая комната, которая предположительно должна была служить столовой и отделять переднюю часть дома от кухни на задах. Поскольку донье Хуане приходилось сдавать передние комнаты постояльцам, она с детьми, вероятнее всего, ютилась в «столовой» и в задних комнатах. Наверное, посреди патио росло в кадках несколько деревьев, а в хозяйской части был разбит неизменный маленький садик с лимонным деревом и железной вышкой ветряного двигателя, который снабжал дом водой. Хунин строили согласно плану, единому для всех испанских колониальных городков, и этот план определил надолго облик стандартного аргентинского дома. Дома эти были неудобны – чтобы попасть из одной комнаты в другую, требовалось пройти через все спальни в доме либо через патио – и не оставляли никакой возможности для уединения.

Хотя Дуарте, судя по всему, большую часть времени жили бедно, не похоже, чтобы они когда-либо голодали. В те дни в деревне фунт вырезки стоил меньше десяти центов – мясо не залеживалось, потому что бычка забивали, как только его приводили к мяснику, и нарубленные куски продавали парными. Да, дети не голодали, но их еда была такой же однообразной и такой же неаппетитной, как и вся остальная их жизнь. Основным блюдом служило puchero, похлебка из мяса, овощей и риса, которая сначала готовилась в качестве супа, а затем подавалась как второе. Готовились также огромные кастрюли итальянских макарон, благодаря которым весьма прожорливая семья из шести человек могла прокормиться за двадцать центов и, даже для самых младших, всегда имелось некоторое количество красного вина по десять или пятнадцать центов за литр. Дети были сыты, но о сбалансированном питании в те времена слыхали разве что несколько матерей в Аргентине, и, разумеется, донья Хуана не входила в их число. К молоку относились с подозрением – и не без оснований, и если у ребенка болел живот, ему давали выпить чаю. Куда сложнее было донье Хуане обеспечить своих детей белыми блузами, обычной формой для всех аргентинских школьников, как девочек, так и мальчиков, зачастую красиво прикрывавших те старые лохмотья, которые самые бедные дети носили вместо белья, кожаными туфлями, надевавшимися время от времени вместо дешевых сандалий – чтобы показать, что это не дети какого-нибудь пеона, а также большими белыми бантами, которыми девочки украшали свои головы в праздники.

Их дом был шумным. Донья Хуана пронзительно кричала на дочерей; ее никто никогда не учил сдерживать свой темперамент или язык, а голос аргентинской женщины, как известно, – самый пронзительный в мире. Хуанито, будучи мужчиной, или почти мужчиной, считал, что его мать и сестры – всецело в его распоряжении; в основном он шатался по улицам, являлся домой за полночь и отказывался объяснять причину своих исчезновений. Никто не знал ни порядка, ни режима – младшим детям позволялось сидеть вместе со взрослыми, пока тем не вздумается отправиться спать, и быть свидетелями любых сцен, происходивших между доньей Хуаной и ее покровителем или другими постояльцами, либо слушать по сотому разу пророчества доньи Хуаны относительно будущего своей старшей дочери и ее друзей, когда та, по ее словам, выводила ее из себя. Разумеется, Эва быстро уяснила себе все интимные подробности жизни матери – незаметная маленькая девочка, навострив ушки, слушала все, что только можно, и все подмечала своими зоркими глазками, но привлекала к себе внимание семьи лишь иногда припадками, по их мнению, бессмысленной ярости.

По воскресеньям или по вечерам, когда постояльцы собирались дома, начиналась непонятная возня, мать и дочери всячески выказывали друг другу заботу и внимание, в присутствии мужчин, но те не особенно в это верили, поскольку частенько бывали свидетелями их перебранок.

Но кроме практики в искусстве обольщения своего исконного врага, мужчины, для девочек не находилось в городе никаких развлечений. В школе они заучивали учебники наизусть, повторяя фразы за учителем распевным хором; в Хунине не было ни книжного магазина, ни библиотеки; в окрестностях – никаких местечек для пикника, только прямая пыльная дорога, уходящая за горизонт, которую то здесь, то там преграждал труп лошади или коровы, оставленный на съедение червям и муравьям. Девочки могли прогуляться на вокзал – посмотреть на прибытие поезда из Буэнос-Айреса; и разрушающая душу скука жизни в пуэбло получала живое свидетельство в этих маленьких группках полусонных мужчин и женщин, день за днем собиравшихся здесь, чтобы посмотреть, как поезд промчится мимо. Или же, летними вечерами, взявшись за руки, шататься с подружками – по шесть человек в ряд – круг за кругом по центральной площади. Этот вечерний променад имел свои традиции, которых не нарушали даже те, кто дома не получил никакого понятия о дисциплине – вроде девочек Дуарте. Девушки ходили по кругу в одном направлении, а молодые люди, меньшими группками, – им навстречу. Что девушки замечали молодых людей, можно было

понять только по болтовне и хихиканью, всякий раз, когда они миновали очередную группу. Молодые люди адресовали свои замечания друг другу, но не встречным. Если внимание их привлекала девушка, одетая в зеленое, в группе раздавалось: «Какой сладкой она будет… когда созреет!» Или же, если кто-то держался с вызовом: «Хороша, как роза, но я боюсь шипов!» Шутки, которые от долгого употребления и звучали соответствующе.

Теперь уже и младшие дети ходили учиться. Элиза, самая старшая, единственная окончила среднюю школу. Она нашла себе работу на почте и ухажера из числа постояльцев матери. Друг доньи Хуаны переехал в Буэнос-Айрес, чтобы попытать счастья в безвестном ресторанчике, расположенном всего в паре кварталов от Каса Росада – розового Дома правительства, на балкон которого самая младшая из девочек Дуарте в один прекрасный день ступила под аплодисменты народа. Похоже, донья Хуана умела убеждать мужчин в своей добропорядочности, поскольку итальянец позволил ей оставаться в принадлежащем ему доме и время от времени возвращался, чтобы навестить la vieja[8], как он, с оттенком неодобрения, ее называл. А поскольку донья Хуана к тому времени имела в Хунине уже достаточно приятелей, то его отсутствие не казалось ей такой уж великой потерей.

Горожане в большинстве своем были слишком просты и сами слишком близко знакомы с нищетой и проблемами внебрачных детей, чтобы задирать носы перед семьей Дуарте. Конечно же находились и те, кто не позволял своим дочерям водиться с дочками доньи Хуаны; что касается сыновей, то тут матери оставалось только молиться; и в школе наверняка некоторые ученицы их сторонились, ведь не существует людей, более чувствительных к внешней респектабельности, чем подростки. Но вряд ли у них возникали серьезные проблемы из-за их незаконнорожденности. Для сентиментального аргентинца дитя – дар Божий вне зависимости от того, как он получен, и примерно двадцать восемь процентов младенцев в Аргентине рождено вне брака.

Эва не пошла дальше начальных классов, то ли потому, что семья терпела нужду, то ли из-за того, что она не отличалась крепким здоровьем. Надо сказать, что Эва и не выказывала особой склонности к школьной премудрости, но всегда с радостью принимала посильное, но заметное участие в каждом маленьком школьном празднике. Она также любила патриотические демонстрации в дни национальных торжеств, когда девочки, все как одна одетые в накрахмаленные белые блузки, с похожими на

бабочек белыми бантами на голове, с розетками голубых и белых цветов на груди, маршировали туда-сюда, фальшиво и пронзительно распевая куплеты во славу любимой родины. Именно в такие дни самовлюбленный национализм вбивался в головы аргентинских школьников, и, может быть, для того, чтобы как-то компенсировать оторванность от остального мира, детей учили, что народ их занимает на земле такое важное центральное место, какое разве что солнце занимает на небе. Они пели:

> И свободные люди мира отвечают:
> Хайль! – великому народу Аргентины!

И все же настоящую школу Эва проходила дома, и ее юношеские надежды были вскормлены грубой и жесткой пищей. С самого детства ее учили тому, что жизнь – это борьба за выживание, в которой победы добиваются те, кто не отступает и не останавливается ни перед чем, что она может урвать свое и что мужчина – это естественный враг или же дурак, которого умная девушка должна использовать. Ей ничего не было известно о нежности, которую люди противоположного пола испытывают друг к другу, еще меньше она знала о любви или хотя бы о доверии. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной представлялись ей постоянной битвой, в которой кому-то суждено стать жертвой и обманутой стороной, поскольку в основе их связи плутовство и обман. Мудрая женщина симулирует безразличие или страсть в зависимости от того, что больше подходит для ее целей; глупая девушка, которая позволяет чувствам взять верх и проявляет мягкосердечие, остается в конце концов в роли жертвы – без мужчины и с вереницей детей.

Эва хорошо усвоила этот урок, хотя она и не была «акселераткой»: тихая, худенькая, неприметная, с длинными темными волосами и слабой, почти болезненной комплекции. В ней не замечалось ничего особенного, исключая разве ее нервность и вспышки гнева – единственное, что выдавало томившие ее мечты о славе. Эва ничего не говорила о своих амбициях, поскольку не выносила насмешек, но ее поддерживала уверенность, что в один прекрасный день она станет великой, и богатой, и красивой. В книге[9], опубликованной в конце 1951 года, в которой она претендует на то, чтобы изложить свое жизненное кредо, Эва утверждает, что в раннем детстве испытала ужас, открыв для себя, что большинство людей в мире бедны, и что ею овладело сильнейшее негодование при мысли о несправедливости нищеты. В этом признании есть доля искренности; но похоже, что ее в основном возмущала

несправедливость, от которой она страдала сама: потрепанные одежды, которые ее заставляли носить, и дрянной домишко, в котором все они жили, и слишком близкое знакомство с друзьями своей матери. Чтобы так страстно и отчаянно мечтать бежать, она должна была ненавидеть всей душой свою жизнь, свою семью и даже себя самое.

Нельзя понять во всей полноте прошлое Эвы Дуарте, не осознав той глубочайшей пропасти, которая отделяла людей пуэбло – будь то деревушка вроде Лос-Толдос или скромный городок типа Хунина – от окружающей их провинциальной жизни. Многие из таких пуэбло были подобны миниатюрным полутрущобам, выросшим посреди богатства сельскохозяйственных районов, едва ли не самых процветающих в мире. Все вокруг дышало благополучием и покоем: золотые поля кукурузы, медленно бредущие по равнине стада племенных быков, потрясающие, мускулистые лошади английских пород, старые дома в estancias – дома с высокими потолками, с окнами, прикрытыми ставнями от летнего зноя, тонущие в зарослях мимозы, эвкалиптов и акаций, посаженных во времена дедов и прадедов, – все это принадлежало земельной аристократии Аргентины, олигархам, впоследствии ставшим главными врагами Эвы, которых она преследовала с особой страстью. Но только мизерная часть того богатства, которым обладали estancias, попадала в пуэбло: между людьми estancias и их бедными соседями не существовало практически никакой связи. Даже самые маленькие estancias жили как независимые самостоятельные общины, а те, что были больше – некоторые достигали двадцати пяти тысяч акров, – имели даже свои церкви, школы и больницы. Владельцы estancias – а порой одна семья могла владеть чуть ли не дюжиной гигантских поместий – тратили деньги и проводили свой досуг в Париже, а своих сыновей отправляли учиться в Харроу или Винчестер. Порой они приезжали, чтобы пожить какое-то время в своих великолепных фамильных особняках в Буэнос-Айресе, и тогда их обожаемых накрахмаленных детишек можно было видеть степенно играющими в парке Палермо под присмотром английской няни или французской гувернантки. Их семьи были так тесно связаны друг с другом, а поместья столь обширны, что они постепенно стали смотреть на свою страну как на одно большое фамильное поместье, которым следует управлять – пусть даже добросовестно и справедливо, но всегда к своей собственной пользе и удобству. Они считали людей, населяющих их земли, своей собственностью и были настолько убеждены в своем несокрушимом превосходстве

над другими, что походили в этом на мастодонтов.

За весь год землевладельцы соприкасались с жителями пуэбло один раз – на Рождество, когда вся семья прибывала на поезде, чтобы провести лето в поместье. Перед их приездом в estancia закипала жизнь и начиналась бурная деятельность; как правило, нанималось несколько новых служанок, потому что эти глупые девушки вечно оказывались беременными или же какую-нибудь из них ловили на краже новых платков и управляющему приходилось искать новую прислугу, из числа тех людей, что работали в estancia, поскольку девушки из пуэбло не считались достойными доверия и были «себе на уме». В поместье чистили лошадей, красили ограды, проветривали комнаты, и случалось, мажордом и его жена отправлялись в «форде» или «шевроле» в пуэбло, поскольку что-либо из нужных вещей, как правило, забывали заказать в городе: в близлежащем городке покупалось лишь то, о чем в хлопотах позабыли, или то, что понадобилось по ходу дела. Постепенно поездом прибывали сундуки и чемоданы, потом наемная прислуга, а затем, наконец, глава семьи, patron[10], непременно наряженный в мешковатые белые бриджи – дорогую имитацию сельской одежды – и глядящий на все вокруг с высокомерным снисхождением. С ним приезжала сеньора, а также куча детишек, тетушек, кузин и гувернанток.

Маленькая Эва, наверное, частенько бывала свидетельницей подобных «вторжений», поскольку прибытие и отправление поезда считалось главным событием каждого дня монотонной городской жизни, событием, которое девочки Дуарте старались не пропустить. Видимо, она жадно таращилась на происходящее, подобно тому, как дети глазеют на зверей в зоопарке, испытывая скорее жестокий стыд, нежели вражду к маленьким «олигархам» в накрахмаленных костюмчиках и платьях, неизменно мявшихся, несмотря на неустанные заботы гувернантки, усталым и капризничающим после долгого путешествия в душном поезде. Но богатые детки, должно быть, проявляли к личности Эвы не больше интереса, чем к дворняжкам, которых мажордом жестокими пинками прогонял с дороги, разумеется, без всякого сочувствия. Им куда больше нравился чистопородный фокстерьер, которого их отец привез из Англии на племя. Их учили, что порода – это все, и потому между детишками вроде Дуарте и ними существовало то же узаконенное неравенство, как между голодной коровой, умирающей на дороге, и откормленным молочным бычком голубых кровей, у которого есть собственный камердинер и шерсть которого завита в колечки для выступления на сельской ярмарке.

Patron и его сеньора частенько проявляли благосклонный

интерес к семьям, работавшим в их поместьях; зачастую они являлись крестными каждого ребенка, родившегося там – в тех случаях, если patron и в самом деле не был его отцом. Но их благотворительность редко распространялась на пуэбло, с которым их связывала разве что железнодорожная станция и отделение почты. В крайнем случае какая-нибудь богатая престарелая вдова могла отремонтировать на свои деньги маленькую церковь – думая больше о собственной душе, нежели о душах тех, кто поклонялся в ней Богу, – или же сделать пожертвование начальной школе; но никого не заботило, чему учатся там дети и как они живут остальное время.

В Аргентине практически не было тех скромных, однако же вполне преуспевающих фермеров, которые приезжали бы в местный городок, чтобы сделать покупки раз или два в неделю и чье растущее богатство могло бы отразиться на благосостоянии города. Именно жены и дочери этих фермеров требовали, чтобы в городках появлялись магазины шелкового белья и модной одежды, вносившие свежую струю в жизнь провинциальных местечек. Пеоны с estancias, а также издольщики иногда приезжали со своими семьями в пуэбло, но в большинстве случаев они были слишком бедны, слишком старомодны и очень часто имели лишь временную работу – а этого было мало, чтобы приобрести уважение горожан; они, разинув рты, глазели на все, что мог предложить город, и не помышляли о том, чтобы требовать большего.

Кроме того, изоляции пуэбло способствовали громадные расстояния и немощеные дороги, по которым после дождя нельзя было ни проехать, ни пройти. Только третья часть всех пуэбло была соединена друг с другом узкими полосами бетона, которые, подобно миниатюрным японским саженцам, зацветающим в воде, постепенно обрастали постоялыми дворами, придорожными закусочными и маленькими деревенскими домиками. В двадцатые годы единственным надежным способом сообщения между столицей и другими городами и деревеньками являлась железная дорога. Но космополитическая культура столицы была бесконечно далека от людей пуэбло, которые считали себя истинными criollo[11], гордились своим национальным жизненным укладом и, в сущности, взирали на горожанина-европейца со старомодным, чуть ли не враждебным недоверием, словно на чужака. Они забывали или не сознавали, что даже карнавал, который они с таким «патриотическим» рвением устраивали в каждой деревушке, пришел к ним из Европы.

В Хунине, как и в любом другом пуэбло, карнавал был единственным неизменным развлечением в монотонном течении

жизни и сам оказывался частью этой монотонности – со всей бессмысленной возней и старомодными шутками. Мальчишки надевали на себя маски и истязали уши старших писклявым фальцетом; юноши поливали вялыми струйками воды девушек, томящихся на балконах, которые в ответ осыпали их жидкими лентами серпантина или пригоршнями конфетти; или же какая-нибудь старушка, припомнив более оживленные карнавальные времена своей молодости, выбегала на улицу с полным ведерком воды и окатывала кого-нибудь из прохожих, а затем, с веселым кудахтаньем, снова скрывалась в доме. По вечерам по мостовым проходили целые процессии, состоящие в основном из девичьих стаек; нет никаких сомнений, девочки Дуарте были среди них – наряженных в костюмы цветов или Коломбины и сопровождаемых молодыми людьми, которые, приодевшись в костюмы чертей или арлекинов, становились более развязными в своих комментариях.

Самыми настоящими criollo считались те добропорядочные граждане, которые появлялись на всеобщей попойке в образе прорицателя или колдуна, продающего травы, собранные на севере, и гарантирующего исцеление бесплодной жены или безнадежно влюбленной девицы, а также деревенские музыканты, заставлявшие женщин постарше подбирать нижние юбки, щелкать пальцами и кричать «Jota!» гитарам и аккордеонам.

И только случайно труппы актеров или музыкантов из Буэнос-Айреса проезжали через этот маленький городок, и ослепленные блеском глаза Эвы не замечали мишурного богатства их нарядов и нищеты представления.

Ей было уже пятнадцать, и, подобно многим своим сверстницам, она мечтала попасть на сцену. Одна из девушек из их городка отправилась «в город» и стала звездой на радио – или, во всяком случае, выходила в эфир. «В городе» звенели деньги, мужчины были богаты, а женщины носили великолепные наряды. Эва принялась отчаянно искать знакомств с каждой театральной труппой, приезжавшей в город; может быть, ее и вправду убеждали их громкие речи о триумфах в столице, а может быть, она смотрела на театр как на первую ступеньку по пути к богатству, но когда, наконец, в Хунин прибыл юный певец танго со своей гитарой и принялся ухаживать за ней, обещая работу на радио и бог знает что еще, она слушала его более чем благосклонно. Эве не было еще и шестнадцати, когда она сбежала с этим молодым человеком в Буэнос-Айрес, оставив в сердце матери разве что легкое сожаление. Даже если с той и с другой стороны и были пролиты какие-то слезы, донья Хуана, вероятно, испытала нечто вроде облегчения, поняв, что ее младшая и, очевидно, наименее цепкая из ее дочерей как-то пристроена. Ну а

в душе Эвы не оставалось места ни для чего, кроме надежд и мечтаний.

Глава 2

Год за годом я хранила воспоминания о несправедливости, которые толкали меня к бунту, раздирали меня изнутри.

Э.П.

Эва Дуарте родилась в тот короткий период демократии, который последовал за принятием в 1912 году закона Саенса Пена, даровавшего Аргентине тайное голосование и – в первый раз за всю историю страны – возможность честных выборов. Иполито Иригойен, великий и трагический лидер радикалов, положил конец власти олигархии, которая более чем за восемьдесят лет «феодализма» выросла в богатейшую прослойку земельных монополистов. Всю свою жизнь Иригойен, в подполье и изгнании, готовил избирательную реформу. Привычка к конспирации осталась у него и после того, как он добился успеха: когда партийные делегаты явились к нему со слезами на глазах, чтобы предложить ему баллотироваться в президенты, он принял их поодиночке, в затемненной комнате. Он отклонил предложение и оставался в этом непоколебим, поскольку никогда не помышлял о личной власти или богатстве – до тех пор, пока соратники не пригрозили распустить партию. Против своей воли Иригойен согласился, но полностью игнорировал избирательную кампанию, более того, удалился в свою estancia. Когда же в 1916 году его избрали президентом, мужчины Буэнос-Айреса – они с гордостью называли себя portenos[12] – выпрягали лошадей из его кареты и бились за право везти ее, а женщины с балконов осыпали его цветами и благословениями. Ни Перон, ни Эва никогда не срывали подобной овации от толпы portenos.

Величие Иригойена заключалось в его идеализме и полнейшем альтруизме; трагедия его жизни уходила корнями в его мистицизм и наивность. Он ожидал, что его коллеги будут такими же бессребрениками, как и он сам, и свято верил в свою высшую миссию разрушения сил зла, которые притесняют трудящихся. Первые законы, изданные его правительством и облегчавшие участь рабочих, дали результат, но поскольку эти законы ослабили плотину, столь долгое время сдерживавшую горечь и негодование, страну захлестнула волна насилия, усугубленная пропагандой немецких агентов, которые надеялись тем самым прекратить поставки продовольствия союзникам.

Начало правления Иригойена было отмечено забастовками, на многие недели парализовавшими транспортную систему по всей стране и превратившими Буэнос-Айрес в город закрытых ставен и пустынных улиц, поскольку ни один человек не осмеливался высунуться из дома при свете дня, опасаясь пули снайпера, а среди снайперов было немало городских повес, которые находили это времяпрепровождение более захватывающим, чем охоту на куропаток в estancias своих отцов. В одну неделю, которую впоследствии назвали «Трагической», было убито более тысячи человек. Эва родилась в то время, когда люди труда принялись накачивать мускулы и осознавать их мощь.

Но к концу шестилетнего правления Иполито Иригойен, который скорее еще больше уверился в предназначенной ему божественной миссии, нежели утерял иллюзии насчет предполагаемой честности своих коллег, вновь воспользовался своим умением строить заговоры, чтобы навязать Радикальной партии собственного кандидата. До тех пор, пока Перон не изменил аргентинскую конституцию, ни один президент не мог продлить свою власть на следующий срок, однако же стало традицией, чтобы он называл кандидата, который мог сменить его на этом посту. Выбор Иригойена пал на Марсело Альвеара, его ближайшего друга и одного из лидеров Радикальной партии, который, как ожидал Иригойен, слушался бы его во всем до тех пор, пока он не вернулся бы к власти после выборов 1928 года. Но Марсело Альвеар не годился на роль марионетки; этакий «гражданин мира», он много путешествовал, был богат и, хотя и не отличался особым либерализмом – радикалы Аргентины едва ли либеральней английских консерваторов, – честно чтил конституцию. Он знал, что закон следует соблюдать, и соблюдал его сам. Под его руководством и благодаря послевоенному экономическому буму Аргентина наслаждалась порядком и процветанием, каких никогда не ведала раньше, не ведала и потом, и начала возвращать себе уважение других стран, потерянное за время правления Иригойена (похоже, последний, будучи пожилым человеком, хотел закрыться вместе со всей своей страной в темной комнате). Но дружбе между Иригойеном и Альвеаром пришел конец, и Радикальная партия пережила раскол, который имел поистине трагические последствия. После выборов 1928 года ожесточенный и постаревший Иригойен вернулся в Каса Росада, избранный огромным количеством голосов.

Иполито Иригойену исполнилось в то время семьдесят шесть, и он отнюдь не был тем человеком, который мог провести свою страну, такую же необъятную, как и ее природные богатства,

через трудные годы всемирной экономической депрессии. Он одряхлел, все больше и больше закрывался от своих соратников и изолировал свою страну от остального мира. После отзыва посла Аргентины из Вашингтона страна в течение двух лет не посылала своих представителей ни на одну конференцию по вопросам международных отношений. Президент не доверял даже своим приближенным, документы горами скапливались на его столе, поскольку он настаивал на том, чтобы все их подписывать лично, и делал это только после того, как тщательно прочитывал их до последнего слова. В его приемных часами сидели министры, и чиновники, и правительственные подрядчики, не получающие зарплаты, – в ожидании аудиенции, которую вполне могли и не получить. Великий крестоносец превратился в неразумного старика, которого близкие скрывали от посторонних глаз, чтобы его рассеянность и болезненное пристрастие к женщинам не стали известны его врагам. Правительство Иригойена пало перед тем, как разразилась революция.

6 сентября 1930 года генерал Урибуру маршем провел свои войска от казарм в Кампо де Майо до города и без заметного сопротивления занял Каса Росада – большое здание в стиле рококо, грязно-розового цвета, расположенное задней стороной к реке, а фасадом выходящее на Пласа де Майо, где 25 мая 1810 года началась Революция. Оно стало своего рода символом для всех последующих революционеров, может быть потому, что стоит на месте старой крепости колониальных времен; в нем размещаются кабинет и прочие помещения президента, а также комнаты для правительственных банкетов и приемные.

Урибуру заявил, что эта акция была проведена в ответ на требования народа; но, хотя революция и вправду зрела, недовольство людей стало прикрытием для военного путча, хорошо спланированного заранее.

Толпа, выкрикивающая обвинения против человека, которого до этого боготворила, разрушила дом Иригойена, уничтожив бумаги и разломав мебель. Чуть раньше друзья отыскали престарелого президента, больного и всеми покинутого, и перевезли его в безопасное место. Какое-то время его держали под стражей, а затем освободили, оставив доживать свои дни в самых стесненных обстоятельствах – с женой и еще двумя женщинами, которые не покинули его, – то были его родная дочь и его секретарша. Впрочем, смерть вернула ему изменчивые симпатии народа, и десятки тысяч человек съехались со всей страны, чтобы, повиснув на ветвях деревьев в парке, бросить прощальный взгляд на человека, который был поборником их прав. На узкой лестнице в доме, где он снимал квартиру, день и

ночь толпились смиренные паломники, и полмиллиона плакальщиков заполнили улицы и балконы, чтобы проводить его гроб.

К тому времени страна уже поняла, что путч был шагом не к восстановлению гражданских свобод, а к установлению военной диктатуры. Урибуру проложил дорогу Перону. Поддержанный олигархией, которая хотела любой ценой вернуть рабочих к прежнему рабству, Урибуру отменил обещанные выборы, провозгласил по всей стране военное положение, упрятал Альвеара в тюрьму в Ушуайа и объявил фракцию Иригойена вне закона, тем самым отстранив ее от какого бы то ни было участия в правительстве. Однако Урибуру встретился с оппозицией в лице определенной части своих товарищей-военных, и, хотя он и пытался подкупить младших офицеров, оплачивая их огромные долги из правительственной казны, его принудили в ноябре 1931 года провести выборы. Радикальная партия, представлявшая единственную влиятельную оппозицию, переживала раскол: последователи Иригойена, которым все еще было запрещено занимать посты в правительстве, отказались участвовать в выборах; сторонники Альвеара, который все еще находился в ссылке на Юге, голосовали вместе с консерваторами и независимыми социалистами и избрали президентом Аргентины генерала Агустина Хусто.

Кое-кто может уже здесь различить тактику, которую в дальнейшем аргентинские военные использовали со все возрастающей и губительной эффективностью. Якобы защищая интересы населения, военные разыгрывали путч под руководством генерала, который был в какой-то мере симпатичен толпе, а затем, с претензией на свободные выборы, заменяли его своим ставленником.

Именно во время президентства Хусто, в период беспрецедентного изобилия и беспрецедентной же коррупции Эва Дуарте приехала в Буэнос-Айрес. Она явилась туда с твердым убеждением, что ей повезет, и открыто провозглашала, что собирается стать звездой аргентинской сцены: амбиции, которые, должно быть, казались ее товаркам такими же смехотворными, как если бы она сообщила, что в один прекрасный день станет первой леди страны. Проблема заключалась в том, что у Эвы не было ни таланта, ни опыта, она не обладала броской красотой и не блистала образованием, не имела ни денег, ни влиятельных друзей, а кроме того, не отличалась хорошим здоровьем. Но насмешки подружек, хотя и приводили ее в ярость, вероятнее всего, не могли ее обескуражить, поскольку в ней уже созрела та

прочная убежденность в своем грядущем величии, которая заставляет человека становиться нетерпимым даже и к дружеской критике. Она была в том возрасте, когда фантазии наполняют жизнь любой девушки, пусть даже напрочь лишенной воображения, но мечты Эвы отнюдь не походили на меланхолические грезы, столь характерные для многих подростков. Немногие с такой силой стремились убежать от своей жизни, для нее же это составляло главную цель существования. Мечты Эвы были единственной отрадой в убогой и убивающей всякие иллюзии реальности. Ее излюбленное чтение выдает секрет ее сердца – она читала журнал, из тех, что все еще модны среди юных романтичных девушек – «Para Ti», – печатавший рассказы о Золушках, которые добились успеха, или же биографии великих женщин, типа королевы Елизаветы или Жозефины.

Но если Эва питала свою душу мечтами, то ее тело получало необходимое в гораздо меньшей степени. Гитарист ее бросил, а за те маленькие роли, которые она получала на радио, ей платили всего пятнадцать долларов в месяц – едва ли достаточно для юной девицы-подростка, даже в стране мяса и вина. Она, наверное, голодала бы, если бы не имела возможности выпрашивать неаппетитные обеды в маленьком ресторанчике, который содержал друг матери, все еще верный донье Хуане.

Теперь перед ней предстала во всей красе жизнь высших слоев общества, жизнь, которой она домогалась. Она могла лицезреть неприступных матрон из числа аргентинской аристократии с их притворно скромными и утонченно-холеными дочерьми, мчавшихся на своих «даймлерах» в оперу; могла втягивать ноздрями восхитительные запахи, витающие у ресторанов, в освещенных витринах которых выставляли цыплят и уток, медленно вращающихся на вертелах; могла прогуливаться по Калье Флорида мимо изящных окон Жокей-клуба, под которыми в один прекрасный день она прикажет навалить гору рыбы, чтобы аристократы внутри имели реальную причину воротить носы, и внимательно разглядывать платья, которые, словно бесценные бриллианты, развешивали по одному за стеклами маленьких дорогих магазинчиков. О, все это было так близко – и так далеко, словно она и не покидала Хунина!

Несмотря на свою убежденность в том, что ее ждет признание, Эва не выказывала ни малейших намерений работать, чтобы стать актрисой; она даже не представляла себе, что означает быть звездой. Она относилась с некоторым недоуменным презрением к тем профессионалам, которые достигали успеха благодаря упорному труду, и завидовала

отнюдь не их таланту, но их положению, удивляясь тому, что они не используют по-настоящему все свои «возможности». Чем бы Эва ни занималась, ее в первую очередь интересовало не дело, но то впечатление, которое она производит. Это было похоже на то, как если бы хозяйка, выпекая торт, заботилась не о его вкусе, но только о том, чтобы создать очаровательный образ кухарки – в конце концов, когда придут гости, кто-нибудь всегда сможет выбежать и купить что-нибудь в кондитерской! Отнюдь не глупость, а скорее недопонимание помешало Эве сделать сценическую карьеру. Она не предпринимала ничего, чтобы научиться двигаться, исправить дикцию и увеличить свой словарный запас, хотя, как показало дальнейшее, имела к тому все возможности. У нее было чутье, она умела подражать мимике или манере речи и обладала превосходной памятью – порой она помнила наизусть целые роли звезд, но больше использовала ее для того, чтобы заносить в нее имена людей, которых можно было бы использовать, или запечатлеть лица тех, от кого терпела оскорбления. Эва не беспокоилась о недостатке образования или развития или, во всяком случае, не желала признаваться в подобном недостатке даже себе самой. Какие бы маленькие роли ей ни давали – а без влияния она не могла получить других, она переигрывала, возможно, из-за того, что слишком много думала о публике, проговаривала свои реплики слишком медленно, монотонно, повышая голос к концу каждого предложения – прием, которому она научилась еще в школе и который позже использовала в своих куда более прочувствованных речах, что придавало ее интонациям истеричную нотку.

Эва намеревалась преуспеть не столько благодаря игре, сколько благодаря интригам, не за счет труда и самоусовершенствования, но за счет умного манипулирования другими людьми; и в самом деле, ее воспитание не дало ей никаких иных способов возвыситься над миром, и она использовала свое влияние на мужчин с такой яростной энергией, которая могла бы сделать из нее великую актрису, если бы только она направила ее на занятия искусством.

Женщины в театре и на радио относились к Эве вполне доброжелательно; они не видели никакой угрозы для себя в этом маленьком желторотом воробышке, в девочке, запутавшейся случайно в бахроме их профессии. Даже им – а все они начинали достаточно молодыми – она казалась слишком уж юной и напоминала о младших сестрах, оставленных дома. Порой она помогала актрисам постарше, когда им нужно было быстро сменить наряд между актами, используя эту работу как повод шататься по гримерным, даже когда ей там нечего было делать, и

соглашалась на все с такой явной охотой и дружелюбием, что они были готовы прихватить ее с собой, когда отправлялись поесть или давали поносить свои платья, если вещи Эвы превращались в лохмотья. В добродушной манере старших сестер они советовали ей найти какого-нибудь порядочного человека, с которым она могла бы создать дом, а со временем, возможно, проникнуться к нему искренней привязанностью. Но Эва никому не отдавала своего сердца – она умела изобразить любовь, страсть или дружелюбие, но, вероятно, единственным чувством, которое она действительно знала, была ненависть. Сомнительно, чтобы она испытывала какую-либо благодарность тем, чьей дружбой пользовалась, поскольку она безжалостно отбрасывала их, когда они переставали быть ей нужны. Именно так она обошлась с молодой актрисой, которая помогала ей, когда Эва только-только приехала в город: кончилось тем, что Эва отбила у нее ухажера и заслужила от старшей подруги упрек в бессердечии.

– Если хочешь пробиться, ты должна использовать свою голову, но не сердце, – отвечала Эва.

– Ты можешь пробиться, используя голову, – согласилась девушка, – но без сердца тебе не стать хорошей актрисой.

На это Эва только рассмеялась.

То, что Эва рассчитывала преуспеть в одиночку, манипулируя другими людьми и используя преимущества своего пола как оружие, было не только результатом ее жизненного опыта и воспитания, но и продуктом той культуры и общества, в котором она теперь оказалась. Аргентинские женщины подвергались такой же эксплуатации, как и пеоны, и только при наличии громадного богатства или необыкновенной силы характера могли избежать положения низшего и зависимого существа, каковыми и полагали их мужчины в любой семье; в большинстве случаев подобная зависимость казалась самим женщинам настолько естественной, что их пугала и шокировала любая мысль о свободе. Мужчины – и, без сомнений, во всей Южной Америке такими были только аргентинцы – смотрели на своих женщин порой даже с уважением – как на матерей, жен, дочерей или хозяек, но практически не видели в них личностей, наделенных разумом, как и они сами. Подобное отношение к женщинам можно видеть в Аргентине и сегодня: многие не признают Эву Перон не столько из-за коррупции и беззаконий, которые она поощряла, сколько из-за того, что она – женщина, пробившаяся к власти.

Женщина Аргентины в то время не имела права голоса; она не могла получить развода (и все еще не может, разве что уедет для этого за границу); ее дети и имущество, как и она сама,

находились в руках мужа, которого в большинстве случаев выбирала для нее семья. От замужней женщины ждут, что она будет сидеть дома и растить кучу детей; если жена забеременеет еще в течение медового месяца, это становится предметом похвальбы. Девушка, которая не выходит замуж, остается в доме матери в качестве компаньонки, а та в свою очередь обращается с незамужней дочерью словно с умственно отсталой, или же становится бесплатной няней и гувернанткой для своих племянников и племянниц. Экономические изменения, коснувшиеся средних слоев горожан, сделали для их жен возможным жить хоть отчасти своей собственной жизнью. Бедняки же, разумеется, всегда желают, чтобы их жена отправлялась работать, и поддерживают этот порядок, поскольку весь ее заработок идет прямиком к ним в карман.

Показательно, что слово, которым в разговоре повсеместно называют жен, «mujer» обозначает также и «хозяйка». Притом, что женщина, состоящая в браке, не может даже сходить в ресторан с мужчиной, если он не является ее родственником, противоположный пол пользуется полной свободой. В Аргентине вторая семья – скорее правило, нежели исключение, зачастую она является такой же постоянной, как и первая; помимо этого, никто не воспрепятствует мужчине, где бы он ни был, попутно искать себе удовольствий, и он нередко снимает себе garconniere – холостяцкую квартиру для вполне определенных целей.

Постоянная охота за женщинами, неизменно присутствовавшая в жизни Буэнос-Айреса, в последнее десятилетие несколько поутихла или, во всяком случае, стала менее явной. Даже самые скромные женщины, если только они не были старухами или слабоумными, становились предметом пристального внимания, стоило им пройтись по улице в одиночку; если же дама садилась в трамвай или в один из автобусов, которые в тридцатые годы заполонили город, словно тараканы, мужчина, который устраивался рядом, непременно подвигал локоть или колено до тех пор, пока не дотрагивался до ее колена или локтя, и, если им случалось проезжать церковь или кладбище, с готовностью осенял себя крестом, тогда как другая его рука без остановки продолжала свое дело! Казалось, внимание, которое он проявлял к женщине, было для него столь же привычным, как дыхание, а личность женщины имела не больше значения, чем воздух.

Хотя женам не приходилось попадать в неловкие ситуации, встречаясь в обществе с любовницей мужа – мужчина никогда не искал любовницы в том круге, к которому принадлежала его жена, женщина, как правило, твердо знала или, во всяком случае,

подозревала, что муж ей изменяет; этого следовало ожидать. Если она была из богатых, то, как могла, прятала свое негодование и, не желая рисковать своей репутацией, только изредка платила мужу тем же, а искала утешения в семье, церкви и добрых делах. Пользуясь тем весом, который давала большая семья – а порой женщина могла насчитать около пяти сотен родственников – с парижским духовником подле нее, она зачастую приобретала значительное влияние и накладывала руку на поместье мужа, и если, по счастью, становилась вдовой еще в молодости, то могла закончить свои дни в качестве грозной «матери патриарха», не сомневаясь, что ее внучки будут столь же респектабельны и несчастны, как и она сама. Она находила утешение, и, возможно, значительное утешение и в том, что ее положение жены прочно и неприступно; если она не могла избавиться от мужа, то муж также не мог избавиться от нее, и, что еще более тешило ее эгоизм, следующие одна за другой беременности делали ее объектом интереса среди знакомых и даже малознакомых людей и предметом зависти менее удачливых подруг, которые порой просили разрешения прикоснуться к ней, чтобы «заразиться». В Аргентине беременность является вещью чрезвычайно важной, она исполнена значения, достоинства и, можно сказать, очарования, в которых ей отказано в некоторых странах. Жена мелкого бизнесмена или служащего не столь покорна; возможно, она сама зарабатывала себе на жизнь до замужества и продолжает это делать в качестве учительницы или правительственной служащей; она способна потребовать отчета о верности от своего мужа и в некоторых случаях настоять на разводе – где-нибудь в Монтевидео или Мехико. Очень бедные женщины, для которых законные отношения – непозволительная роскошь, зачастую вообще не вступают в брак официально.

Неудивительно, что аргентинские женщины так часто смотрели на преимущества своего пола как на единственный товар, имеющий стоимость на рынке, – будь то дочь олигарха, чья гарантированная невинность получала на торгах самую высокую цену – в облаках брюссельских кружев и с благословения церкви, или маленькая служанка, покупающая себе часики «под золото» после того, как ей удалось затащить в постель сына своего хозяина-мясника, или же портовая шлюха, чьи ласки стоят песо. Ну а женщина, которая сама зарабатывает себе на жизнь, несмотря на всю свою респектабельность, обречена вечно терзаться сомнениями, что мужчины, с которыми она имеет дело, ценят ее не столько за деловые качества, сколько за ее сексуальные возможности; и, как бы она ни сопротивлялась, она не может окончательно прогнать искушение использовать себя в

качестве товара для бартерного обмена.

В подобной атмосфере, совершенно естественно, Эва должна была рассудить, что все ее возможности заключены в том, чтобы извлекать выгоду из мужчин; и соответственно не испытывала никаких теплых чувств к тем, кого намеревалась использовать, поскольку такие отношения строились не как честное партнерство, но основывались на умении ловчить и приспосабливаться, подразумевающем глубокую неприязнь.

Враги частенько называли Эву resentida, то есть обидчивой. У нее было две реальные причины обижаться на общество: первая – что она родилась бедной в стране величайшего богатства, а вторая – что она родилась женщиной в обществе, созданном для мужчин. Тот факт, что она была женщиной, сильно усложнял задачу избежать бедности; правду сказать, это было почти невозможно, разве что с помощью власти над мужчиной. А те самые мужчины, которые с такой готовностью бросались соблазнять беззащитную девушку вроде нее деньгами или лживыми обещаниями, в случае необходимости готовы были с оружием в руках отстаивать честь дочери или сестры – так, словно это их ценная фамильная собственность. Неудивительно, что Эва возненавидела мужчин, которые так мало ценили ее, и женщин, чья добродетель, похоже, стоила значительно дороже, чем ее собственная.

Сама Эва упоминала эти годы, не касаясь подробностей, в качестве «своей артистической карьеры». Она никогда не отрицала своего театрального прошлого и даже хвастала скромным происхождением, но никогда не сообщала деталей того или другого: о прошлом говорилось только в общих словах. В тех интервью, которые она даровала прессе, когда стала звездой радио, Эва выражается туманно и подчас противоречит сама себе. То она говорит, что состояла в труппе старого Театра комедии, а потом пришла на радио «Насьональ», а то, что сначала работала на радио «Прието», а затем – на радио «Аргентино», и что возможность выйти на сцену впервые предоставил ей Лисео. Может быть, она уже не помнила или же не желала помнить превратности тех дней. Она пробавлялась мелкими ролями, зарабатывая на жизнь рекламой булочек с сыром. Один раз Эва отправилась на гастроли с театральной труппой, которая шаталась по провинциям, и именно ее чары помогли убедить власти разрешить спектакль. Такое существование могло бы сломить дух любого человека, чуть менее выносливого или циничного. Все эти годы Эва не забывала о своей главной цели – преуспеть – и заводила громадное количество знакомств. Сейчас, по прошествии времени, нельзя не сказать, что она обладала

феноменальной способностью привлекать внимание влиятельных мужчин и использовать их в своих целях. Ее дар заключался в неизменном эгоизме и неослабной энергии. Не смущаясь, она выставляла себя на обозрение перед всяким, кто предположительно мог быть ей полезен, и привлекала к себе необходимое внимание. А стоило ей добиться этого внимания, она уже не отпускала своей жертвы и преследовала ее лично и в письмах до тех пор, пока не умудрялась выжать всю пользу – до последней капли.

Именно в 1940 году настойчивость, с которой она культивировала полезные связи, наконец была вознаграждена. Эвой заинтересовался спонсор радиопрограммы, богатый мыльный фабрикант. Прежде, работая на радио, она получала не больше тридцати пяти долларов в месяц; теперь же ее зарплата повысилась до шестидесяти и столько же ей платили за проходную роль в театре «Нуэво». С того времени, как она стала регулярно появляться на радио, ее доходы повышались с каждым новым приобретенным другом. Радиоспонсор познакомил ее со своим приятелем – тоже мыльным фабрикантом и спонсором программ, и Эва сменила предмет своей привязанности с той же легкостью, с которой меняла костюмы.

Примерно в это время она переехала в квартиру на Калье Посадас, маленькой, затененной деревьями улочке, мощенной булыжником, которая, беспорядочно петляя, тянулась до фешенебельной Авенида Альвеар. Более обустроенная жизнь и регулярное питание улучшили здоровье Эвы, и теперь, возвращаясь после праздников с холмов Кордоба, она выглядела такой же пухленькой, как любая юная женушка, готовая растолстеть сразу после появления на свет первенца. В то время она одевалась как подросток, облачаясь в банты и браслеты, которые больше подошли бы девочке в четырнадцать лет – а она уже вступила в третье десятилетие своей жизни, – это походило на трогательную попытку удержать детство, насладиться которым ей не довелось. Теперь она уже не была той тихой маленькой девочкой, какой покидала Хунин; Эва превратилась в чрезвычайно говорливую молодую женщину, готовую бесконечно дергаться по пустякам и более чем когда-либо склонную к вспышкам гнева. Похоже, тогда в ней не виделось ничего замечательного, кроме разве ее цепкости и, возможно, скрытой силы ее амбиций.

Когда она поселилась в своей квартире на Калье Посадас, а ни этот район, ни дом наверняка не были особенно фешенебельными, круг ее знакомств начал постепенно меняться. Сестра Эвы, Элиза, сошлась с майором Арриетой, и, вероятно,

именно они первыми стали приводить офицеров из военных казарм на Кампо де Майо – на маленькие не самые скромные вечеринки, которые устраивала Эва. Теперь военные присутствовали всюду, и укреплять дружбу с ними было поистине мудро. Однако же Эва на всякий случай не порывала окончательно и со своими старыми друзьями, которые все еще могли ей пригодиться и снабжали ее всяческими сплетнями, полезными для ее карьеры. Так что она запросто могла поболтать с мальчишкой-посыльным с радио «Эль Мундо» за чашкой кофе в молочном баре напротив студии.

Эва наверняка знала о растущем влиянии военных в политике. В 1943 году после военного переворота был смещен президент Кастильо по прозвищу Лиса, и его место занял генерал Рамирес; в путче принимал участие полковник Имберт, который получил за это пост директора почт и телеграфа, а это министерство контролировало и радиостанции. Это само по себе служило для Эвы достаточной рекомендацией, кроме того, до нее доходили слухи, что генерал Рамирес, или Мелкая Сошка, был всего лишь подставным лицом и что реальная власть находилась в руках некоей группы полковников. Она дала отставку своему мыльному фабриканту и принялась обхаживать полковника Имберта.

Знакомство обещало быть полезным. В январе 1944-го в северных провинциях Аргентины случилось землетрясение, разрушившее почти полностью старинный испанский колониальный городок Сан-Хуан. В трещины на улицах падали люди и животные, лопнувший водопровод заливал руины, крыша кафедрального собора, обвалившись, похоронила под собой участников свадебной церемонии – в общей сложности в городе погибло около 3500 человек и 10 000 получили увечья. Бедствие было из разряда тех, которые своим неистовым размахом и внезапностью повергают в шок целые народы и побуждают их к неожиданной щедрости: от поездов и самолетов с продовольствием и лекарствами, посылаемых правительством, до колымаг и двуколок, в которых соседи со всей округи приезжали, чтобы забрать детей, оставшихся сиротами без всяких средств к существованию. В угаре филантропии, который последовал за трагедией, Эва узрела шанс показать себя, посланный самим небом. Вполне возможно, что она хорошо понимала бездомных и обездоленных – поскольку сама долго была бездомной и обездоленной – и что ее чувства были поначалу в какой-то степени искренними; и все же она ни на минуту не упускала из виду свои интересы. Она убедила полковника Имберта – к тому времени это не составляло для нее большого труда – позволить ей

оплакивать погибших по радио. В луна-парке, на стадионе, где обычно проходили боксерские матчи и рукопашные бои, был организован митинг по сбору средств в помощь пострадавшим Сан-Хуана. Эва включилась в эту кампанию со всей энергией, на которую только была способна, впервые продемонстрировав открыто тот настойчивый и неотразимый натиск, который сделал возможными все ее достижения.

Эва явилась на митинг в луна-парке с полковником Имбертом. Среди звезд кино и театра и военных в форме ее наметанный глаз быстро отметил высокого, добродушного на вид полковника, разговаривавшего с хорошенькой актрисой Либертад Ламарки. Вполне возможно, Эва видела его и раньше – они с полковником Имбертом были хорошо знакомы, – и конечно же по сравнению с низкорослым и плотным Имбертом он сильно выигрывал. Но Эва никогда не позволяла сбить себя с толку невинными взглядами. Она слышала об этом человеке, который в последнее время сблизился не только со своими товарищами-офицерами, но и с portenos, как об одном из сильнейших среди «серых кардиналов». Эва подошла поздороваться с Либертад Ламарки, которая в свою очередь представила ее полковнику Хуану Доминго Перону. Без всякого умысла, во что интриганка Эва никогда бы не поверила, Либертад Ламарки отошла, чтобы побеседовать с кем-то из знакомых. Эва мгновенно заняла освободившееся место рядом с полковником и не уходила до конца вечера.

Глава 3

И я сказала себе, и всякий раз повторяла все с большей и большей уверенностью: да, это – настоящий мужчина. Лидер моего народа. Никто не может сравниться с ним.

Э.П.

Когда Эва Дуарте впервые встретилась с Хуаном Доминго Пероном, его имя, достаточно известное среди товарищей-офицеров как имя человека, которого ожидает большое будущее не только в армии, но и в политике, только-только стало произноситься шепотком на улицах Буэнос-Айреса, неопределенным образом ассоциируясь со зловещей аббревиатурой ГОУ – объединением военной элиты, которое, по слухам, стояло за правительством.

Хуан Доминго Перон родился 8 октября 1895 года, на двадцать четыре года раньше Эвы Дуарте, в маленьком городишке Лобос в южной части провинции Буэнос-Айрес. Его отец, дон Марио, занимал скромную должность в местном суде, а мать – еще одна донья Хуана – была из тех, кого в этих местах называли chinita – маленькой деревенской девушкой с немалой долей индейской крови. Дон Марио славился веселым нравом, с удовольствием участвовал в местных праздниках и в деревенских скачках, и так же охотно плясал pasodoble, как и вытаскивал свою гитару, чтобы спеть песенку. Он не слишком заботился о судьбе своих сыновей – Хуана Доминго и его старшего брата Марио, которые провели детские годы в доме своего двоюродного деда со стороны отца, доктора Перона. Медицинским титулом его, вероятнее всего, награждали только из вежливости, но он пользовался известностью и значительным влиянием в округе.

Когда Хуану Доминго исполнилось пять лет, родители переехали с ним и с братом в Чубут, унылый район Патагонии, на юге Аргентины. Похоже, дон Марио поверил в обещания правительства, которое сулило арендаторам земли, и потому променял тучные пастбища родной провинции на эти негостеприимные края. Его новая родина была чуть получше пустыни, где день и ночь год за годом ветер нес тяжелые тучи песка, которые легко, со сводящей с ума монотонностью бились в гофрированные железные стены бараков. Даже открытие нефтяных месторождений не оживило этих мест, и практически

единственными соседями переселенцев оказались одинокие шотландские пастухи-овцеводы, которые не столько эмигрировали в новые земли, сколько взяли с собой часть старой и перенесли ее на другой континент. Такая жизнь была не для общительного дона Марио, и в один прекрасный день он сбежал, оставив донью Хуану возиться с фермой и, как может, растить и кормить двух маленьких детей. Но донью Хуану не так легко было ввергнуть в отчаяние – а на этой холодной, каменистой, безводной земле выживали самые стойкие; она отправила сыновей в деревенскую школу-интернат и нашла человека, который помогал ей управляться с землей. Отец мальчиков так больше и не появился на горизонте, но старый доктор Перон не забыл о них или, во всяком случае, не забыл маленького Хуана Доминго, который, похоже, был его любимцем. Когда тому сровнялось десять, доктор Перон забрал его и привез в Буэнос-Айрес, где поселил с теткой, в ту пору школьной учительницей, которая вполне могла дать ребенку приличное образование.

Донья Хуана и ее старший сын так и продолжали тянуть лямку на юге; к тому времени земля перешла в их собственность. Позже, когда не в меру стыдливый губернатор этой провинции издал указ, требующий от всех пар, живущих вместе, пожениться, донья Хуана вышла замуж за человека, который помогал ей работать на земле, похоже так и не имея никаких известий о том, что стало с доном Марио. Как только Марио-младший достиг брачного возраста, он завел boliche, нечто вроде бедного придорожного кабака; место, которое он выбрал, было исключительно бесплодным и уединенным, но спустя какое-то время оно стало известно как «цветочное окно», поскольку, когда бы ни появилась на горизонте одинокая повозка, в окошке дома незамедлительно возникали взволнованные личики трех хорошеньких дочек хозяина.

Существуют противоречивые сведения о том, был ли Хуан Доминго и в самом деле первым учеником или же обычным троечником. Истина же состоит в том, что в первые ученики в Аргентине в те времена (да и сегодня не многое изменилось) выбивались те, кто способен, подобно попугаю, слово в слово повторить урок и переписать его красивым почерком, не наделав на странице клякс. Письма, написанные Пероном лет в четырнадцать, выдают руку умелого копииста, а содержание – наивность школярского ума; они демонстрируют ту простоту, с помощью которой он частенько укладывал своих врагов на обе лопатки. Разумеется, он оказался на месте в военной академии, куда поступил в шестнадцать лет, поскольку обладал всеми качествами, какие только могли пожелать офицеры «прусской

школы»: был высок, хорош собой, атлетически сложен и добродушен, и имел ум, охотно воспринимавший готовые идеи и идеалы. Он вышел из академии в 1915 году красавчиком и младшим лейтенантом.

Хуан Перон начал свою военную карьеру как раз в то время, когда Иполито Иригойен впервые стал президентом, и его боевым крещением стало участие в подавлении забастовок и народных волнений, которые парализовали Буэнос-Айрес в конце Первой мировой войны. По крайней мере однажды именно Перон приказал войскам открыть огонь по забастовщикам; не похоже, что он или его старшие офицеры получили тогда инструкции от правительства на этот счет, поскольку в другом случае, позволяя военным выставить конные патрули для охраны железных дорог, Иригойен приказывал, чтобы их не снабжали средствами самообороны. В 1945 году, когда Перон провозгласил себя истинным братом рабочего люда и поборником его прав, новое поколение «людей без пиджаков» позабыло о крови, пролитой в 1919-м, и с готовностью приветствовало своего благодетеля.

Во время президентства Иригойена и Альвеара Хуан Перон потихоньку делал карьеру в армии. Он был трудолюбив и амбициозен, но не блистал; ему всегда лучше удавалось использовать знания других людей, нежели приобретать их самому; в написанном им огромном количестве брошюр по военной технике найдется не много оригинального, и Перона даже обвиняли в плагиате. В 1928 году, получив капитанские погоны, он женился на Аурелии Тизон. Потота, как ее называли в семье, была школьной учительницей, милой, простой девушкой, с некоторой претензией на образованность. Похоже, брак оказался счастливым; ведь даже старая донья Хуана одобрила его – вероятно, она иногда приезжала с юга, чтобы навестить своего преуспевающего сына, – поскольку она носила на груди брошку с миниатюрным портретом Пототы. Это делает честь такту молодой жены – вряд ли ей легко было найти общий язык с крепкой старухой из Патагонии… Семья Тизон твердо стоит на том, что Хуан Доминго был благонравным, снисходительным мужем и мог гордиться своей талантливой маленькой женушкой, которая не только рисовала и писала красками в самой изящной манере, но даже переводила для своего мужа статьи из английских учебников военного дела. Тот первый брак представляет нам картинку провинциального довольства. Жаль, что у молодой четы не было детей; но еще больше жаль, что в 1938 году Потота умерла.

В течение десяти лет, прошедших со времени его первой женитьбы, Хуан Перон лишь однажды участвовал в политических

баталиях; когда генерал Урибуру маршем прошел к Каса Росада и сбросил дряхлого Иригойена, Перон двигался во главе своей группы и конной охраны по одной из близлежащих улиц, название которой, по иронии судьбы, он позже самолично изменил на Калье Иполито Иригойен – в честь пожилого человека, которого он помогал свергнуть. Может быть, в этой бескровной акции Хуан Перон впервые привлек к себе внимание старших офицеров. Позже, в тридцатые годы, в звании подполковника, он получил пост военного атташе в посольстве Аргентины в Чили. Чилийское правительство обратилось с просьбой отозвать его по обвинению в шпионаже, а двое чилийцев, обвиненных вместе с ним, отправились в тюрьму. Как раз по возвращении из Чили Перон обнаружил, что стал вдовцом.

Он искренне оплакивал смерть своей молодой жены. Друзья тех лет свидетельствуют, что довольно долго он отказывался искать утешения, хотя вполне допускалось, что он займется этим немедленно. В следующие два-три года Перон целиком и полностью посвятил себя службе. Он просто создан был для армейской жизни в мирное время; привлекательный, общительный, с чувством юмора, он не слыл остряком, но умел шуткой обратить ситуацию в свою пользу; он был прекрасным наездником и мастерским фехтовальщиком, хотя и не похоже, чтобы он когда-нибудь использовал свое умение для защиты чести, как до сих пор поступают многие аргентинцы; он любил поесть и выпить и, оправившись от горя, находил приятной компанию хорошеньких женщин; в довершение всего ему нравилось быть душой общества. Недалеким людям он казался образцом ума и добропорядочности; в его хвастовстве присутствовало даже некое обаяние, и при всем том он был не так прост, как хотел казаться. Если его вранье разоблачалось, он тут же со смехом объяснял, что, разумеется, он и не думал дурачить своих слушателей, что его блеф предназначался для простаков, готовых, в отличие от присутствующих, поверить любой чуши, и тем самым располагал к себе аудиторию, так что все они чувствовали себя его сообщниками. Но природная склонность к сибаритству не мешала Перону быть предельно жестким в достижении своих целей и ненасытным в работе.

Еще до начала Первой мировой войны, когда Англия всячески развивала торговлю с Аргентиной, Германия принялась завоевывать не столько народы Латинской Америки, сколько их армии, посылая на континент военные миссии и приглашая перспективных молодых офицеров с ответными визитами в Берлин. Немцы видели, что в республиках Южной Америки, где трудящиеся все еще практически полностью зависели от знати, в

том числе и как политическая сила, правительства, если даже они не оказывались в своих креслах благодаря военному перевороту, по большей части были марионетками в руках армии. Продуманная и хладнокровная пропаганда привела к тому, что Аргентина в течение двух мировых войн оставалась пассивным союзником Германии, базой для работы ее агентов и новым оплотом ее идеологии. Аргентинская армия создавалась по образцу прусской – от формы и военной муштры до вооружения и военной теории, и еще с тех времен, когда Перон поступил в военную академию, несла в себе черты немецкого авторитаризма, лишь в малой степени притупленного недостатком дисциплины, свойственным латинскому темпераменту. Именно эта ситуация явилась фундаментом для превращения Перона в диктатора, хотя на его месте могла с тем же успехом оказаться сотня других, но только после смерти жены и деловой поездки в Европу его стремление к дешевой популярности получило новый толчок и превратилось в маниакальную жажду восхвалений. В 1939 году Перона послали в Европу изучать современную тактику ведения боя в горах, а поскольку армия находилась под немецким влиянием, главным средоточием его интересов стала Германия и ее союзники. Он, так же, как и его начальство, был убежден, что Германия выйдет из войны победительницей; восторг перед открытой демонстрацией силы заменял ему понимание той духовной мощи, что таилась в сердцах не столь воинственных народов. Он полагал, что любого человека можно купить, и в первую очередь апеллировал к жадности и эгоизму.

Во время пребывания в Италии с берсальерами[13] Перон убедился, что профессиональные военные вовсе не относятся к Муссолини с самозабвенным обожанием, как к безусловному лидеру, а скорее взирают на него с восторженной завистью – как один шарлатан мог смотреть на другого, вознесшегося, по крайней мере сейчас, выше, чем он. По собственным его словам, ошибка Муссолини заключалась в том, что тот был недостаточно безжалостным, и он, Перон, не собирался повторять подобной ошибки. Как и многие люди, которые не так просты, как кажутся, Перон считал себя умнее других. Что же до методов Муссолини, то он изучал их не без пользы для себя.

Именно слабость, жадность и ошибки других людей в той же мере, как и его собственные предусмотрительность и изобретательность, позволили Хуану Перону стать тем, кем он стал. Президент Хусто, под давлением радикалов, провозгласил кандидатом на президентский пост Роберто М. Ортиса, который и наследовал ему в 1936 году в результате самых бесчестных выборов, какие когда-либо знала страна. Военные поддержали

Ортиса, считая, что он не более чем марионетка, чему способствовала чрезмерная тучность этого лакомки, страдающего от диабета. Но Ортис был близким другом Альвеара, человеком честным и принципиальным; едва заняв свое кресло, он тут же нажил себе врагов не только среди армейских чинов, которые предоставили ему президентский пост, но и среди консервативно настроенной олигархии, которая не меньше, чем военные, опасалась всяческой демократии. Возможно, что Ортис, пользуясь своим авторитетом и личной популярностью, сумел бы противостоять махинациям своих врагов – люди начинали аплодировать, стоило ему появиться на улице, – но его здоровье не выдержало. В 1940 году болезнь Ортиса приняла настолько серьезный оборот – он почти ослеп, что ему пришлось передать власть вице-президенту Кастильо.

Рамон С. Кастильо, хитрый маленький адвокат, известный под кличкой Лиса, в глубине души был настроен против демократии и считал, что фальсифицированные выборы необходимы стране, народ которой недостаточно образован, чтобы голосовать. Несколько месяцев Ортис, уже будучи в отставке, еще пытался противодействовать антидемократической политике вице-президента, настаивая на том, что его уход – лишь временная мера и что он скоро вернется к исполнению своих обязанностей; но консерваторы собрали комиссию, которая подтвердила полную недееспособность президента. Именно тогда, когда этот невероятно толстый, слепой и одинокий старик – незадолго до того он потерял жену – в последний раз поднял голос в защиту гражданских свобод из своей затененной библиотеки – шторы не поднимались не ради обязательной конспирации, как у Иригойена, а потому, что слепому свет не нужен, – окруженный врагами и шпионами, которые радовались его растущей немощи, именно в эти дни Хуан Перон вернулся домой из Европы. Он вернулся в страну, где консерваторы подстрекали военных поурезать гражданские свободы, а радикалы – единственная партия, достаточно сильная, чтобы составить оппозицию военным, – занимались внутренними распрями; где действующий президент с сильнейшей склонностью к антидемократии не имел личных сторонников, а законный президент умирал.

Перона отправили в Анды в провинцию Мендоза – обучать аргентинских «альпийских стрелков» по образцу берсальеров. Но он оказался способен применить на практике не только итальянскую тактику боя в горах.

Некоторые младшие армейские чины были недовольны тем, что их генералы не столько руководят армией, сколько

занимаются политикой, в результате чего и возникло тайное общество офицеров – ГОУ, или Grupo de Oficiales Unidos, чей символ веры происходил прямиком из нацистской идеологии. В неофициально изданном коммюнике, которое распространялось только среди членов организации, утверждалось, что великая миссия аргентинской армии – поставить свой народ во главе объединенной Южной Америки – они допускали, что Соединенные Штаты сохранят временный контроль над севером! – взяв за пример титаническую борьбу Гитлера за объединение Европы; что штатских надо изгнать из правительства, поскольку они никогда не сумеют понять грандиозности подобного идеала, и научить работать и исполнять то, что является их истинным предназначением в жизни; и что для совершения всего намеченного требуется железная диктатура. Все эти разговоры о миссии и предназначении были как бальзам на душу для многих аргентинских офицеров, вскормленных на нарциссическом национализме, скрывавшем болезненную неуверенность в собственных силах. Перону, с его внешним добродушием, все еще находящемуся в ореоле своей европейской поездки, получившему из первых рук знание тоталитарных методов, не составило труда стать одним из лидеров организации ГОУ и центром ее интриг.

Членство в ГОУ очень скоро превратилось в нечто чуть ли не обязательное для каждого офицера – из тридцати шести тысяч уклонились от него только трое, однако некоторые, когда на них начинали давить, предпочитали уйти в отставку, но не подчиниться диктату. Говорят, что комитет ГОУ имел в своем распоряжении подписанные каждым офицером заявления об отставке с непро-ставленными датами; использовались они для шантажа или нет, но в одном можно не сомневаться: ни один офицер не получал повышения по службе, даже если он этого вполне заслуживал, если не следовал директивам ГОУ.

В Буэнос-Айресе президент Кастильо с каждым днем становился все менее популярен. Выборы в провинциях привели к такому скандалу, что общественность, вынужденная участвовать в этой бесчестной игре, заявила всеобщий протест. Военные тоже были не особенно довольны своим протеже, который, невзирая на все профашистские симпатии, назвал в качестве преемника Патрона Костаса – только для того, чтобы угодить консерваторам-землевладельцам. Этот богатый аристократ славился своей приверженностью ко всему английскому.

4 июня 1943 года армия снова маршем вошла в город со стороны Кампо де Майо; единственным очагом сопротивления оказалась Академия флота, где при тщетной попытке защититься

было убито и ранено около сотни морских офицеров и курсантов. Кастильо, который поначалу заявлял, что никому не уступит, со стремительной и недостойной поспешностью бежал на военном катере, его министры последовали за ним.

Путч организовал генерал Рамирес, военный министр Кастильо, который сам в происходящем не участвовал и позволил взять себя под стражу в Каса Росада. Его сообщником был смелый и жизнерадостный генерал Роусон: именно он ввел войска в город и провозгласил себя главой временного правительства. Но Роусон оказался слишком честным и приверженным демократии для того, чтобы его товарищи-офицеры могли его использовать, и чересчур бесхитростным, чтобы самому использовать их. Менее чем в два дня его убедили подать в отставку, и его место занял генерал Рамирес.

В этом шоу ни имя Хуана Перона, ни он лично не всплывали, но когда Рамирес формировал свой кабинет, он назначил военным министром полковника Эделмиро Фаррела. Фаррел и Перон – все они были членами ГОУ в Мендозе. Фаррел, назначенный своим другом Рамиресом на пост военного министра, сделал своего друга Перона начальником секретариата военного министерства. Но ни он, ни генерал Рамирес не представляли, какие мысли теснятся в голове этого симпатичного улыбающегося человека, всегда готового им услужить; разумеется, Перон не открывал своих амбиций. Оба приятеля были, по сути, весьма заурядными людьми, не слишком сведущими в государственных делах и политических тонкостях. Рамирес отличался крайней реакционностью взглядов и антифеминизмом – дома он сидел под башмаком у жены, а его изворотливость снискала ему прозвище Дирижерская Палочка. Фаррел, напротив, любил женское общество и обожал петь дамам, ударяя по струнам своей гитары. Хуан Перон мог играть с обоими с той же легкостью, с какой ребенок обращается с куском пластилина.

Но Перон никогда не торопился; такая сверхосторожность позже могла бы привести его к краху, если бы не смелость и энергия его супруги. Он прозорливо решил, что ГОУ, где он не мог рассчитывать на личную верность, – недостаточная опора для того, чтобы обеспечить ему безопасность. Вспоминая уроки, полученные в Италии – хотя он никогда не хвастался этими знаниями, – он добился поста в Национальном департаменте труда. Организации трудящихся в Аргентине после Первой мировой войны обладали столь мизерным влиянием, что никому не приходило в голову использовать их в качестве политической силы, хотя бы даже потенциальной, Рамирес и остался вполне

доволен тем, что услужливый полковник взял на себя, как ему казалось, поденную работу. Перон же единственный из военных осознавал, что режим не может существовать долго, опираясь на одну только армию.

В тот же год, когда Рамирес объявил, что его правительство более не является временным, а Фаррел, сохранив за собой пост военного министра, стал еще и вице-президентом, вновь сформированный Секретариат труда и социального обеспечения возглавил полковник Перон.

О Пероне стали поговаривать как о человеке, у которого есть будущее в политике; он так незаметно проскользнул на свой пост, прикрывшись делами соратников, что никто так и не понял, как ему удалось туда попасть, в чем состоит его политика, куда он собирается двинуться. Именно в этот момент он встретил Эву Дуарте, и, словно два небесных тела, кружащихся в космосе на страшной скорости, они попали в орбиты друг друга и вместе продолжили свою фантастическую карьеру, связанные взаимной необходимостью, которая не позволяла ни одному из них ни затмить другого, ни отделиться.

Глава 4

Я держала лампу, которая освещала его ночи, согревала его, как могла, защищая его своей любовью и верой.

Э.П.

Многое уже было сказано о «романе» между Эвой Дуарте и Хуаном Доминго Пероном: эти отношения и вправду были романтическими если не в общепринятом голливудском духе, то хотя бы в том смысле, что могли стать сюжетом литературного произведения. В своей книге Эва без церемоний признает, что полюбила Перона, потому что его дело – дело рабочего народа – было и ее собственным. Она говорила, что нищета и страдания простых людей давно уже зажигали гнев в ее сердце, но она не решалась выступать против несправедливости общества до того «счастливого дня», когда повстречала Перона и увидела в нем великого вождя.

«Я встала рядом с ним, – писала она с показным смирением, характерным для многих ее публичных высказываний. – Возможно, именно это и привлекло его внимание, и когда у него нашлось время выслушать меня, я заговорила со всей возможной убедительностью: «Если вы и вправду считаете, что дело народа – ваше дело, я до самой смерти буду с вами, каких бы жертв это ни стоило». И продолжает: «Он принял мою жертву. Это был мой самый счастливый день».

Книга, разумеется, является чистейшей воды пропагандой, написанной для самых неискушенных читателей, весьма эмоционально и с почти полным презрением к фактам, и имеет разве что самое отдаленное отношение к истине. Но она не более фантастична, чем истории, рассказанные врагами Эвы, которые приписывали ее влияние на Перона шантажу, эротической сноровке и даже колдовству. Наверное, есть достаточно простое объяснение их союза, поскольку с его стороны существовала если не любовь, то, во всяком случае, страстное увлечение, она же в свою очередь была движима не только мотивами целесообразности. Цепь, связавшая их тогда, впоследствии упроченная взаимной выгодой или необходимостью, была выкована еще в детские годы. Их объединял общий опыт ранних лет. И он, и она родились среди скучной нищеты пуэбло, происходили из семей с весьма шатким финансовым и

социальным положением и выросли без отцов. Из всего этого возникли два характера, во многом различные, но и тот и другая были одержимы амбициями, желая получить признание в мире, который с самых первых дней пренебрегал ими. Причина заключалась в них самих, а не в любви к народу и не в колдовстве, и именно эта причина свела Эву и Перона и заставила идти вместе до конца.

Когда впечатлительный полковник впервые попался на глаза Эве, она еще не знала, как ей поступить. Его много раз видели в компании хорошенькой молодой девушки, которую он обычно представлял как свою дочь. Однако же, когда его друзья-офицеры устраивали вечеринку для дочерей и жен и пригласили туда полковника с «сеньоритой Перон», ему пришлось признать, что их истинные отношения далеко не родственные: похоже, это признание смутило его друзей куда больше, чем его самого. Девушка вправду была очень молода и бесхитростна, и Эва, которой к тому времени стукнуло двадцать четыре и которая еще в детстве распростилась с юной неопытностью, просто не брала ее в расчет. Некоторые утверждают, что она просто выставила сумку и прочие вещи соперницы из квартиры Перона, когда он, скорее из коварства, нежели из простодушия, свел их там вместе, а затем ушел; это было бы вполне в духе Перона – позволить двум молодым женщинам вступить в борьбу за обладание им, а потом взять победительницу себе в любовницы. Но правдив этот рассказ или нет, Эва была не из тех, кто допускает существование каких-либо соперниц; она начисто устранила из жизни Перона не только других женщин, но и любые мелочи, подарки и безделушки, которые могли бы напоминать ему о подругах прошлого, а в его натуре присутствовала некая сентиментальная струнка, заставлявшая его хранить такие подарки. Она избавилась даже от всех вещей, вызывавших в его памяти образ умершей жены, и, говорят, дошла до того, что ободрала миниатюру с портретом Пототы с возмутительной брошки своей свекрови.

Прошло не так много времени, а Эва и Перон уже вели общее хозяйство в квартире на Калье Посадас – по соседству с той квартирой, где она жила раньше. Они не скрывали своих отношений: проводили вместе выходные на берегу реки, устраивали в доме вечеринки, и каждое утро новобранец из Кампо де Майо должен был доставлять в квартиру жестянку со свежим армейским молоком, и порой полковник самолично открывал ему дверь.

В течение следующего года Эва вела необычайно насыщенную жизнь; одно из самых замечательных свойств ее

характера проявилось в том, что после долгих лет полуголодного существования она осталась способна схватить за хвост удачу и использовать ее на всю катушку. Ошибки, которые она совершала, происходили от чрезмерной самоуверенности и нетерпения, но никогда от излишней робости.

Как только ее начали замечать в компании полковника, теперь руководившего Национальным департаментом труда, для нее открылась возможность делать карьеру на радио и на экране, и маленькая девочка, которой приходилось обивать пороги студий и обхаживать престарелых менеджеров, очень скоро добилась того, что они стали бегать за ней в надежде подписать контракт. Радио «Белграно» подняло ее гонорар до пятнадцати сотен песо в месяц, и хотя это – всего лишь триста семьдесят долларов, такая сумма более чем в шесть раз превышала ее оклад годом раньше. С ней заключили контракт на ежедневные выступления в «мыльной опере», которая называлась «Полцарства за любовь», и предоставили слово в прямом эфире вечерами по средам и пятницам в программе под названием «К лучшему будущему», которая состояла из страстных коротких проповедей о материнстве, патриотизме и самопожертвовании. Это был первый знак того, что Эва заинтересовалась вопросами высокой морали – в качестве средства саморекламы; слушали ее или нет – в любом случае это всех устраивало, и потому Джэйм Янкелевич, директор радио «Белграно», очевидно, решил всеми силами «продвигать» молодую женщину, которая имела такое влияние на впечатлительного полковника, и снова увеличил ее гонорар. В конце 1945 года она регулярно появлялась на трех крупнейших радиостанциях Аргентины: «Белграно», «Эль Мундо» и «Эстадо», и зарабатывала уже около тридцати тысяч песо, или семьсот пятьдесят долларов в месяц. К тому времени политическое будущее полковника не вызывало сомнений.

В кино успех Эвы был далеко не таким блистательным. Она и сама говорила, что радио полнее всего открывает разные грани ее творчества, которое считалось таковым благодаря пропаганде, и что ее не очень привлекают сцена или экран. Но как минимум один раз она все-таки возмечтала о пресловутой голливудской карьере, поскольку обратилась к заезжему американскому кинопродюсеру с предложением пригласить ее в Голливуд, и он отклонил эту любезность, увидев Эву на сцене. Возможно, именно эта история отчасти ответственна за те трудности, с которыми позже сталкивались прокатчики американских фильмов в Аргентине. Неудивительно, что Эва не добилась успеха в кино: помимо того, что она не умела играть, она в те времена – до того, как осветлила волосы, – была нефотогеничной; но теперь,

рассчитывая заслужить расположение полковника, студия «Сан-Мигель» подписала с Эвой контракт на маленькую роль в фильме «Цирковая кавалькада» с Либертад Ламарки в качестве звезды. Из-за «артистического» темперамента Эвы работать с ней было чрезвычайно трудно; она демонстративно негодовала против своей относительно скромной роли, скандалила с каждой актрисой, игравшей роль получше, и превратила студию в свою гримерную. Ламарки бранила ее за то, что она заставляла ждать всю группу, но Эва, которая ни от кого не терпела порицаний, только приходила в еще большую ярость. Однако поскольку политическое влияние полковника становилось все более и более очевидным, а ее отношения с ним – все более прочными, с Эвой заключили контракт на исполнение главных ролей в трех других фильмах, за каждую из которых она должна была получить около четырех тысяч долларов. Следует напомнить, что в Буэнос-Айресе доллар в пересчете на песо стоил намного дороже, чем в Нью-Йорке.

Может показаться странным, что Эва, которая позже, на политической сцене, извлекла столько пользы из своего драматического таланта, никогда не имела какого-либо успеха в театре, однако нужно учесть, что театральная публика – куда более искушенная, чем толпа под балконом Каса Росада, а кроме того – роль, которую она играла на митингах, была создана ею самою для себя: здесь воплощался не характер персонажа, а грезы ее собственной придуманной жизни.

Имя Эвы постепенно стало популярным не только в театральных и военных кругах. Ее фотографии начали появляться на последних страницах журналов, посвященных радио и кино, а скоро перекочевали на первые страницы и на обложки. Женские журналы также не остались в стороне. Перемены, происходившие с ней в те месяцы, можно проследить по фотографиям, а сопровождающие снимки интервью частично приоткрывают ее замыслы. На первой из фотографий Эва позирует с широко раскрытыми глазами, взгляд ее невинен. Она одета, словно подросток, в блузку с оборками и в передничек, ее густые, темные, вьющиеся волосы собраны на макушке и свободно спускаются на плечи; однако образ «девочки» портит слишком густой слой помады на ее губах и чересчур тяжелые и вычурные драгоценности. В то время она была пухлой, почти толстушкой и еще не научилась держаться подтянуто, так что вы, наверное, увидели бы в этом снимке намек на дородную, вульгарную матрону, которой Эва могла бы стать, если бы спокойно прожила жизнь в Хунине. На более поздних фотографиях она появляется в шелковом халате, все еще с волнами темных кудрей; в ней уже

заметен лоск холеного богатства, она сидит на фоне массивной позолоченной мебели, украшенной в стиле рококо. Волосы она осветлила впервые для киносъемок, вероятно того фильма, где она играла роль богатой дамы полусвета, и стала рыжеватой блондинкой. В интервью Эва рассказывает о своей любви к сентиментальным вальсам, фильмам Грега Гарсона, цветам и книгам. Ее настоящее дело – радио, говорила она, сцена и экран мешают ее личной жизни. Хотя в интервью, разумеется, не было упоминаний о полковнике, Эва скромно упоминала о том, что готова отказаться от карьеры ради «дома», и более откровенно: она так верит в свое будущее, что, возможно, вообще бросит артистическую деятельность, предоставляя читателям лишь догадываться, что подразумевается под «ее будущим». Эва заявляла, что она – «тихая женщина, домохозяйка, любит семейную жизнь», и одновременно, с очаровательной претензией на женскую слабость, признавалась, что страшно любит наряжаться; может быть, она довольно экстравагантна, соглашалась Эва, но ее гардероб вовсе не шикарен, в нем просто есть все необходимое. Она говорила, что любит драгоценности, но не помешана на них; настоящая ее страсть – духи, которых у нее множество и которыми она пользуется, чтобы создать определенное настроение. Так же она с притворным простодушием уверяет, что в ее успешной карьере нет ничего загадочного, и добавляет без тени насмешки, что ей просто повезло.

Впрочем, артистическая карьера, о которой она говорила, вовсе не обещала быть такой уж блистательной. Эва нашла более выгодное и перспективное применение своим талантам.

Со времени военного путча 1930 года правительство накладывало все больше ограничений на импорт и распространение книг, художественных фильмов и автомобильных шин – меры, которые первоначально вводились с целью обуздать оппозицию. Многие фирмы, находившиеся в оппозиции к правительству, равно как и другие, ощущали острейшую нехватку импортных товаров, и решить эту проблему можно было, разве что заплатив за возможность нарушать эмбарго. Параллельно с системой ограничений, приводившей к повсеместной коррупции, в стране вырос целый слой бюрократии: всякий занимающий официальную должность и любой преуспевающий бизнесмен находили приемлемый способ обойти законы, за соблюдением которых чиновнику как раз и следовало наблюдать.

Для Эвы пиратский промысел был родным делом. Благодаря своему влиянию на полковника она прибрала к рукам контроль за

прокатом художественных фильмов – это должно было прибавить ей веса в отношениях со студией «Сан-Мигель», – а также и за продажей новых автопокрышек.

Эва действовала дерзко, но не оригинально; она была уникальна, но не самобытна. Чем бы она ни занималась, она никогда не упускала добычу и извлекала всю возможную выгоду из уже сложившихся обстоятельств. В Буэнос-Айресе в любом деле – шла ли речь о получении нового паспорта или правительственного контракта на миллион долларов – требовался посредник, от которого в конечном счете зависел если не успех, то по крайней мере скорость решения вопроса. В каждой уважающей себя компании имелся какой-нибудь толковый парнишка, у которого приятель работал на почте или кузина – в полицейском участке и который мог в мгновение ока получить пакет на таможне или водительские права для своего хозяина, избегнув формальностей или проверок; а среди директоров компании непременно фигурировал некий обходительный джентльмен, знакомый с нужными людьми в правительстве и точно знающий, кому и как следует сделать необходимое подношение: в случае больших правительственных контрактов чаще надо было действовать через подружку официального лица, нежели через него самого. Эва стала монополисткой в этом подпольном бизнесе; именно к ней, и только к ней, ходили на поклон обходительные джентльмены, и именно к ее людям бегали смышленые офисные мальчишки.

Теперь Эва достигла уровня преуспеяния, который показался бы ее друзьям пятилетней давности просто фантастикой. Она и в самом деле добилась того, что, по ее мнению, означало вершину карьеры на радио: ее гонорары стали выше, чем у любой другой звезды, а иной мерки, чтобы судить о своем совершенстве, она не знала. Но ее амбиции влекли ее все дальше, к тому, что другим показалось бы невозможным, так же как казался невозможным и ее теперешний успех. Эва уже видела вдали смутный абрис этого успеха, но он был не настолько реален, чтобы увериться в нем до конца.

Она начала щедро тратить деньги, но манера, с которой она это делала, все еще выдавала в ней человека непривычного. Так, покупая одежду у молодого французского модельера, она, несмотря на то, что требования ее были весьма экстравагантными, настаивала, чтобы в счетах проставили цену каждой детали – столько-то за такое-то количество ярдов шелка, столько-то за пряжку, или за тесьму, или за пуговицы. Эва знала точно, сколько что стоит, и боялась, что ее обсчитают; она полагала, что швыряться деньгами – это широкий жест, но быть

обсчитанной – признак слабости. Поскольку все ее будущее зависело от умения использовать других людей в своих интересах, она не могла допустить, что кто-либо проделывал нечто подобное с ней.

Положение Эвы все еще оставалось очень шатким. Чуть ли не с первых месяцев ее знакомства с Пероном ГОУ стала ее наиболее суровым критиком и самым опасным соперником. Дело было не в том, что офицеры-заговорщики не одобряли их отношений. Если бы Эва удовольствовалась экстравагантными нарядами и общественным признанием, которые устроили бы большинство женщин, они бы разок-другой пошутили насчет неосторожности полковника – и только; сильное увлечение другого всегда кажется мужчинам несколько смешным. Но Эва не испытывала соответствующего уважения не только к офицерской форме, но и к мужскому превосходству, она распоряжалась не только своим любовником, но начала приказывать и им, а из-за ее особого положения зачастую складывалось так, что офицерам приходилось подчиняться, и это смущало их и окончательно сбивало с толку – не меньше, чем ее фамильярное «ты». Мне кажется, Эва получала маленькое и вполне понятное злобное удовольствие, дурно обращаясь с этими джентльменами и модными кавалерами, и ей явно нравилось издеваться над ними. Но для аргентинского джентльмена его авторитет является главным достоянием, а для аргентинского офицера – вдвойне. Поэтому товарищи объясняли Перону, что его отношения с этой актрисой станут в конце концов известны общественности и принесут ему дурную славу. На что Перон бодро возражал, что он, слава Богу, нормальный мужчина и что престиж армии пострадает меньше, если откроется его связь с актрисой, нежели с актерами, – возражение, которое, без сомнений, могло сильно задеть некоторых из его критиков.

На самом деле именно интриги и махинации в офицерской среде давали Эве возможность вмешиваться в государственные дела, поскольку многие из этих дел решались скорее на тайных собраниях, чем в здании сената или в депутатских кабинетах, а большинство этих собраний проходило в квартире на Калье Посадас. Первое столкновение Эвы с государственными мужами вряд ли могло внушить ей большое уважение к этим людям. Более того, игнорируя светские приличия – что всегда было одним из ее наиболее привлекательных качеств, она порой принимала гостей попросту, облачившись в пижаму, и, пока они разговаривали, ложилась на пол и делала гимнастику.

В ее душе жила тяга к приключениям, и, возможно, именно понимание непрочности своего положения добавляло ей

энтузиазма, поскольку она, как минимум, испытывала огромное удовольствие, все больше распространяя свою власть. Однако же Эва знала, что ее будущее зависит не только от причуд полковника, но и от стабильности правительства, которое за восемнадцать месяцев пережило отставку трех президентов и сорока министров. Чтобы жить спокойно, ей следовало стать независимой от Перона и сделать все возможное, чтобы его карьера не зависела от ситуации в стране. Его дело поистине было и ее делом, и она отдалась ему всем сердцем, отбросив всякие сомнения или сдержанность, и, возможно, в этом и заключался секрет ее успеха. Махинации Перона стали ее махинациями, и она претворяла их в жизнь с удвоенной энергией; враги Перона стали ее врагами, и она преследовала их жестче и неумолимей, чем он; друзья Перона стали ее друзьями, и она лучше его сумела использовать их в своих эгоистических целях. Враги тех лет уже покинули этот мир, да и друзей почти не осталось. Близко знать Эву было небезопасно. Первыми покинули сцену те, кто мешал Перону, будучи его непосредственными соперниками: полковник Имберт, которого Эва практически отправила в отставку, после чего он оставался не у дел до конца 1945 года; генерал Перлинджер, который был министром внутренних дел и протестовал против контроля Перона над военным министерством; генерал Авалос, состоявший в руководстве Кампо де Майо и чуть не вытеснивший оттуда Перона раз и навсегда. В этом списке числятся люди, которых Эва использовала к своей выгоде, пока они не стали угрожать ее тщеславию и которых теперь следовало удалить: Хуан Атильо Брамулья – Эва жестоко расправилась с ним, когда тот снискал излишнюю популярность в качестве министра иностранных дел; Киприано Рейс, организовавший выступления рабочих в защиту Перона и за попытки протестовать против эксплуатации профсоюзов немедленно оказавшийся в тюрьме; и Мигель Миранда, чей коварный ум позволил ему обойти Эву в жульничестве с разрешениями на импорт, имевший жирный кусок в каждом пироге этой страны – до того, как ему пришлось по состоянию здоровья поспешно убраться в Монтевидео. Были также и ничтожества: полковник Фаррел, который до того, как исчезнуть, показал себя самым бездарным из правителей, и полковник Мерканте, ближайший из друзей, которого Эва называла «сердцем Перона» – до тех пор, пока шесть лет спустя он не вознамерился соперничать с ней за пост вице-президента. Эве пришлось бороться со всеми этими мужчинами и против грозных махинаций ГОУ.

В своей книге Эва говорит, что именно Перон – а она

приписывала ему все, кроме разве что сотворения мира, – научил ее обращаться с людьми, но похоже, большую роль в этом сыграл ее прежний опыт, позволивший ей прибрать к рукам всю сеть творившихся рядом с ней интриг и предательств. Образно говоря, Эва вызвала на поединок целую организацию – ГОУ, и победила.

Но она не смогла бы ни выжить, ни победить без потворства Перона, чью привязанность она культивировала со всем возможным усердием. Если в том обожании, которое она бесконечно выражала по отношению к нему, и была какая-то доля искренности, то Эва и сама не могла бы сказать какая. Те, кто близко знал ее, говорят, что в сердце этой женщины таились неисчерпаемые запасы страсти и любви. И конечно, ее любовник, который был на двадцать четыре года старше, не мог обнаружить расставленные на его пути ловушки и, даже если бы хотел, не сумел бы устоять перед фальшивой лестью, которой она его опутывала. Здесь крылась его слабость, и наверное, по-настоящему он любил в Эве именно это идеальное отражение своей личности. Сила и высокомерие Эвы бросали вызов собственническим инстинктам слабохарактерных мужчин – словно обладание подобной женщиной помогло бы им приобрести аналогичные качества. Ее безжалостность пробуждала желание сильнее, чем любовь, а в те времена, как и в первые годы их брака, ко всему присоединялось еще и сладострастие, которое позже она ввела в определенные рамки, хотя так и не узнала спокойного, расслабленного удовлетворения, которое приходит, когда человек любит и по-настоящему любим. Но как бы она ни вертела Пероном на людях и как бы ни пилила его дома, она всегда говорила о нем так, словно он был богом, – и перед этой лестью Перон не мог устоять.

Эва, будучи опытной женщиной, разумеется, не могла ожидать, что увлечение Перона продлится долго, даже если верила, что он любит ее по-настоящему. Возможно, она готова была стать его женой, однако же понимала, что люди его положения редко женятся на своих любовницах, а кроме того, в ГОУ у нее были враги, с которыми следовало считаться. Эти офицеры прилагали все усилия, чтобы заставить Перона порвать с Эвой. Но ее планы на будущее видны уже из тех ролей, которые она выбирала для себя на радио, – к тому времени она уже сама определяла свой репертуар; это в основном образы романтических женщин в исторических сериалах – таких, как леди Гамильтон и императрица Жозефина; и в интерпретации Эвы становилось ясно, что Нельсон или Наполеон ничего не добились бы без ума и мудрости их подруг.

Нет сомнения, что Эва с самого начала завоевала доверие

Перона и он не скрывал от нее ни одной из своих амбиций. Она умела быть ревностной и внимательной слушательницей, и его, вероятно, подогревал ее неподдельный интерес; они обсуждали его планы, и то, как она позже с успехом использовала его методы, показывает, что Эва извлекла многое из этих бесед. Но ей мешала излишняя самоуверенность: события, с ее точки зрения, разворачивались недостаточно быстро, нетерпение заставило Эву забыть об осторожности и поставить под удар их общий успех и свое влияние. В кругу друзей – а кто мог быть уверенным в чьей-либо дружбе? – Эва похвастала намерением Перона сделаться вице-президентом. Можете себе представить последовавшую за этим ссору: у полковника в запасе был полный набор выражений из лексикона портовых грузчиков, а Эва умела кричать так же резко и пронзительно, как длиннохвостый попугай. Но в характере Перона присутствовала определенная мягкость, которая позволяла ему безропотно сносить диктат женщины, тогда как от мужчины он никогда ничего подобного не стерпел бы, и проблема была улажена, а осуществление планов отодвинулось на будущее.

Эти самые полтора года, когда Эва купалась в довольстве и благополучии, были самыми смутными в истории Аргентины со времен тирании Росаса за сто лет до этого.

Правительство, которое теперь оказалось целиком во власти военных, разделилось на два лагеря: одна фракция поддерживала генерала Роусона, человека мужественного и честного, который утверждал, что Аргентина должна исполнять свои обязательства перед союзниками, порвать с рейхом и обуздать нацистских агентов, которые, используя Буэнос-Айрес в качестве базы, наносили большой урон морскому судоходству в Южной Атлантике. Другая, более сильная фракция, все еще находилась под властью давних чар германского милитаризма и продолжала считать, что рейх непобедим. Перон поначалу был скорее орудием, нежели лидером пронацистской группировки; военные собирались использовать его до тех пор, пока он служил их целям.

Примерно через неделю после землетрясения в Сан-Хуане Рамирес – Дирижерская Палочка (а он и вправду позволял крутить собой туда-сюда, подобно дирижерской палочке) – был вынужден под давлением общественного мнения в своей стране и за границей разорвать отношения с Германией, вызвав тем самым крайнее недовольство ГОУ. Перон, при всей своей симпатии к нацистам, должен был втайне радоваться, поскольку это превосходно служило его целям, а для их достижения он был

готов кричать «Viva la Democracia!»[14] или же, как он без тени смущения признавал позже, стать коммунистом, если коммунистической станет его страна.

Вскоре было объявлено, что президент Рамирес вынужден подать в отставку по состоянию здоровья. Поскольку парой дней раньше он появлялся на публике в добром здравии, это вызывало некоторые подозрения, но когда репортеры обратились с вопросами к Перону – они уже начинали привыкать к его роли официального глашатая, – тот вежливо заверил их, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.

Позже стало известно, что несколько офицеров вызвали Дирижерскую Палочку посреди ночи (среди них были и те, кто всего лишь месяцем ранее публично заверял его в своей личной преданности) и, под прицелом револьверов, заставили его объявить о своей отставке. Две недели спустя отставку утвердили официально, и место Рамиреса занял полковник Эделмиро Фаррел, который тут же назначил своего друга Перона военным министром. Неизвестно, понимал ли Фаррел, к чему это приведет (Рамирес, будучи военным министром, впоследствии заместил президента Кастильо и в свою очередь был смещен Фаррелом, своим военным министром), но у новоиспеченного президента практически не оставалось выбора. Он был не более чем марионеткой, что сразу же подтвердила его пресс-конференция, на которой он заявил лишь, что целиком и полностью согласен с тем, что сказал полковник Перон.

Перон и Эва сошлись как раз в эти дни радикальных перемен, так что она была с ним с первых шагов его карьеры и играла важную роль во всех последующих событиях, даже если это не сразу проявилось со всей очевидностью.

Фигура Хуана Доминго Перона стала вырисовываться где-то позади президентского кресла, но публика, как всегда бывает, не могла составить ясный портрет этого человека. О его прошлом никто ничего не знал; все свои личные амбиции он с успехом скрывал под улыбкой и с видом обманчивой откровенности обещал возвращение гражданских свобод и защиту прав трудящихся. Даже самые опытные из профсоюзных лидеров, самые прозорливые из либералов и самые антимилитаристски настроенные из социалистов были готовы поверить его обещаниям. Но в те же полтора года, когда Перон стал военным министром, потом – в придачу к этому – возглавил Секретариат труда и, наконец, прибавил к первым двум должностям пост вице-президента, практически всем претензиям на защиту гражданских свобод пришел конец, а со дней Иригойена это могли быть не более чем претензии. Газеты закрывались, лидеров оппозиции

арестовывали, профсоюзных руководителей заключали в тюрьму, а на их место приходили прихвостни Секретариата труда, забастовщиков сажали за решетку и пытали, университетских профессоров увольняли, студентов отправляли в колонии, а одну независимую школьницу, отказавшуюся писать сочинение, прославляющее Фаррела, исключили из школы и не принимали ни в какие-либо другие.

Хотя Перон и настаивал упорно на том, что «перонизм» является всецело самобытной доктриной, фактически он – не более чем фашизм, несколько видоизмененный, приспособленный к образу жизни и темпераменту южноамериканцев. Во время своего пребывания в Европе Перон особенно хорошо усвоил один урок: он понял, что можно сплотить рабочий класс и сделать из него орудие не менее эффективное, чем армия. Он преобразовал старый Национальный департамент труда в Секретариат труда, который получил статус министерства; а затем, подражая Муссолини, принялся объединять независимые профсоюзы в синдикат под маркой укрепления их мощи. Так появилась Генеральная конфедерация трудящихся. Опираясь на всю мощь созданной им организации, Перон мог теперь учредить специальные суды, которые разбирали разногласия между рабочими и руководством, как это делалось в Италии, и подбивали трудящихся добиваться повышения заработной платы и улучшения условий труда. Эти меры действительно были необходимы, и рабочие, которых так долго эксплуатировали и которые в подавляющем большинстве отличались совершенной политической наивностью, не видели, что за гроши продают свою независимость, а в пылу всеобщего энтузиазма никто не заметил, как ветеранов профсоюзного движения постепенно заменили ставленники Перона, способные добиться для рабочих столь многих выгод. После того как удалось поднять заработную плату на тридцать, сорок и даже пятьдесят процентов, добиться ежегодной премии в размере месячной зарплаты для каждого рабочего, установить оплачиваемые отпуска и бюллетени и обеспечить защиту от несправедливых увольнений, неудивительно, что профсоюзы были готовы носить Перона на руках. Теперь он мог похвастать, что за его спиной стоит армия из тысячи обученных солдат и четыре миллиона рабочих, вооруженных дубинками. Но такая ситуация представляла угрозу не только для противников Перона, но и для тех, кто его поддерживал. С высоты своего положения он мог натравливать одних на других, мог обращаться с рабочими с армейской суровостью, когда они отказывались ему повиноваться, и грозить армии гражданским бунтом в том случае, если она откажет ему в

поддержке. Но общественности дозволено было лишь лицезреть его вкрадчивую улыбку и слушать его обещания; любая радиостанция, которая отважилась бы критиковать его, тут же лишилась бы своей лицензии (в этом Перону деятельно помогала Эва), и всякую газету, выступившую против него, скорее всего закрыли бы.

Аргентинцы – не бунтари по природе; обитатели богатых столичных провинций в большинстве своем живут чересчур комфортно и сыто; а те, кто по-настоящему беден, при этом невежественны и зачастую так далеки от столицы, что дела правительства их вроде как и не касаются. И тем не менее недовольство в стране нарастало. Portenos, для которых потеря собственного достоинства ужасней, чем потеря свободы, и так воротило с души от того, как откровенно правительство ухаживало за рейхом – симпатии гражданского населения были обращены скорее к Англии и Франции, с которыми Аргентина издавна вела торговлю и имела культурные связи; а тут они почувствовали себя еще более униженными, обнаружив, что их страна, по словам Черчилля, «выбрала себе в кавалеры врага, и не просто врага, но и проигравшую сторону». Им не позволили даже порадоваться победе союзников, потому что в день освобождения Парижа (а Париж всегда был духовной родиной для образованных аргентинцев) трехтысячную толпу, собравшуюся, чтобы отметить это событие, разогнали силами полиции; когда пал Берлин, все торжества были запрещены, а на группы, которые все же осмеливались вместе праздновать победу, нападали хулиганы, которых полиция оберегала и поддерживала. Декларация о вступлении Аргентины в войну в последнюю минуту, когда правительство, наконец, убедилось, что Германия проиграет, только добавляла portenos унижения.

После капитуляции Японии толпы народа хлынули на улицы, и в последующей за тем стычке с полицией были убиты два студента. Их смерть вызвала волну забастовок среди студентов и университетских преподавателей по всей стране. В Буэнос-Айресе восемьсот юношей и девушек забаррикадировались в здании университета; полиция окружила здание, открыла по нему огонь и, наконец, пустила в ход слезоточивый газ. Студенты защищались столами и стульями. Молодых людей в конце концов притащили в специальный отдел полиции, а девушек доставили в тюрьму Сан-Мигель, где обычно держали проституток. В прессе, контролируемой правительством, появились направленные против них клеветнические статьи.

Полицию Буэнос-Айреса тогда возглавлял полковник Филомено Веласко; он получил этот пост из рук Перона, и какое-

то время эти двое были близкими друзьями. Эва с некоторым сомнением относилась к этой дружбе, хотя ее смущали в Веласко отнюдь не его методы (после того как она в итоге выдворила его с должности, эти методы не изменились), а сам полковник, поскольку он был не вполне готов следовать ее руководству. Избранные им приемы арестов вошли в поговорку (его тюремщики, подобно агентам гестапо, прибывали на место посреди ночи, чтобы утащить свою жертву), и его садистские методы допросов были тоже хорошо известны.

В сентябре 1945 года состоялся мощный антиправительственный марш протеста, и генерал Роусон, который всеми силами защищал идею сотрудничества с союзниками, с ликованием приветствовал проходящие внизу толпы с балкона (его дом располагался на пути к конгрессу). Его за это не слишком сильно попрекали, так что он, не удержавшись, согласился возглавить заговор, который составил вдвоем с товарищем – офицером из командования одного из гарнизонов в провинциальном городе Кордоба. Но ровно через неделю, когда они уже были готовы двинуться маршем на Буэнос-Айрес, он вместе с остальными конспираторами был внезапно арестован и отправлен за решетку.

Нельзя сказать, что военные поверили хоть на мгновение добродушной улыбке Перона. Когда он получил пост в Секретариате труда, всем казалось, что он взялся за неблагодарную работу, но офицеры с растущей тревогой наблюдали за тем, как он сплачивает профсоюзы, превращая их в оружие, направленное против них; с еще большей тревогой они следили за махинациями подружки полковника, которая, казалось, все меньше и меньше удовлетворялась своим успехом на радио и счастливой творческой судьбой (они готовы были позволить ей и дальше извлекать из этого доход) и все больше влезала в правительственные дела, советуя вице-президенту, кому отдать ту или иную должность, а кого устранить. Более того, эти должности чаще отдавались ее друзьям и родственникам, нежели друзьям и родственникам Перона.

Мать Эвы, вечная донья Хуана, завела себе нового друга. Это был некто Никколини, почтовый служащий. Эва использовала свое влияние на Перона, чтобы добиться для Никколини должности директора почт и телеграфа. Чиновник, занимающий такой пост, становился довольно влиятельным, поскольку именно он осуществлял контроль за радио, кинопроизводством и за всеми средствами массовой информации. Эва с самого начала урвала для себя кусочек этого пирога, поскольку прежде столь важный пост занимал ее предыдущий друг – полковник Имберт,

что, разумеется, было его самой привлекательной чертой. Но теперь, когда его сменил очередной любовник ее матери, Эва целиком взяла дело в свои руки: всем было ясно, кто на самом деле контролирует почту и телеграф.

Таких вопиющих злоупотреблений ГОУ стерпеть не могла. К тому времени стало уже очевидно, что Перон, несмотря на все свои заверения, что он не преследует никаких личных целей, собирается выставить свою кандидатуру на выборах, которые, если только не начнется гражданская война, ожидались в самом скором времени. Он уже заигрывал то с одной, то с другой политической партией и за одну ночь мог беззастенчиво сменить маску профсоюзного деятеля на образ убежденного консерватора. Если его выберут, Эва окажется вне досягаемости. И поскольку народ требовал реформ и жаждал серьезных перемен в политике, офицерам под командованием генерала Авалоса в Кампо де Майо показалось, что настал подходящий момент для того, чтобы бросить Хуана Доминго (а вместе с ним, между прочим, и Эву) на съедение волкам.

Они представили Перону ультиматум, и он, поскольку всегда предпочитал действовать скорее благоразумно, нежели смело, принял его. После беспорядков последних месяцев он уже не был уверен, стоят ли эти четыре миллиона рабочих с дубинками у него за спиной или прямо перед ним, и, вероятно, сумел убедить Эву, что временная отставка станет политически верным шагом.

10 октября 1945 года радио и газеты сообщили, что полковник Перон сложил с себя полномочия вице-президента, военного министра и главы Секретариата труда и обеспечения.

Эва проиграла.

Глава 5

Я бросилась на улицы в поисках друзей, которые все еще могли для него что-то сделать.

Э.П.

Утром 12 октября 1945 года, когда первые зеленые листочки дымкой окутали темные ветви акаций, на Пласа Сан-Мартин начала собираться толпа. Площадь располагалась в фешенебельном квартале в конце Калье Флорида, на месте старого невольничьего рынка колониальной эпохи. С одной ее стороны величественное здание отеля «Плаза» подпирало надменное плечо выскочки-небоскреба, а с другой – стояли массивные частные дома в стиле барокко, до последнего времени – «палаццо» олигархов. Одно из этих зданий, со сварными, покрытыми позолотой железными воротами, высотой как минимум в два этажа, называлось Circulo Militar, или Офицерский клуб. На фасаде кто-то вывел мелом:

«На виселицы – с Пероном!»

Толпа, собравшаяся под окнами здания, состояла из того сорта людей, которых в любом городе планеты не так просто вывести на демонстрацию; среди них, разумеется, попадались студенты, но в большинстве своем это были юристы, бизнесмены, домохозяйки, писатели, врачи и художники. На сей раз они пробудились от спячки, и шум их голосов звучал все громче и все более гневно. Они требовали свободных выборов, конца тирании и суда над Пероном. Полицейские, заполнившие узкие улочки, ведущие на площадь, пытались силой оттеснить толпу, но молодой офицер, с мелодраматическим пафосом выскочивший на балкон клуба, вскричал, что он и его товарищи-офицеры готовы возглавить демонстрантов и напасть на полицию, если она станет вмешиваться.

– Viva! Viva! Покончить с Пероном! – вопили люди.

Позже, когда на площади собралось не менее пяти тысяч portenos, адмирал Верненго Лима, новый министр военно-морских сил, вышел на балкон, чтобы заверить демонстрантов от имени президента…

– У нас нет президента! – оборвали его. – Фаррел, убирайся! Покончить с Пероном!

Адмирал обещал от имени правительства…

– Мы хотим гражданское правительство! – кричали люди. – Сформировать немедленно гражданское правительство, а виновных в создавшейся ситуации наказать, и Перона – первым!

– Смерть Перону! Смерть Перону!

Демонстранты не расходились до самых сумерек, ожидая известий о новом кабинете и об аресте Перона; вдруг раздался сигнал горна, и мгновением позже полиция, открыв огонь по толпе, перешла в наступление. Люди в поисках укрытия кинулись к дверям близлежащих домов, прятались под каменными скамейками и под ветвями акаций; молодой доктор опустился на колени, чтобы помочь раненой женщине, и сам получил пулю в спину – таков был ответ, истинный ответ армии, находящейся у власти.

Правда, на сей раз приказ открыть огонь отдавал не Перон. Его дружок Веласко уже не был главой полиции, а Перон и Эва бежали. Военные с радостью бы сделали из Перона козла отпущения и отправили наряд полиции сначала в квартиру на Калье Посадас, а затем в дом доньи Хуаны в Хунине. Но ни Перона, ни Эву найти не удалось.

Надо отдать должное твердости Эвы: она не поколебалась в своей верности Перону в те октябрьские дни. Менее решительная женщина сочла бы за лучшее подождать и посмотреть, на чьей стороне козыри, но Эва была настоящим азартным игроком и никогда не медлила. Кроме того, она ясно понимала, что ждет ее саму, если Перон не вернет себе прежнего влияния. Не успел полковник подать в отставку, как Джэйм Янкелевич, сияя от счастья, вычеркнул Эву из гонорарной ведомости на радиостанции «Белграно». С этой Дуарте покончено, решил он.

Но в квартире на Калье Посадас, в компании младших офицеров, оставшихся верными своему вождю (или, как минимум, полагающих, что у него есть шанс вернуть себе прежнюю власть), которые ходили, громко топая, туда-сюда и охраняли дом на случай вторжения разъяренной толпы, Эва и Перон, должно быть, пережили часы мучительных сомнений, прежде чем решили бежать. Мысль о том, чтобы оставить все свои наряды, духи и безделушки, которые она покупала так задорого и которым радовалась так недолго, наверняка терзала Эву; но еще более горькое страдание причиняло ей то, что приходится отказываться от власти в тот момент, когда общество уже было готово признать ее, и отступать под насмешки и ликование врагов. Более осмотрительный полковник первым предложил уехать, она сначала протестовала, а потом согласилась, в первый

раз в жизни познав, что такое страх.

Должно быть, они ускользнули ночью 11 октября, выбираясь из темного города по окольным улочкам, чтобы не проезжать мимо ворот президентской резиденции, на север, в речной порт Тигре в дельте Рио де ла Плата. Там, в устье реки, располагалась тысяча, если не больше, островков, разделенных узкими протоками, почти полностью скрытыми в зарослях плакучих ив и жимолости. В Тигре они позавтракали и двинулись вперед по одному из более широких каналов, где вода нетерпеливо неслась вдоль грязных берегов, омывая тростники и водяные гиацинты, которые клонились в глубоком, неверном реверансе.

Целью путешествия Эвы и Перона был маленький курорт Трес Бокас, где в более счастливые времена своей любви они проводили выходные. Он, видимо, казался им подходящим убежищем – с его широкой бухтой, выходящей прямо в открытые воды Параны, и дружелюбным побережьем Уругвая на горизонте. Но речная полиция, получив известие о том, что они прячутся здесь (разумеется, все их старые излюбленные местечки находились под присмотром), поставила в бухте охрану и сообщила в столицу об их местопребывании. Вечером 12 октября, когда полиция расстреливала толпу на Пласа Сан-Мартин, Перона арестовали и вместе с Эвой доставили обратно в квартиру на Кальье Посадас.

Эти события с очевидностью выявили некую слабость характера Перона; когда его арестовывали, он дрожал, а по дороге в город брюзжал, что у него начинается плеврит, и заявлял, что пребывание в тюрьме вредно для его здоровья. В ту же ночь его на военном катере отвезли на тюремный остров Мартин Гарсия, откуда он писал письма своему старому другу Фаррелу, снова ссылаясь на свой плеврит и жалуясь на дождь, который захлестывает в окна. Хотя, по правде сказать, с ним обращались куда лучше, чем с теми рабочими и студентами, которых его друг Веласко отправил в тюрьму Вилла Девото, избив предварительно в Особом отделе полиции.

Закон и традиция Аргентины предоставляют политическому заключенному возможность выбора между тюрьмой и ссылкой – здесь не выносят смертных приговоров, разве только убийцам. Даже в тоталитарном государстве Перон предпочитал задавить своих политических врагов финансовыми мерами, а затем позволить им удалиться в ссылку, и только тех, кто представлял реальную угрозу его господству или был чересчур беден и малоизвестен, иными словами, тех, кому нечего было терять, ждала тюрьма. Весьма показательно, что, будучи разлученным с Эвой, Перон писал письма с просьбами о ссылке. Невозможно

представить, чтобы он опустился до такой слабости, если бы она была рядом: в тяжелые моменты он всегда обретал ее поддержку.

В те несколько дней, пока Перон находился в тюрьме, а армия осталась без всякого серьезного руководства (генерал Авалос, возглавлявший фракцию, выступавшую против Перона, никогда не был настоящим лидером), трагическая слабость демократической оппозиции проявилась во всей полноте. В тот момент их поддерживало большинство населения страны и, если бы они оказались способны на совместные действия, то могли бы восстановить конституционное правление. Но проклятие аргентинского характера, которое сами аргентинцы с такой гордостью называют «dignidad de hombre», их «мужская честь» не позволяла одному радикалу уступить другому радикалу, а тем более социалисту в любой политической мелочи типа выбора министра, из-за чего формирование демократического кабинета превратилось в неразрешимую проблему. Когда Верховный суд, который в Аргентине берет на себя исполнительную власть в том случае, если по каким-то причинам и президент, и вице-президент смещены со своих постов, представил наконец кандидатуры министров, созданный кабинет оказался столь же непопулярным, сколь и консервативным, и люди, вновь разочаровавшись в своем демократическом руководстве, предпочли иметь дело с Фаррелом, который был слишком явным ничтожеством, чтобы настроить против себя народ.

Но пока Перон в своей комнате (его не посадили в камеру) в Мартин Гарсия роптал на погоду, а оппозиция рассуждала о теоретических принципах правления, Эва не выказала ни слабости, ни растерянности. Она рыдала и вопила, как фурия, когда ее любовника разлучали с ней, но едва его увезли, она бросилась к былым друзьям, чтобы криком, угрозами и обещаниями добиваться его освобождения.

Один из таких эпизодов она описывает в своей книге, и в ее словах звучит нотка подлинности.

«Я бросилась на улицы, в поисках друзей, которые все еще могли что-то для него сделать… Но когда я перешла из богатых и гордых кварталов в кварталы, где жили бедные и смиренные, двери стали открываться передо мной и меня встречали с большим теплом.

Наверху я обнаружила только холод и расчет «благоразумных» «обычных» людей, которые не способны действовать или мыслить неординарно и общение с которыми вызывало у меня лишь тошноту, стыд и отвращение».

Впрочем, в тот момент Эва все-таки не осталась без финансовой поддержки и без помощи – достаточно много людей рисковали потерять все, потеряв Перона. Говорят, убегая в Трес Бокас, она и Перон захватили с собой пятьдесят тысяч долларов наличными; разумеется, они не могли уехать с пустыми карманами, и, если это так, деньги хранились у Эвы, потому что Перон не стал бы брать их с собой в тюрьму. Точно известно лишь то, что из тех десяти миллионов долларов, которые были собраны для жертв землетрясения в Сан-Хуане за полтора года до означенных событий, шесть миллионов уже растворились. Говорили, что они ушли на сирот, но из нескольких сотен детей, потерявших родителей и дом, помощь получил только сто тридцать один ребенок. Даже при самых щедрых вспоможениях, к которым Эва, по собственным ее словам, имела склонность, невозможно, чтобы шесть миллионов долларов были потрачены на сотню маленьких детишек, а поскольку с тех самых пор Эва и Перон зажили так, словно получили во владение сказочный золотой черепок, неудивительно, что их так часто обвиняли в воровстве.

Среди тысячи других историй имеется и рассказ о том, что Эва, вскоре после того как был основан фонд помощи пострадавшим, вернувшись вечером домой, обнаружила шикарную горностаевую шубу, лежащую поперек кровати.

– О! – воскликнула она в восторге. – Какой святой принес мне это?

Перон высунулся из-за занавески, за которой прятался, чтобы насладиться ее удивлением, и ответил с самодовольной улыбкой:

– Сан Хуан![15]

Но откуда бы ни взялись эти деньги, Эва сейчас не скупилась тратить их, так же как и свои силы. Можно себе представить, какие золотые горы она сулила всякому, кто способен был ей помочь, и каким презрением зачастую встречались эти обещания. Но кое-кому из ее обидчиков пришлось потом пожалеть о своей недальновидности. Ее жестокая месть Хуану Брамулья, чуть ли не единственному способному и честному человеку времен пероновского режима, напоминала о тех днях, когда он не торопился вытаскивать Перона из тюрьмы; впрочем, Брамулья продержался на своем посту дольше, чем Киприано Рейес, который так активно и с такой энергией хлопотал за Перона, а тремя годами позже оказался за решеткой.

Киприано Рейес, вероятно, более, чем кто-либо другой, причастен к освобождению Перона. Будучи лидером профсоюзного движения, он поднял профсоюз рабочих консервной промышленности в трущобах к югу от Риачуело, и

толпа замызганных и взбудораженных парней ворвалась в южные доки города. Как глава Секретариата труда, Перон поддерживал забастовку «консервщиков», а двое из них стали его близкими друзьями. Одним был Рейес, который частенько наведывался в квартиру на Калье Посадас. Теперь именно он помогал Эве подготовить демонстрацию рабочих.

К 16 октября группы рабочих стали наводнять город. Оппозиционеры утверждали, что эти головорезы на самом деле никакие не рабочие: объединенные профсоюзы – Генеральная конфедерация трудящихся – пока не поднимались на поддержку Перона; «консервщики» были людьми жестокими и неорганизованными, но есть основания полагать, что и многие нормальные труженики, обязанные Перону повышением зарплаты, искренне хотели поддержать его. Буйные толпы двигались вдоль узких улиц с криками: «Viva Peron!» – пока полицейские, не понимая, какой оборот примет это дело, выжидали, а portenos, собиравшиеся на Пласа Сан-Мартин всего четырьмя днями раньше, запирали покрепче окна и двери – они знали, что от полиции помощи ждать нечего.

К тому времени и сами военные повернули на сто восемьдесят градусов, причем с такой быстротой и четкостью, которая многое могла бы сказать об эффективности немецкой военной подготовки. Генерал Авалос, одним из первых потребовавший отставки Перона и взявший на себя управление военным министерством, теперь объявил, что полковник Перон вообще не арестован, но перевезен в Мартин Гарсия в целях безопасности, поскольку отдельные преступные элементы в городе угрожают его жизни.

Перона, все еще жалующегося на свое здоровье (в этот момент он больше напоминает какую-нибудь старуху), перевезли из Мартин Гарсия в военный госпиталь в Буэнос-Айресе, куда Эва примчалась, чтобы со свойственной ей эмоциональностью заключить его в объятия. Но какими бы искренними ни были ее слезы и чувство облегчения, которое она испытала, увидев снова своего любовника, с того момента, как они простились у реки, в ее отношении к нему словно бы появилось нечто новое – что-то такое, что было нелегко заметить, что затрагивало глубинную суть их отношений.

Вслед за Эвой явился генерал Авалос в сопровождении офицеров, которые старались держать нос по ветру и угождать одновременно и тем и этим.

17 октября Генеральная конфедерация трудящихся провозгласила, что поддерживает Перона; по стране была

объявлена всеобщая однодневная забастовка, и громадные толпы «людей без пиджаков», как с того дня стали называть последователей Перона, начали собираться под балконом Каса Росадо. Позже говорили, что это был некий спонтанный порыв, однако людей привозили на грузовиках из трущоб, расположенных в южных пригородах, и они несли с собой флаги и портреты Перона, которые невозможно собрать, а уж тем более изготовить за одну ночь. Толпы демонстрантов двигались через мосты Риачуэло (в своей книге Эва пишет, что они перебирались вплавь, но имелись мосты, время было зимнее, а река в районе консервных заводов не отличалась чистотой, это кажется уж слишком широким жестом со стороны любого трезвого человека, пусть даже движимого энтузиазмом), потом по мощеным авеню, ведущим к докам, и слились наконец в огромную, неуправляемую, крикливую и смрадную массу у Каса Росадо. В течение дня толпа все росла и с каждой минутой становилась все более нетерпеливой, взволнованная слухами о том, что Перон будет говорить, что имел место заговор, но теперь их благодетель свободен и появится с минуты на минуту.

– Перон! Мы хотим Перона! Перон!

А за розовыми стенами правительственного особняка Эва Дуарте слушала эти крики и улыбалась. Они еще даже и не думали кричать: «Эвита! Маленькая Эва!» – но скоро они закричат, а пока достаточно и того, что они зовут Перона.

Около полуночи невозможно было уже сдерживать напор толпы, Фаррел и Перон вышли на балкон. Их приветствовали громкими криками. Они обнялись, хлопнули друг друга по плечу и расцеловались: сначала в одну щеку, потом – в другую. Толпа ответила им хриплым ревом.

– Вот, – сказал Фаррел, – перед вами человек, которого все мы любим, – Хуан Перон!

– Перон! Перон! Мы хотим Перона! Куда они тебя подевали, Перон?

Это был драматический момент, даже если и немного подстроенный, и Перон не поскупился уронить слезу в ответ на столь прочувствованный призыв. Он сказал, что обнимает своих любимых «людей без пиджаков»; что он понимает их страдания, потому что они страдают так, как когда-то страдала его бедная старая матушка. Отныне он подает в отставку и расстается с армией, потому что хочет быть среди тех, кто потом и кровью добывает свой хлеб. Мелодраматическим жестом он сорвал с плеча ремень, на котором носил саблю, и отдал его Фаррелу. Двое мужчин снова обнялись. Толпа взревела. Но теперь, заявил Перон, и слезы стояли в его глазах, его «люди без пиджаков»

должны разойтись по домам, спокойно, потому что в толпе есть женщины, которых можно толкнуть или поранить, а он утомлен и совершенно измучен; но раньше, чем они разойдутся, он просит их помедлить еще мгновение, чтобы он мог полюбоваться ими.

Эва, должно быть, слушала все это с любопытством, и самодовольная усмешка время от времени появлялась в уголке ее рта, стирая официальную улыбку; но при виде генералов и полковников и пребывающих в полном замешательстве джентльменов из Верховного суда в ее темных глазах загоралась злоба.

Через несколько дней, в обстановке полной секретности – даже большей, чем когда они бежали на островок в дельте реки, с доньей Хуаной и полковником Мерканте в роли свидетелей, Эва и Перон заключили брачный союз.

Глава 6

Перонизм распространялся, и никто и ничто не могло остановить его.

Э.П.

Врагам Эвы, знавшим, насколько в Аргентине велико различие между женой и любовницей, казалось почти необъяснимым, что Перон, теперь, когда он уже практически сидел в президентском кресле, согласился официально оформить их отношения; они пытались объяснить этот брак тем, что она, видимо, поймала его в сети при помощи обмана или упирала на то, что их внебрачная связь может оказаться губительной для его предвыборной кампании, и со слезами на глазах предлагала навсегда оставить его – если только он на ней не женится, само собой. Но прошлые президенты и кандидаты на этот пост не позволяли политическим кампаниям вмешиваться в свою личную жизнь, даже если она не вполне соответствовала условностям. Политическая борьба в Аргентине всегда рядилась в плащ caballero; оппонента можно было называть грабителем, трусом или лжецом, но использовать против него какие-либо вольности, допущенные в частной сфере, считалось недостойным джентльмена – в особенности потому, что здесь практически все были уязвимы. Даже Иригойен, чьи широкие любовные интересы стали притчей во языцех, в политической борьбе от этого отнюдь не страдал. Невоздержанность какого-либо мужчины вряд ли могла стать подходящим поводом для клеветы: Аргентина не была пуританской страной, и мужчина, который позволял себе какие-либо вольности, всего лишь считался мужчиною вдвойне. Не похоже, чтобы Эве потребовалось прибегать к угрозам или лжи, даже если оставить в стороне тот факт, что Перон был сильно увлечен ею.

Просто, когда Перона отправили в Мартин Гарсия, Эва доказала, что она не только полезна ему, но и незаменима, поскольку полковник с большой долей вероятности мог отправиться в ссылку, если бы не те фантастические усилия, которые Эва приложила для его освобождения. Он нуждался в ее стойкости, чтобы маскировать определенную слабость его собственного характера – чрезмерную осторожность. До появления Эвы он всегда работал в тени какой-либо другой фигуры – на самом деле он и после продолжал действовать так

же, поскольку в глазах публики главенствующую позицию заняла Эва. Склонность к уверткам – качество, подобающее скорее адвокату, нежели политику, присутствовала в его характере, и в экстренных случаях он склонен был колебаться перед тем, как принять серьезное решение, а кроме того, предпочитал придавать своим самым тираническим актам видимость законности. Возможно, различие между ними состояло в том, что Эва желала лишь признания, тогда как Перон хотел популярности. Она никогда не прикрывалась законностью, и потому он мог списывать на нее самые варварские деяния режима и сохранять для себя видимость достоинства. Но он был так же необходим ей, как и она ему; она не смогла бы пробиться в обществе, где доминировали мужчины, без протекции мужчины, и даже для такой привлекательной и удачливой женщины, как Эва, владеть подобным человеком было столь же лестно, как и всеми теми мехами и драгоценностями, которые она заказывала с такой жадностью. Оба неизменно гордились внешностью друг друга, поскольку она становилась все привлекательней вместе с тем, как к ней приходила удача, и теперь ее можно было признать за женщину поистине красивую – а желанной она всегда умела быть, и никогда в этом не ошибалась. В Аргентине «мужественность» джентльмена стоит на втором месте после его «достоинства», и Перону было чрезвычайно лестно иметь рядом столь красивую и обаятельную молодую женщину, абсолютно преданную (во всяком случае, внешне) ему и его карьере. Как и многие мужчины, которые тайно находятся под влиянием своих подруг, он получал немалое удовольствие от того, как ловко она умела отбрить кого-то другого, хотя временами ему самому приходилось страдать от ее острого язычка; и Эва, вполне осознававшая свое влияние, тешила себя, извлекая из этого немалую пользу. Перон был проницательным политиком и, даже если бы не увлекался Эвой столь сильно, разглядел бы в ней блестящий материал для создания паблисити (поскольку он намеревался искать популярности отнюдь не у олигархов), а кроме того, неоценимого помощника в финансовых аферах, в которые ему, как президенту, вмешиваться не полагалось. Более того, именно в ее неустанном стремлении подстегнуть его к действию, можно было искать корень бед, если дела шли вкривь и вкось. Да, Перон, без сомнения, знал, что сумеет найти Эве хорошее применение; и все же я сомневаюсь, чтобы он понимал, какого джинна выпустил из бутылки.

Но, наверное, сильнее всего их связывала, может быть бессознательно, общность происхождения. Она порождала некое подобие доверия и ощущение, что они – соучастники. Им не

приходилось объяснять или оправдывать друг перед другом свои поступки. Вдвоем они могли не церемониться; рядом с Эвой Перону не требовалось думать о манерах или обуздывать свой язык, как это было в его первом, более заурядном браке с хорошенькой маленькой учительницей. А Эва не испытывала по отношению к нему того негодования, какое чувствовала к прежним «приятелям», выше ее по рождению и лучше обеспеченным. Ей не за что было обижаться на возвышение Перона, поскольку оно шло параллельно ее собственному успеху и давало ощущение личного триумфа над врагами; более того, между собой они могли откровенно обсуждать свою победу над обществом. И он, и она домогались этой победы, хотя Перон никогда не выказывал той ненависти, которая руководила деяниями Эвы; и временами он усмирял ее рвение, например приказывал убрать груду рыбы из-под окон осквернённого Жокей-клуба и устраивал ей нагоняй за эту выходку. Они были людьми одного сорта, соратниками и сообщниками, и вместе с ликованием вступили на путь, ведущий, как им казалось, к неограниченному богатству и власти, которые они собирались обрести не только за счет олигархов, ненавидевших выскочек, но и за счет простых людей, столь безоговорочно им поверивших.

После своего триумфального воцарения Перон и Эва взяли отпуск и вернулись из него уже супружеской парой, хотя о свадьбе не было объявлено публично и подробности ее хранились в секрете. Они тут же окунулись в президентскую предвыборную кампанию; и теперь Перон больше не колебался – «люди без пиджаков» сами призвали его, разве не так? Выборы предполагалось провести в начале 1946 года. Поговаривали о кандидатуре полковника Доминго Мерканте в качестве вице-президента – на самом деле обещанный пост вечно ускользал от этого маленького человечка, словно морковка, которую держат перед мордой осла. Он был настолько близок с Эвой и Пероном, что порой о них говорили как о триумвирате, хотя в действительности Мерканте никогда не позволяли занять позицию, которая могла бы случайно или намеренно привести его на трон. Неожиданно Перон избрал себе в помощники симпатичного пожилого Ортенсио Кихано, до тех пор совершенно неизвестного в политических кругах; он был родственником Веласко, которого Перон восстановил в должности шефа полиции, и обладал счастливой внешностью престарелого государственного деятеля, чье достоинство не сломили ни годы, ни опыт.

Перон использовал всякую возможность, чтобы лично участвовать в избирательной кампании. Высокий (а в Южной

Америке шесть футов считаются очень высоким ростом), с приятной наружностью и фигурой, которая при всей тяжеловесности не казалась дряблой – большая редкость в стране, где тучность считается признаком влиятельности, – он был тем, что аргентинцы называют «настоящий мужчина». Его обманчивая внешность «отличного парня» полностью соответствовала его задачам; он мог с легкостью превратиться в «своего в доску», есть бифштекс руками, орудуя охотничьим ножом и запивая мясо крепким красным вином (на самом деле он предпочитал виски с содовой), и хлопать своих избирателей по плечу, отпуская сомнительные шуточки на городском жаргоне или на диалекте нужной провинции. Или, стоя на фоне аргентинского флага, во взмокшей от пота рубашке, подхлестнуть своих «людей без пиджаков», пробудить в них неистовый патриотический жар либо надломленным голосом, со слезами на глазах благодарить их за преданность в беде.

«Мужская честь» каждого аргентинца, благодаря которой он так часто принимает как вызов дружескую критику или упрек, для страны в целом обратилась в излишне щепетильную защиту национального единства и страх перед любым иностранным вмешательством, независимо от его целей. Перон, будучи не столько государственным деятелем, сколько хитрым политиком, использовал подобные настроения в полной мере. В то время послом США в Аргентине был Спруилл Браден, решительно обличавший проникновение в страну нацистского влияния и идеологии; Перон же по-прежнему близко общался с немцами – приверженцами фашистского режима, его личным секретарем во время предвыборной кампании был приятный молодой немец Рудольф Фрейд, сын лидера нацистской партии Аргентины, фанатично преданного Гитлеру. Неудивительно, что Перон возненавидел Брадена и даже грозил лично расправиться с ним. Правда и то, что подобные обличения, снискавшие послу дружбу многих демократически настроенных аргентинцев, оттолкнули от него других, тех, кто самолично критиковал режим, но из гордости не желал терпеть критики от иностранца, а равно как и тех, для кого принципиальность Брадена была начисто перечеркнута конформизмом назначенных после него послов. Перон сколотил себе политический капитал на недовольстве многих жителей провинций вмешательством Брадена в аргентинские дела; борьба с Браденом стала главной темой его предвыборной кампании – Перон воплощал собой все то, что было criollo, то есть душой страны, а Браден представлял в этом спектакле зловещие силы империализма. «Перону – да! Брадену – нет!» – повсеместно провозглашала пропаганда, словно кандидат

от оппозиции – Тамборини – был только марионеткой Соединенных Штатов.

Оппозиция практически не имела возможности опровергать столь яростную клевету. Почти вся пресса и радиостанции находились под контролем Перона. Как только Перон был восстановлен на своем посту, Эва вновь вернулась на радио «Белграно», а Джэйк Янкелевич с радостью принял ее обратно, вдвое увеличив ее гонорар и тем самым сохранив место номинального владельца станции. Очень скоро Эва купила радио «Белграно», но оставила Янкелевича на должности директора – тот во всем следовал ее указаниям. Перон, формально соблюдая законность, предоставил оппозиции видимость свободы: им разрешалось проводить митинги, которые чаще всего разгоняла полиция; позволялось издавать газеты, которые закрывались навсегда за первое малейшее нарушение; им предоставили минимальное количество времени на радио, но все их передачи проходили строгую цензуру еще до выхода в эфир. В стране с такой обширной территорией, где чтение газет считалось прерогативой богатых помещиков или горожан, радиопропаганда имела самое широкое поле для деятельности и была невероятно действенной. Люди, которые прежде голосовали так, как приказывал им patron, и отдавали свои голоса за несколько монет или выпивку, не имея никакого представления о том, что может предложить им тот или иной кандидат, теперь могли голосовать сами, поскольку так говорило радио. Оно же подсказывало, за кого голосовать.

Существовало еще одно средство, с помощью которого можно было донести пропагандистские лозунги в самые бедные и отдаленные от столицы провинции, – приходские священники. Аргентина практически на сто процентов католическая страна; с властью и влиянием церкви могут соперничать здесь лишь армия и Генеральная конфедерация трудящихся; более того, это влияние неподвластно никакой внешней силе, и никто из набожных аргентинцев при всем желании не сочтет его за иностранное. Церковь была силой, которую ни Перон, ни Эва не осмеливались игнорировать. Эва относилась к церкви скорее как враждебно, но уважительно настроенный оппонент, нежели как преданная дочь, и временами позволяла проявиться этому антагонизму, хотя всякий раз находила возможность должным образом загладить свой промах. Она не имела возможности пренебречь церковью или обойти ее, как это было с военными, еще менее годились взятки и обман, с успехом примененные в общении с профсоюзами. С кардиналом Копелло – человеком вполне светским и отнюдь не похожим на святого – ей

приходилось держаться с осмотрительностью, столь несвойственной ее натуре.

Аргентинское духовенство разделилось в своем отношении к Перону. Среди них нашлись такие люди, как епископ Мигель де Андреас и мужественный приходский священник отец Данфи, которые с самого начала с недоверием отнеслись к новому режиму, а когда их мрачные предчувствия получили достаточное подтверждение, стали в проповедях отстаивать права человека так, что только глухой не понял бы, о чем идет речь. Епископ подчинялся непосредственно Папе и являлся лицом неприкосновенным. Отец Данфи, фигура менее значительная и более уязвимая, был неожиданно отстранен от своих обязанностей по распоряжению кардинала и, поскольку ему не дали возможности защищаться, в знак протеста отказался от своего сана и пошел работать чернорабочим на фабрику. Но большая часть духовенства, начиная с разумного Копелло, с готовностью поддержала кампанию Перона; без сомнения, многие были искренне убеждены, что он облегчит жизнь их придавленных нищетой прихожан. К этому же их поощрял (если только не прямыми указаниями) сам кардинал, поскольку он предписал своей конгрегации не голосовать за партии, которые отвергают обязательное религиозное обучение в рамках общеобразовательных школ или грозят узаконить развод. Оппозиция, которая пыталась составить некую коалицию, известную как Демократический союз, состояла, можно сказать, из одних грешников, поскольку социалисты ратовали за развод и вместе с радикалами выступали против обязательного религиозного обучения в школах (они совершили ошибку, больше борясь против этих уроков, нежели за частные школы). У преданных последователей кардинала просто не осталось другого выбора, как только голосовать за Перона, который сделал религиозное развитие школьников частью своей политической платформы, верно рассудив, что тем самым умаслит многих приходских священников, обещая им большую власть; а менее совестливое духовенство провозглашало с кафедр политические лозунги безо всяких упреков (во всяком случае, публичных) со стороны главы церкви.

В Белграно, фешенебельном пригороде к северу от Буэнос-Айреса, отец Филиппо так хорошо использовал свою кафедру для предвыборной агитации, что его добрые прихожанки, пришедшие на мессу, с первыми же его словами поднялись и покинули церковь. Пока он проповедовал, они принялись громко молиться за дверью о том, чтобы Господь наконец просветил его разум, хотя он несколько раз отправлял своего помощника «заткнуть

этих женщин» и даже вызвал полицию. Некоторых из этих достойных леди забрали в участок, но одна из них оказалась на сносях, а поскольку она отказывалась покинуть участок до тех пор, пока не освободят всех, местной полиции, всегда проявляющей большую сговорчивость, если речь идет о здоровье или церкви, пришлось отпустить их домой. Женщины не пострадали, разве что наслушались оскорблений и телефонных звонков с угрозами от местных перонистов да получили нагоняй от своих более осмотрительных родственников. Отец Филиппо стал членом кабинета депутатов – что соответствует британской палате представителей.

Примерно в пятидесяти милях к западу от Буэнос-Айреса расположена базилика Лухана: там, по легенде, фургоны колониального времени увязли в болоте и их смогли вытащить только после того, как было дано обещание возвести на этом месте церковь. Теперь маленькую глинобитную церковку, служившую меккой для первых паломников, заменил до безобразия аляповатый собор, на стенах которого развешаны тысячи протезов и ужасных муляжей человеческих органов, об исцелении которых просят богомольцы, а также специально подобранные мелодраматические фотографии детишек под колесами поезда и объятых пламенем домов, а под ними слезливые молитвы в стихах с благодарностью за спасение и пощаду. Во время предвыборной поездки чета Перон остановилась в Лухане, где ее встретил монсеньор Серафини и сопроводил к базилике, пока заполнившие улицы толпы кричали: «Перон! Кихано! Перон! Кихано!» Имя Эвиты еще не превратилось в боевой клич. Монсеньор произнес с кафедры пылкую политическую речь и провозгласил благословение Церкви кандидату. Проповедь закончилась общим пением. Песня была сочинена специально для предвыборной кампании: «Мой хороший, ты получишь кое-что, с буквы «П» начинается оно – Перон!»

Во время всех этих мероприятий Эва чувствовала себя как рыба в воде. Она начала приручать пероновских «людей без пиджаков», как стали называть рабочих с 17 октября, когда она увидела практическое подтверждение их чрезвычайной полезности. Поскольку Перон всячески способствовал повышению их заработной платы, она взлетела на волне его популярности. Но популярность Эвы не была полностью вторичной.

Вопреки советам людей, полагавших, что разбираются в психологии толпы, она объехала всю страну в специальном предвыборном поезде Перона, одетая в свои самые роскошные

наряды. Так много лет прошло, прежде чем она смогла позволить себе все эти одежды и украшения, и с ее стороны это было не столько осмысленное решение, сколько нежелание даже на время распрощаться с удовольствием щеголять в них. Но что бы ни стояло за этим первоначально, у нее хватило сообразительности, чтобы заметить, что прием срабатывает, и ее украшения, ее медные волосы, уложенные в высокую прическу, ее победная усмешка без устали сияли под жарким декабрьским солнцем, когда она высовывалась из окна, чтобы бросать пакеты с подарками и банкноты по одному песо смиренным провинциалам, собиравшимся у железной дороги.

Для служанок и скромных домохозяек из всех тех маленьких городишек, которые они проезжали, Эва в богатых и разнообразных нарядах, сопровождаемая целой кучей людей в форме, которые лебезили перед ней, с симпатичным мужем, который улыбался, стоило ему бросить на нее взгляд, была воплощением мечты о Золушке, которая жила в душе каждой из них. Они стали называть ее «Эвита», или «товарищ Эвита», как она начала называть себя сама, напоминая им о том, что она – одна из них, и казалось, она обещает вот-вот поделиться с ними своей привлекательностью и богатством.

В более отдаленных районах – а большая часть территории Аргентины все еще остается «отдаленными районами» – женщины-крестьянки усталыми группками тащились по пыльным дорогам, чтобы увидеть проходящий мимо поезд. Для этих простых женщин, которые, наверное, даже кино никогда не видели, радио слушали редко и ни разу в жизни не ступили на ковер и не коснулись ногой ступенек лестницы и которые за всю свою трудовую жизнь не встречали такой молодой и красивой женщины, да еще так хорошо одетой, – для них Эва была даже больше, чем Золушка. В их унылой жизни присутствовал лишь один образ, с которым Эва могла иметь отдаленное сходство, и потому они верили чудесным бумажкам достоинством в одно песо так же, как верили в то, что наступает новая жизнь, и поклонялись золотым волосам и сияющей улыбке, как поклонялись скромному изображению девы Марии в глинобитной приходской церковке.

В пакетах, которые раздавала Эва, лежал хлеб с изюмом, конфеты и бутылки сидра, а также открытка с изображением двух улыбающихся лиц и подписью, что это – подарок от Перона и Эвиты, которые желают своим возлюбленным «людям без пиджаков» счастливого Рождества и Нового года. Она хвастала потом, что раздача подобных подарков, содержащих сидр, хлеб с изюмом и открытку, стала рождественской традицией и

распространилась по всей стране. Каждый год миллионы людей получали такие пакеты – если так, то эта трата, должно быть, занимала не последнюю строчку в списке рождественских расходов.

Через месяц после окончания предвыборной кампании один приходский священник с севера страны, чересчур загруженный делами и слишком порядочный, чтобы думать о политике, попытался выхлопотать пенсию по старости для одной дряхлой старушки, жившей одиноко в компании с собаками, свиньей и петухом в жалкой лачуге. Священник спросил старуху, впрочем не особенно надеясь на положительный ответ, нет ли у нее каких-нибудь документов, подтверждающих ее возраст. С детской готовностью и восторгом она подала ему карточку от Перона и Эвиты. Она не могла прочесть, что на ней написано, но хранила ее как величайшую ценность на всякий случай, и, когда протянула ее священнику, лицо ее выражало искреннюю уверенность в том, что этого документа вполне достаточно.

Предвыборное турне триумфально катилось через всю страну; толпы, выстроившиеся вдоль дороги и заполнившие железнодорожные станции, в большинстве своем состояли из людей чрезвычайно бедных и очень молодых, и таким Эва и Перон, казалось, обещали больше всего – не только реальность, но и мечты. На протяжении четырехчасового перегона между Буэнос-Айресом и Росарио девочки-подростки бежали за ними по шпалам. Всадники пампасов в развевающихся белых bombachas, с сыромятными уздечками, звенящими серебром, вонзали шпоры в бока своих лошадей и с ковбойскими криками мчались наравне с поездом, поднимая в воздух клубы пыли и тучи саранчи. В тот год саранча обрушилась на страну – в народе считалось, что такое происходит раз в семь лет, – насекомые покрывали дороги слоем толщиной в несколько сантиметров и липли к ботинкам и к одежде, так что практически невозможно отогнать их или избавиться от зловония. Но ни зной, ни пыль, ни саранча не могли удержать людей, которые собирались на станциях; деревенские парни проталкивались вперед, чтобы пожать руку кандидату, женщины падали в обморок, и лошади кидались в стороны и получали плетью по бокам, и время от времени Перону и его свите приходилось защищать себя и Эву с кулаками.

Женщина, выросшая в более тепличных условиях, давно бы уже лишилась чувств от жары и давки или от тех непристойностей, которые неслись им навстречу в качестве приветствий, но Эву все это – пыль, толпы, зной, шум и грубая лесть – пьянило, как шампанское.

Только один инцидент напомнил победителям о возможных

врагах. В один прекрасный момент обнаружилось, что ось колеса у их вагона сломалась надвое. Опасаясь засады, телохранители Перона выбежали наружу с винтовками в руках. Но, чего бы ни добивались злоумышленники, ничего больше не произошло.

Между тем Тамборини, кандидат от оппозиции, произносил свои речи под аккомпанемент револьверных выстрелов. В то время как штаб-квартира Перона хорошо охранялась, митинги Демократического союза исправно разгоняла полиция, которая, как утверждалось, в целях самообороны открывала огонь по собравшимся или же атаковала их саблями наголо. Когда Тамборини со своей командой отправились в поездку, его поезд постоянно задерживали, в окна летели камни, а в багажном отделении случился пожар, уничтоживший огромное количество предвыборных плакатов и брошюр. Тамборини утверждал, что полиция лично направляла громил на место происшествия и спокойно стояла рядом, пока шла драка. После его возвращения в Буэнос-Айрес толпа, собравшаяся на Пласа Онс, чтобы приветствовать его, была обстреляна полицейскими, которые позже признали, что сделали это, выполняя приказ. Трое молодых людей погибли, многие другие ранены. Единственная их провинность заключалась в том, что они хотели осуществления своих гражданских прав и обязанностей.

И все же среди противников Перона до самого дня выборов царил не вполне оправданный оптимизм – похоже, они были так же мало способны взглянуть в лицо реальности, как выступить единым фронтом. Радикальная партия вновь раскололась при создании Демократического союза: одна из фракций наотрез отказалась объединить свои силы с прогрессивными демократами, социалистами и коммунистами, несмотря на то, что и Тамборини, и его помощник Моска сами были радикалами и представляли наиболее консервативную часть партии. Получалось, что они не собирались голосовать за своих кандидатов, если за них проголосуют социалисты или коммунисты. И вновь их неспособность объединиться – другая сторона той же самой «мужской чести» – привела их к предательству интересов своей страны. Остается лишь удивляться, что, несмотря на такую «помощь» оппозиции, Перон победил лишь с небольшим перевесом. Он набрал около пятидесяти пяти процентов голосов.

Военные обещали законное и честное голосование, и с виду оно так и было. Перон избрал тактику, противоположную тактике своих предшественников, которые в течение предвыборной кампании вели дела более или менее справедливо, но

принимались запугивать или подкупать голосующих или жонглировали урнами непосредственно во время выборов. В день, когда Перона избрали президентом, город выглядел мирным, словно кладбище.

Те месяцы, пока Перон ожидал президентского кресла, не были потрачены даром. Он убедил услужливого Фаррела издать ряд декретов, которые значительно расширяли полномочия исполнительной власти. Был учрежден Центральный банк, осуществлявший контроль над всеми внутренними и международными обменными операциями. Возглавлял его Мигель Миранда, который когда-то наставлял Эву на пути нелегального бизнеса. Едва успевший подняться по этому поводу шум замолк, Фаррел объявил «поднадзорными» шесть университетов и назначил для контроля за ними специального правительственного «инспектора». Эти действия опирались на новоиспеченный закон, согласно которому федеральное правительство имело право взять под надзор правительственные органы любой из провинций и любое государственное учреждение по обвинению в коррупции. На пост «инспектора» университетов назначили колоритного доктора Оскара Иванисевича, одного из любимчиков Эвы, который, как и многие из ее любимчиков, позже был предан забвению. Университеты являлись гнездами оппозиции, оплотом противников военного режима и лично Перона, а доктор Иванисевич, похоже, весьма подходил на роль душителя академической независимости, поскольку, получив пост министра образования, провозгласил по радио, что готов изо всех своих сил бороться против «паразитического интеллектуализма».

4 июля 1946 года, через три года после того, как Кастильо был смещен с поста в результате интриг ГОУ, Перон Всемогущим Богом поклялся повиноваться конституции своей страны.

Церемония принятия присяги проходила в Белом зале в Каса Росада. Гренадеры в шапках с киверами, в форме, вызывающей воспоминание о солдатах Наполеона, стояли вдоль стен плечом к плечу. Перон был в кителе бригадного генерала, богато расшитом золотой тесьмой и украшенном тяжелыми сияющими эполетами. Комнату заполняли люди в красных и голубых мундирах, дипломаты в смокингах; рясы духовных лиц отливали алым и темно-лиловым на фоне мерцающих шелков и сверкающих драгоценностей дам из числа богатой аристократии. Президент Фаррел передал свой жезл Перону, и двое мужчин обнялись; по щекам Фаррела катились слезы. Эва стояла рядом – с торжествующей улыбкой и тоже со слезами на глазах, готовыми в любой момент хлынуть через край. Какие чувства переполняли в

тот миг ее сердце, известно одним лишь небесам.

Глава 7

С кровью или без крови, но раса олигархов, эксплуататоров человека, без сомнения, в этом веке должна умереть…

Э.П.

Со стороны могло показаться, что Эва достигла предела своих желаний: она стала первой леди страны. Но мания величия, овладевшая человеком, подстрекает его двигаться все дальше и дальше и никакая власть и никакое могущество не могут утолить ее. Как тот моряк, который пытался выпить море, Эва была охвачена жаждой, которая, не утихая, лишь разгоралась с каждым глотком и которая, если бы смерть не настигла Эву раньше, привела бы ее к безумию.

Некие факты, подмеченные внимательными свидетелями, впрочем, говорят за то, что, будь Эва тогда принята аргентинской аристократией (теми самыми земельными олигархами, которые числились среди ее злейших врагов), она воздержалась бы от любых дальнейших притязаний на власть; но, как указывают те же свидетели, это не представлялось возможным – не столько из-за ее сомнительного прошлого, сколько из-за беспорядочного настоящего.

Практически невероятно, чтобы ее когда-либо приняли как равную в кругу привилегированных матрон общества porteno. Традиция устанавливала почти непреодолимый барьер между женой и любовницей, и мужчина, оказавшийся столь неблагоразумным, чтобы жениться на своей подружке, не мог рассчитывать на то, что его друзья отнесутся к ней благосклонно. Если бы Эва держалась достаточно кротко и незаметно и если бы ее прошлая жизнь была менее красочной, они могли бы протянуть ей руку теперь, когда она стала их патронессой, женой президента страны. Но даже в этом случае они ни на мгновение не забыли бы и не позволили бы забыть ей о разнице в происхождении.

Эва же не выказала ни малейшего желания примириться с обществом; предпринимаемые ею шаги, если их можно счесть таковыми, были направлены скорее на то, чтобы унизить свое окружение, нежели на то, чтобы наладить с ним отношения. Едва переехав в резиденцию президента, она устроила прием для жен правительственных чиновников, и все гостиные portenos

жужжали, как пчелиные ульи, поскольку она принимала гостей стоя на возвышении, и, после того как они в полной тишине гуськом прошли перед ней, она, как говорят, крикнула охрану и велела выставить женщин вон. Нет сомнения, ее манеры оставляли желать лучшего, так же как и ее язык. Но она могла быть любезна, когда хотела, что доказывает ее поведение двумя годами позже: Эва наносила частые визиты жене американского посла, миссис Брюс, где очаровывала гостей этой дамы своей очевидной искренностью и простотой. К тому времени она уже приобрела определенный лоск; но ни тогда, ни после нельзя было сказать, чтобы она чувствовала себя по-настоящему свободно в обществе леди portenas. Ей требовалась власть, но трудно понять, добивалась ли она ее потому, что хотела что-то доказать, или просто из страха перед окружающими; она всегда демонстрировала другим, что ее амбиции выходят далеко за рамки того, что может предложить ей общество. Даже если бы аргентинская элита и приняла ее, Эва наверняка воспользовалась бы своим положением для того, чтобы унижать их, поскольку ее неприятие уходило корнями в обиды юных лет – это вскоре стало ясно из того, как она осуществляла свою месть.

Так или иначе, не могло и речи идти о том, что аристократы примут Эву в свой круг или что она позволит им сделать это. Антагонизм между ними был чересчур силен и слишком примитивен, многовековой антагонизм между племенем и чужаком, ненависть, замешанная на страхе. Против Эвы выступили грозные силы – все эти достойные леди с безупречной репутацией, дочери огромных и богатых семей. Они ожидали, что она на коленях станет выпрашивать их благосклонность, а она встретила их с хлыстом в руках. Они использовали против нее отточенное оружие благовоспитанного общества; она боролась с ними гангстерскими методами. Они хихикали и шептались, когда она появлялась в опере без перчаток или на банкете усаживалась рядом с кардиналом в платье с оголенным плечом, – она же экспроприировала их богатства и отправляла их в тюрьмы к проституткам; они обсуждали очередной скандал в своих гостиных – она клеймила их на первых страницах своих газет.

И хотя они клялись, что не одобряют лишь ее вмешательство в политику и те беззакония, которые связывают с ее именем, глубинная суть их неприятия всплывала, едва темой обсуждения становилась ее сексуальная жизнь. Сплетни приписывали ей в деталях такую похотливость, какой не могла испытать на опыте, ни даже представить себе, ни вообще выдержать ни одна, пусть даже и самая выносливая женщина.

Оружие, которое portenos используют против своих в самую

последнюю очередь, сразу и без малейших колебаний пускалось в ход против женщины, становившейся чересчур известной.

В качестве первой леди Эва имела все основания полагать, что сеньорам portenas придется принять ее как факт, нравится им это или нет.

Последние восемь лет в Буэнос-Айресе существовала весьма богатая и почтенная благотворительная организация – Общество благодетельных леди, которым руководили старейшие дамы аргентинского света – под попечительством церкви и с помощью государственных грантов. Она совершила немало добрых дел, несмотря на то, что творились они в неторопливой, я бы сказала, феодальной манере, и с большей заботой о душах достойных, творящих добрые дела леди, нежели о телах тех, кто получал благотворительную помощь. Любая попытка нововведений была равноценна скандалу и вызывала стойкое сопротивление.

По традиции, жена президента становилась почетным председателем Общества благодетельниц.

И когда Перон принес присягу, почтенные леди оказались перед дилеммой. Они не могли пригласить «эту женщину» стать главой их общества. Это означало, что они введут ее в свой круг, тогда как на самом деле ей подобало скорее не проявлять милосердие, а принимать его! Их это никак не устраивало, и потому достойные леди затаились.

Но Эва была не из тех, кто позволит с такой легкостью обойти себя. Она послала своих людей поинтересоваться, почему эти любезные дамы не являются, чтобы предложить ей пост председательницы. Леди с неизменным достоинством отвечали, что она – какая жалость! – слишком молода, а их организацию непременно должна возглавлять зрелая женщина.

Эва тут же предложила сделать председательницей ее мать, донью Хуану, – поступок, который любого убедит, что у этой женщины было чувство юмора.

Подобное предложение негодующие леди отклонили со всей твердостью, и даже тактичный и порядком встревоженный кардинал Копелло, к которому обратилась Эва, не смог заставить их переменить мнение. Возможно, что именно с идеей очаровать кардинала и склонить его к сотрудничеству Эва и обнажила перед ним свое прекрасное плечо, поскольку, кажется, именно тогда она заручилась его сочувствием и поддержкой.

Стойкий отпор имел последствия, которых эти уважаемые леди, столь долгое время занимавшие неприступную позицию, даже не могли предвидеть. Эва задумала уничтожить и их самих, и их общество и в ярости разрушения разработала план своей

собственной благотворительной организации, самой действенной и фантастической из организаций социального вспомоществования – Фонд Эвы Перон.

Леди из общества porteno оказались беззащитными перед такой неразборчивостью и наглостью и дали выход своему возмущению в том, что принялись с еще большей горечью чернить Эву. Мстительные сплетни в основном можно отнести за счет того, что Эва представляла «тех самых женщин», которые присутствовали в их жизни и браке, которых терпели лишь до тех пор, пока они оставались в тени. Эва была хорошо осведомлена обо всех сплетнях, крутившихся вокруг ее имени: сюда входили не только сплетни из гостиных, но и клеветнические шуточки и непристойные стишки, нацарапанные на стенах баров и кафе, – поскольку она заставила полицию обойти все заведения и в каждом случае штрафовать незадачливых владельцев. Она знала, что возбуждает злобу и зависть, и это только добавляло ей сил ненавидеть и лелеять эту ненависть в себе – до часа своего отмщения.

Та роль, которую Эва играла во время предвыборной кампании и которую продолжала еще некоторое время исполнять на публике, показывала, что она не собирается играть вторую скрипку ни для кого, даже для Перона, – еще одно подтверждение того, как глубоко Эва понимала мужчин, в частности аргентинских мужчин. Она избрала образ преданной жены, подчиняющейся своему мужу; говорила о себе как о «самой смиренной из трудящихся женщин» и заявляла о своей «вере, покорности и благоговении перед его идеалами». Трудно было найти кого-либо столь же покорного и благоговеющего!

«Я, – провозглашала она, – всего лишь самая скромная из сотрудников этого изумительного идеалиста, генерала Перона; я – не более чем женщина, которая работает и пытается помогать выдающемуся патриоту, который олицетворяет собой великое будущее нашей нации…»

Эва исполняла эту роль с такой энергией и энтузиазмом, что трудно поверить, чтобы она делала это без тени искренности. Возможно, в ее отношении к Перону действительно присутствовало некое чувство товарищества; но нет сомнений, если бы его карьера стала для нее скорее препятствием, чем подмогой, она бы, ни секунды не раздумывая, отреклась от него. Эва достигла самого высокого положения, доступного женщине в Аргентине, но добилась этого и удерживала позиции лишь благодаря успехам своего мужа. Какие бы амбиции она ни вынашивала, она не могла позволить себе обнаружить их даже и намеком – без риска лишиться и того, что имела. Наверное, она

не говорила о своих желаниях и самому Перону. В обществе, созданном мужчинами, женщина не допускалась к власти, и ей приходилось работать под прикрытием собственного мужа и делать вид, что она трудится лишь ради достижения его целей. Но, поскольку ее власть возрастала пропорционально его власти, ей было не так уж трудно изображать нерушимую преданность.

Однако более чем возможно, что, пользуясь своим драматическим талантом, она вполне убедила себя в собственной искренности, поскольку мастерство актера основано на умении убеждать самого себя. Эва исполняла любую роль с величайшей самоотверженностью, самозабвенно, с полной неспособностью взглянуть на себя со стороны. Своим успехом она во многом обязана этому недостатку критичности; она никогда не боялась показаться смешной, не замечала своих недостатков и потому не сомневалась, что может сыграть все, что захочет. Каждую роль она играла с полной самоотдачей и умела быть чрезвычайно убедительной, изображая девочку-хозяйку, которая старательно выводит адрес президентской резиденции, чтобы ее гостья, жена посла, не забывала писать ей, и в том, как в изумлении касалась кончика носа – этакий мальчишеский жест, – допуская ошибку, или бежала вверх по лестнице с отрезом шелка, который принесла в подарок своей подруге. И столь же достоверно она выглядела в роли молодой деловой женщины, спешащей на собрание – банкиров ли, репортеров или представителей профсоюзов, – в сопровождении толпы секретарей, которым она покрикивает: «Вперед, мальчики! Торопитесь, быстрее, быстрее!» Или же в роли заботливой жены, укутывающей пледом плечи своего знаменитого мужа, на двадцать лет старше ее, чтобы его не продуло на сквозняке.

Выбор образа целиком и полностью зависел от аудитории, но каждый образ вбирал в себя всю ее личность. Даже там, где она переигрывала и разоблачала свою неискренность, Эва, вполне возможно, не была абсолютно и сознательно нечестной. Практически в каждой публичной речи, а в те дни она говорила всегда и везде, где только предоставлялся случай, она давала врагам очередной повод насмехаться над ее мелодрамами.

«Потому что я тоже, – визжала она почти в истерике, – как наши товарищи-рабочие, способна умереть и в последнее мгновение жизни прокричать наш боевой клич, клич спасения: «Моя жизнь – за Перона!»

«Вступая в партию, – кричала она с надломом в хриплом голосе, – я готова отдать все, потому что в нашей стране есть бедные и несчастные, больные и лишенные надежды. Моя душа это знает. Мое тело это чувствует. Я вкладываю свою душу в душу

моей страны. Я отдаю всю энергию своего тела, чтобы она, как мост, протянулась ко всеобщему счастью. Мы пройдем по нему твердой поступью, с высоко поднятыми головами – к высшей судьбе нашей новой родины. Ни усталость, ни торопливость, ни жертвы не имеют значения, когда вы пытаетесь положить конец усталости и страданиям, которые сковывают жизненные силы народа».

У образованных людей эта излишняя эмоциональность вызывала тошноту, а экстравагантность выражений Эвы казалась им такой же нелепой, как мелодрама эпохи немого кино. Но ее речи предназначались не для их ушей, а люди простые и невежественные с большей готовностью верили всем этим абстрактным лозунгам и обещаниям, произносимым голосом, исполненным страсти, нежели тем, что говорились сдержанным, не столь уверенным тоном. Это была мелодрама, которая трогала сердце и самой Эвы, и она могла использовать ее без зазрения совести, ведь даже если она превосходила всех юных продавщиц и провинциальных матрон, которые слушали ее речи, умом, жесткостью, целеустремленностью и опытом, по уровню духовного развития она ничем от них не отличалась.

Несмотря на то, что Эва умела скрывать свои истинные мотивы и от аудитории, и от себя самой, они становились достаточно ясны, стоило только взглянуть на ее неумолимое продвижение вперед, к своим целям. Ее выдавали собственные маневры, постоянные старания определить своих родственников на ключевые посты в правительстве, чтобы держать в руках источник мужней власти. Таким образом она укрепляла не его, но свои позиции.

Она уже умудрилась добиться назначения на пост директора почт и телеграфа приятеля своей матери Никколини и таким образом фактически взять под контроль все средства коммуникации. Как только Фаррел передал свой офис в Каса Росада Перону, Эва настояла на том, чтобы муж принял на должность секретаря ее единственного брата Хуансито – прежний секретарь, юный Фрейд, возглавил Президентский отдел расследований, личную шпионскую сеть Перона. Хуансито, до того как занять свой высокий пост, торговал мылом в Хунине и в маленьком городишке Лотарио. Эвита использовала все свое влияние, чтобы сделать приятеля старшей сестры, майора Альфредо Арието, сенатором провинции Буэнос-Айрес; ее вторая сестра, Бланка, была замужем за юристом, доктором Родригесом (в Аргентине этим титулом наделяют каждого, кто имеет степень, будь то медицина, право или философия), и Эва добилась того, чтобы он стал губернатором той же провинции, а позже вошел в

состав Верховного суда. В политических вопросах провинция Буэнос-Айрес, в которой проживала примерно третья часть населения страны, имела больше веса, чем остальные тринадцать провинций, вместе взятые. Муж третьей сестры, некто Орландо Бертолини, работавший лифтером, был возведен в ранг директора таможен. Таким образом, благодаря своим родственникам Эва установила прямой контроль над радио, почтой, телеграфом и политикой провинциальных властей, заимела верных союзников в сенате, а позже и в Верховном суде и получила возможность следить за ежедневным графиком президента. Устраивая своих родственников на все эти должности, она руководствовалась отнюдь не их потенциальными талантами или своими родственными чувствами, исключая разве случай с Хуансито, но тем фактом, что их положение целиком и полностью зависит от нее и потому их эгоизм будет гарантией их лояльности.

С самых первых дней вступления в политику Перон использовал все возможные гангстерские методы, чтобы прибрать к рукам прессу. Он говорил, что сильное государство должно иметь обширную сеть собственных газет и одновременно ослаблять оппозиционные издания. К тому времени как Перон получил президентский пост, эта задача была практически решена: урезав дотации на газетную полиграфию, вводя все новые ограничения, подстрекая рабочих к забастовкам и все чаще используя насильственные меры, он сумел подкупить, загнать в подполье или связать по рукам и ногам почти все оппозиционные газеты. В 1945 году солдаты, якобы пребывающие в увольнении, устроили драку перед редакцией газеты «Критика». Потасовка быстро приняла размах уличной баталии, в которой участвовали чуть не пять тысяч человек, к которым присоединились сотня полицейских и четыре бронированных автомобиля, и редакционная сирена, которая обычно использовалась, когда требовалось сообщить о каком-нибудь потрясшем мир событии, посылала в небо свой печальный сигнал. Издателю пришлось бежать в Монтевидео, а владелица газеты, вдова, тут же продала ее Перону. «Вангуардиа» – газета социалистов и, возможно, самое демократическое издание в стране, – в конечном итоге была вынуждена уйти в подполье – после бесконечных штрафов, судебных процессов и закрытий (в последний раз ее типография была закрыта под тем предлогом, что разгрузка тиража мешает движению). Две англоязычные газеты могли выжить только потому, что жестко придерживались нейтралитета по отношению к внутренним делам; они редко высказывали собственное мнение,

а рассказывая о Пероне, вовсю цитировали панегирики из перонистской прессы; их передовицы печатались одновременно на испанском и на английском. В Буэнос-Айресе лишь две газеты сохранили независимость: «Пренса» и «Насьон» – те были солидными рупорами олигархии и продолжали представлять события с достоинством и объективностью. «Пренса» занимала открыто антиперонистскую позицию и в конце концов подверглась преследованиям, которые кончились экспроприацией в 1951 году. «Насьон» продолжала существовать с риском для жизни; расценки на полиграфию для этого органа были так завышены, что тем, кто не являлся ее подписчиком, приходилось вдвое переплачивать за номер на черном рынке, тогда как газеты, субсидируемые правительством, порою превращались в тонны макулатуры и каждый день пополняли запасы старьевщиков. В 1947 году Эва приобрела газету «Демократия», которая с тех пор стала рупором правительства и наиболее заметным из утренних изданий. Вместе с друзьями – Альберто Додеро, полковником Мерканте, Хосе Эспейо и майором Алое – Эва создала Ассоциацию издателей Аргентины, где она была главным авторитетом, с целью установить монополию в прессе. Они приобрели за полтора миллиона долларов издательство «Нотисиас графикас», а позже – «Хейнс эдиторьяль», которое издавало наиболее известные бульварные газеты, и «Мундо», а также наложили руку на одноименную радиосеть.

Примерно в это время Эва наконец приобрела или взяла под свое негласное руководство четыре главные радиостанции Буэнос-Айреса (а по информации Общеамериканского радиовещательного конгресса 1948 года, радиостанции страны находились под контролем правительства) и таким образом распространила власть практически на все средства массовой информации. И снова она выдала себя, поскольку принялась создавать себе куда более громкое паблисити, нежели Перону. Ее фотографии заполняли целые страницы в «Демократия», и в одном только коротком выпуске кинохроники ее изображение появлялось по три-четыре раза. К мощному оружию, каким являлись для нее газеты и радио, прибавились профсоюзы, управление которыми она отобрала у Перона, и два новых орудия собственного изготовления: Перонистская женская партия, обещавшая новое поступление голосов, и фантастические ресурсы Фонда Эвы Перон. Перону она оставила армию, которая (исключая, разумеется, отдельные случаи) никогда не выражала желания плясать под ее дудку и была безраздельно предана только ему.

Может показаться странным, что Перон так легко позволял ей

вмешиваться в дела страны, однако следует помнить о той роли, которую она сыграла совсем недавно в октябрьском кризисе, – Перон получил свой пост во многом благодаря ей, а она была не из тех, кто дал бы ему уклониться от оплаты подобного долга. Более того, пробивая себе путь в правительство через армию посредством ударов и контрударов, Перон лучше других знал, как мало у него поводов полагаться на своих товарищей-офицеров. Эва была единственным человеком, которому Перон мог доверять, и, даже если его увлеченность ею стала потихоньку слабеть, хотя никаких явных признаков этого не наблюдалось, он знал, что она не изменит ему до тех пор, пока ее карьера связана с его собственной, а с момента заключения брака разорвать их узы могла лишь смерть одного из них. Перон не делал ничего, чтобы охладить пыл Эвы, более того, он частенько отсылал к ней профсоюзных делегатов, которые являлись к нему за поддержкой, и настаивал на том, чтобы всякий сановник относился к ней с тем же уважением, что и к нему самому. Может быть, какое-то неясное ощущение собственной униженности, присутствовавшее в его личных взаимоотношениях с женой, заставляло его находить удовлетворение в том, чтобы принуждать сенаторов, депутатов и губернаторов провинций пресмыкаться перед ней. Конечно же он ничуть не испытывал смущения за свой необычный брак. Он со всей очевидностью гордился Эвой, порой с оттенком викторианского самодовольства, словно бы он считал себя «головой», а ее – «шеей». Он был достаточно проницателен, чтобы понимать, насколько Эва полезна ему, но похоже, закрывал глаза на то, с какой скоростью распространяется ее все возрастающее влияние. Он не был совершенно свободен от национальной убежденности в превосходстве мужчины над женщиной, а осознание того, что она использует его, нанесло бы слишком болезненный удар его мужскому самолюбию.

Окончательным доказательством его доверия Эве стало то, что свой пост в Секретариате труда и социального обеспечения он как бы отдал ей. Вспомним, что Перон сам сделал его ключевым постом в правительстве. Официально руководителем секретариата стал Хосе Мария Фрейре, и, возможно, сама Эва предложила его кандидатуру – Фрейре во всем ее слушался, а, имея кабинет в том же здании, ей не составляло труда приглядывать за ним. В своей книге Эва с ангельской серьезностью утверждает, что она предпочла перенести свой кабинет в Секретариат труда и социального обеспечения, чтобы постоянно близко соприкасаться с проблемами бедных. Этот кабинет ей выделили под мнимым предлогом: якобы для того, чтобы заниматься социальными пособиями; она не заняла и

никогда не занимала никакой официальной должности и не расписывалась в платежной ведомости, но на деле получила пост министра труда и сохранила его за собой до конца. Это – превосходный пример того, как Эва сумела постепенно завоевать главенствующую позицию в стране, где женщины даже не имели права голоса и ни в коей мере не могли претендовать на то, чтобы пробиться в эшелоны власти.

Так начался самый яркий период в жизни Эвы, хотя это не было временем ее наибольшего могущества или зловещей славы. Она, разумеется, отказалась от театральной карьеры, но еженедельно выходила в эфир с задушевными беседами о правах и обязанностях гражданина, подготавливая почву для создания Перонистской женской партии, которую она вскоре и учредила. И хотя народ знал ее как Эвиту, услужливая пресса упоминала о ней со всеми звучными формальностями как о донье Марии Эве Дуарте де Перон (в Аргентине замужние женщины продолжают пользоваться своей девичьей фамилией). И только позже она стала просто Эвой Перон. Внешне она казалась ярчайшим воплощением дамы полусвета; она распространяла вокруг себя аромат сладострастия, который исходил не только от нарядов и украшений, щедро выставляемых напоказ, но и от самого богатства сочной плоти, словно бы становившейся все более зрелой по мере того, как к Эве приходил материальный успех. Ее склонность к полноте больше не грозила превратиться в неуклюжую тяжеловесность; она словно подчеркивала округлые формы зрелости, мягкость и женственность, которые позже исчезли. Тем, кого Эва преследовала, ее внешность казалась вульгарной; ее красота была под стать туалетам, подходившим скорее звезде какого-нибудь суперголливудского фильма. Может быть, в этих мишурных нарядах она находила некое утешение, поскольку никто не мог усомниться в ее умении носить подобные туалеты с подобающим изяществом. Если даже Эва принимала как должное свое положение, она всегда помнила, что ее враги не упустят случая составить капитал на ее ошибках; ее неуверенность выдают (и это чуть ли не единственное, в чем проявились ее сомнения, да и то бессознательно) неловкость и скованность во время интервью (она предпочитала позировать для фотографий), а также ее попытки показаться более образованной, чем она есть. Всему Западному полушарию известна история, опубликованная в журнале «Тайм», когда на вопрос репортера о том, кто ее любимый писатель, Эва ответила: «Плутарх, – а затем добавила: – Вы ведь знаете, это такой древний писатель». За эту и подобные истории журналы «Тайм» и «Лайф»

были запрещены в Аргентине, и еще сегодня их приходится читать с осторожностью. У Эвы недоставало самоуверенности, чтобы с легкостью признать пробелы в образовании. В своей книге (хотя она не имеет никакого отношения к действительности, однако же среди ее выдумок и умолчаний нет-нет да и мелькнет частичка правды) Эва утверждает, что, когда они с Пероном посвятили себя общему делу (делу народа), он очень хорошо знал, чего добивается, тогда как она опиралась только на свои смутные идеи; он работал головой, она же – сердцем; он был готов к борьбе, но ей при избытке энтузиазма не хватало знаний; его образованность обнажала ее невежество; он был великим человеком, она – простолюдинкой; он стал учителем, а она – учеником. Он был фигурой, а она – его тенью. Он верил в себя, а она – лишь в него одного.

Если убрать излишнее низкопоклонство и лесть, которых так много в ее публичных высказываниях и писанине, останется голая правда. Эва временами наверняка чувствовала себя неловкой и неотесанной, тенью, пустым местом, которое неожиданно оказалось в центре внимания и столкнулось с таким количеством клеветы и злобы. И уверенность ей давало только одно – теперь, когда она была замужем, – Перон.

Что весьма характерно для Эвы: зная о своем невежестве не только в тонкостях этикета, но и в том, что касалось просто манер, принятых в благовоспитанном обществе, она не пыталась подделаться или создать новую аристократию – аристократию нуворишей; то, что подобный слой родился в одночасье на гребне успеха, стало результатом политики перонизма, поощрявшей быстрое обогащение – в том числе и самыми бесчестными путями, но если Эва распоряжалась карьерами этих выскочек, то их жизнь протекала где-то далеко, не задевая ее. Нет, она решилась бросить вызов соперникам именно в том, на чем базировалось все их самодовольство.

Для аргентинских олигархов ежегодная поездка в Европу была почти столь же обязательной, как январская поездка в деревню или на море для людей попроще. Но, возможно из-за некоей наследственной обиды на метрополию, которая смотрела на portenos как на жителей колонии, они считали своей духовной родиной не Мадрид, а Париж. Никто из аргентинцев не мог претендовать на звание культурного человека, пока не проведет какое-то время в Париже, и ни одна аргентинская леди не надеялась прослыть модницей, если каждый год не привозила домой дюжину дорожных сундуков с последними парижскими моделями.

И теперь Эва, желая не просто унизить своих врагов, но

целиком и полностью затмить их, решила отправиться в путешествие по Европе – и такое, по сравнению с которым их поездки покажутся короткой прогулкой по парку. Сама она утверждала, что едет только для того, чтобы изучить учреждения социальной защиты Старого Света, правда и то, что, когда ее триумфальное шествие по Европе оставляло ей время, Эва посещала приюты, ремесленные школы и тому подобные заведения. Но поскольку леди из высшего общества обвиняли ее в невоспитанности, ее интерес к социальной защите, который, допускаем, основывался на подлинном сочувствии униженным и бедным, был также подогреваем и гневом по отношению к обществу надменных portenos. Нет сомнения, она надеялась получить от Папы титул маркизы – событие, которое, как она знала, ее враги воспримут как пощечину. Подобной чести удостоились лишь несколько самых знатных аргентинских вдов, и то, как впоследствии обращалась с ними Эва, подтверждает, что ее обида лишь усиливалась при мысли, что сама она этого титула так и не добилась. Но как прежде она использовала против аристократических дам их собственное оружие, учреждая программу социальной помощи, не только в тысячу раз более щедрую, но и основанную, как она хвастала (и не без оснований), на совершенно новых принципах, и делая на этом политический капитал, так же точно и теперь Эва предприняла поездку в Европу – по маршруту, который даже они были бы не в состоянии повторить, да еще и с тем расчетом, чтобы выжать из нее максимум для пропаганды. Полторы тысячи «людей без пиджаков» явились посмотреть, как она отправляется в свое путешествие по Испании и Италии – на родину их родителей или, во всяком случае, дедушек и бабушек. Эва покинула их, чтобы приступом взять Париж олигархов.

Глава 8

Мое простое женское сердце…

Э.П.

Хуан Атилио Брамулья, министр иностранных дел, предостерегал Эву, что ее визит в Испанию может быть сочтен недипломатичным в тот момент, когда Аргентина ищет дружбы Соединенных Штатов. Для реализации своего пятилетнего плана Перону требовалась американская техника и, более того, американские кредиты, и теперь, после ухода Спруила Брадена, между президентом и американским посольством установились прекрасные отношения. Но Эва не любила Хуана Брамулью, который отличался одновременно излишней честностью и слишком большой готовностью поддаваться на манипуляции, которые она обычно приберегала для своих «друзей». Она пренебрегла его советом и в апреле 1947 года объявила, что принимает приглашение Франко посетить Испанию.

Пышные приготовления к поездке, которая была назначена на июнь (в это время в Буэнос-Айресе зима, а в Мадриде – лето) вызвали бурю протестов в среде оппозиции, и даже среди некоторых наиболее осмотрительных перонистов: неумеренные траты правительства грозили привести страну к большим затруднениям. Эва возражала на это, что оплатит поездку из своего собственного кошелька, и отказалась от идеи пересечь Атлантику на корабле. Это была единственная уступка экономии, а тот факт, что одна только Испания потратила от двух до четырех миллионов долларов за время ее визита, заставляет сомневаться, что тех денег, которые она зарабатывала как звезда радио (даже при ее баснословных гонорарах), могло хватить, чтобы оплатить что-либо, кроме гардероба, который она брала с собой в поездку.

В последний момент ее, видимо, одолели сомнения: она наверняка знала, что в ее отсутствие враги будут плести интриги, и, возможно, даже была готова совсем отказаться от поездки, особенно когда услышала во время трансляции прощальной речи Перона к ней прозвучавший в толпе призрачный возглас: «Смерть Перону!»

Проводы были пышными и прочувствованными – как провожали и встречали ее всякий раз (по традиции, в Южной Америке при каждом прощании полагается обниматься и рыдать). Полторы тысячи людей собрались в аэропорту, чтобы посмотреть,

как Эва садится в самолет. «Я отправляюсь, – сказала она, – в Старый Свет с вестью мира и надежды. Я отправляюсь как представитель рабочего класса, моих возлюбленных «людей без пиджаков», с которыми оставляю свое сердце».

Эта представительница рабочего класса путешествовала в нарядах, достойных юной индийской принцессы, и драгоценностях, от которых не отказалась бы и Клеопатра, меняя костюмы по три-четыре раза в день в течение двухмесячной поездки.

Но ее роскошные одежды были предметом гордости «людей без пиджаков», которые собрались посмотреть на нее, и многие из них испытывали подсознательное удовлетворение, словно бы вместе с ней, сказочно разбогатевшие и преуспевающие, возвращались на родину своих отцов-эмигрантов. «Эвита! Перон! Эвита! Перон!» – ревела толпа, когда Перон и Эва с чувством обнялись и она повернулась, чтобы в последний раз помахать ему на прощанье.

Самолет, в котором путешествовала Эва, принадлежал «Испанским пиренейским авиалиниям»; его полностью переоборудовали для поездки: были устроены две спальни – для Эвы и для женщины, ее сопровождающей, – с кроватями, туалетными столиками и зелеными бархатными шторами и столовая со столом и стульями. До острова Фернандо де Нонона лайнер сопровождали два военных самолета. В поездку с Эвой отправилась сеньора Ларгомарсино де Гуардо, жена президента палаты депутатов; Хуансито Дуарте, брат Эвы; Альберто Додеро, корабельный магнат, который – к вящей удаче в делах – поддерживал близкую дружбу с Перонами; пара помощников и секретарша. Отец Бенитес, иезуит, исповедник Эвы, отправился вперед, чтобы приготовить ее встречу в Париже и в Риме; личный врач, горничная, парикмахер и портниха вылетели заранее. Ни одна из жен олигархов, отправляющаяся с семьей на все лето в свою estancia, не путешествовала с такой свитой!

Во время перелета вся компания пребывала в веселом расположении духа – они еще не успели надоесть друг другу, как это случилось позже, – пили шампанское за здоровье каждого и, минуя экватор, по традиции, «крестили» тех, кто пересекал его впервые. Как вы понимаете, в ту минуту Эва не нуждалась в шампанском, чтобы наслаждаться жизнью.

Между тем впереди, в Мадриде, делались самые дорогостоящие приготовления к встрече (следует помнить, что Испания крайне нуждалась в аргентинской пшенице). Момент вступления Эвы на землю Испании – на территории испанских

владений в Африке, когда самолет сделал посадку в Вилла Сиснерос, – отметили пышной церемонией. Жену президента приветствовал эскорт из сорока одного военного самолета, палили орудия, мадридская газета «Арриба» украсила первую страницу славословиями в ее честь; да и вообще они отвели три с половиной страницы из восьми репортажу, в котором описывалось каждое ее движение, тогда как животрепещущий вопрос о преемнике генералиссимуса остался вне поля зрения. Газеты напечатали даже интервью с пилотом и стюардессой самолета, перелетевшего океан.

В аэропорту Эву встречали две тысячи человек; Франко с женой подали пример аристократам, государственным чиновникам и дипломатам, некоторые из которых даже вернулись ради такого дела из отпуска. Но одна деталь продемонстрировала абсолютную формальность этого торжественного приема. Посол Аргентины в Мадриде, доктор Радио, как и полагается, приехал в аэропорт, однако по какой-то неувязке не был допущен в число встречающих. Когда наконец ситуация разъяснилась и он доказал, что должен стоять в первом ряду лиц, приветствующих леди, самолет уже приземлился и толпа сгрудилась у барьера. Можете себе представить, как был огорчен бедняжка, которому пришлось, работая локтями, проталкиваться вперед. В результате он явился пред очи безупречной Эвы в разорванном пальто и без шляпы, опоздав на сорок пять минут. Эва, которая не отличалась снисходительностью и сдержанностью, особенно когда дело касалось открытого пренебрежения ее собственной персоной, выбранила его, не стесняясь в выражениях, и обвинила посла во всех смертных грехах, чем, без сомнения, привела в глубокое изумление стоявших поблизости людей.

Но программа, подготовленная для жены президента в Мадриде, не оставляла времени для обид; показная роскошь могла удовлетворить даже ту ненасытную жажду развлечений, какой обладала Эва, и, должно быть, чрезвычайно утомляла бедную донью Кармен, которой в качестве бонны приходилось сопровождать свою госпожу повсюду, – мало кто мог соперничать с Эвой в выносливости и неуемной энергии. Она металась с официального приема на банкет, а потом на бал; носилась по музеям и церквам, в каждой из которых ее ждали представители официального «организационного комитета»; принимала профсоюзные делегации, посещала ремесленные училища и медицинские диспансеры и в открытом «кадиллаке» со «случайным» репортером из «Аррибы», который повсюду следовал за нею, объезжала рабочие районы и посещала «чистые и светлые дома счастливо улыбающихся трудящихся», которым она, по ее

словам, привезла образ и дух Перона. Впрочем, бедняки с большей охотой принимали щедро раздаваемые ею банкноты достоинством по сто песет (кое-кто из этих бедных людей в жизни не держал в руках подобной суммы, но, наверное, эти банкноты не были адекватным возмещением тех миллионов, которых стоил стране ее визит).

В тот день, когда Эва должна была получить награду из рук Франко, магазины и конторы закрылись на четыре часа раньше, чтобы служащие их могли собраться около Паласио Реал и послушать трансляцию церемонии, проходившей внутри. В Тронном зале Франко, в своем блестящем мундире маршала армии, с ленточкой ордена Сан-Мартина, которым наградил его Перон, пожаловал Эву Большим крестом Изабеллы Католической, самой высокой из испанских наград. Стоя между генералиссимусом и доньей Кармен, Эва приветствовала государственных деятелей, дипломатов и высокопоставленных духовных лиц – и это была девочка, которая десять лет назад боролась за крошечную роль на радио!

Когда же она вместе с генералиссимусом и доньей Кармен вышла на балкон, толпа взорвалась дисциплинированными аплодисментами, руки поднялись в фалангистском салюте. Стоя под знойным летним солнцем в норковом манто (она в тот период предпочитала надевать свои меха и драгоценности, невзирая на климат), с пучком золотых волос, уложенных в затейливую прическу, которую завершала эгретовая шляпка, с улыбкой, сияющей словно ее бриллианты, Эва отсалютовала толпе в ответ.

В другой вечер ее пребывания в Мадриде движение по Пласа Майор было перекрыто, чтобы провести на ней фестиваль народных танцев, который устраивался в честь Эвы. Танцы продолжались до трех часов ночи, и женская секция фаланги подарила Эве пятнадцать народных костюмов разных провинций, украшенных музейной вышивкой и уложенных, каждый, в специальную корзину, сплетенную наподобие кофра.

В бое быков, проведенном для нее в Пласа де Торос, участвовали лишь самые опытные матадоры и быки породы Муира, известные своей свирепостью и дороговизной. Все ложи были украшены разноцветными мантильями, а сама арена посыпана цветным песком и представляла собой сложный рисунок: красный и желтый изображали Испанию, белый и голубой – Аргентину, а центр символизировал союз двух стран. Вся эта красота являлась плодом многочасового терпеливого и умелого труда, но была разрушена в мгновение ока. Эва, сидевшая в королевской ложе, белокурая, с головы до пят одетая

в белое, являла разительный контраст с черноволосыми испанскими женщинами, большинство которых по привычке одевались в черное. Зрелище открыл парад цыган из Гранады, распевавших свои дикие песни и танцевавших под звон гитар и рокот тамбуринов; за ними проследовала величественная процессия королевских экипажей; за ними – быки Муира…

Во дворце Франко Эль Прадо и также в отеле «Риц» проводились грандиозные банкеты, Эву возили на экскурсию в Эскуриал, ее всюду принимали епископы и высокие сановники, титулованные головы склонялись к ее руке, она получала цветы и сказочные подарки (одним из них был флакон духов за четыре тысячи долларов), ее имя красовалось на плакатах, на флагах и транспарантах, для нее играли оркестры, ее повсюду приветствовали почтительные толпы – о, она дала бы сто очков вперед жене любого олигарха!

После однодневной поездки по Сеговии с изматывающей чередой банкетов и встреч Эва отправилась самолетом на север – в Галицию, провинцию, откуда были родом многие аргентинцы, а затем на юг – в Севилью и Гранаду; и повсюду женщины-крестьянки проталкивались вперед, чтобы увидеть ее или даже прикоснуться к этому прекрасному видению, которое казалось им воплощением мечты о богатстве и вызывало в воображении все те посылки и письма, которые многие из них получали из Южной Америки. Порой она делала остановки, то – чтобы выступить на заводе по производству взрывчатых веществ; то – чтобы почтить гробницы королевской католической династии (никто не знал, какой маршрут она изберет!); посетила церковь Нуэстра Сеньора де Буэн Айре, по имени которой назван Буэнос-Айрес, затем – табачную фабрику и колониальный институт, где раздала тысячи подарков из родной земли предполагаемым аргентинцам, и еще музеи, праздники и богослужения – после чего наконец удовлетворилась и приготовилась расстаться с Испанией.

«Мое простое женское сердце, – говорила она по радио, обращаясь к испанским женщинам, – содрогается, заслышав вечный аккорд бессмертной Испании. Оказавшись на нашей второй родине, я еще больше чувствую себя аргентинкой. Я дарю вам самую сильную любовь, какую только может испытывать женщина, когда стук ее сердца совпадает с вечным ритмом божественной гармонии. Именно поэтому сегодня я ощущаю себя опьяненной любовью и счастьем и мое простое женское сердце начинает биться в такт с вечными аккордами бессмертной Испании».

Опьяненная любовью и счастьем, с сердцем, бьющимся в такт с вечными аккордами, Эва улетела в Барселону, где ее ждал

Франко с женой и дочерью (он не сопровождал гостью в ее подобной урагану поездке по провинциям). После очередного припадка активности, включавшего посещение театра, где она посмотрела «Сон в летнюю ночь» на испанском языке (какой скромной должна была казаться эта фантазия по сравнению с ее собственной!), она отправилась самолетом в Рим, а Франко и донья Кармен (можете себе представить, как она была измучена и благодарна) вернулись в Мадрид.

Несколько недель, проведенных Эвой в Испании, были в этой, в остальном довольно бесцветной, поездке самыми яркими днями. Куда бы она ни отправилась, ее с энтузиазмом встречали не только официальные лица, но и простые люди (такого воодушевления ей не пришлось больше увидеть вплоть до возвращения домой). Как и всегда, когда речь идет о тоталитарном государстве, трудно судить, насколько подлинным был этот энтузиазм. Разумеется, власти сделали все, чтобы расположить массы в ее пользу: в прессе и по радио превозносили ее женские достоинства, ее щедрость и набожность, а кроме того, без сомнения, имелись четкие инструкции организовать повсюду, где она появлялась, аплодирующую толпу; сама же она в свою очередь поддерживала народное ликование любезностью и щедрыми дарами (например, просила освободить двух узников, арестованных за то, что накануне ее прибытия подложили бомбу в здание посольства Аргентины в Мадриде, и предложила стать крестной матерью каждому ребенку, который родится за время ее визита). И тем не менее по большей части восторженные толпы привлекала ее красота, почти легендарная слава, которая уже стала окутывать ее имя, и тот факт, что она представляет (и столь адекватно!) страну молока и меда, в которую многие из этих людей мечтали когда-нибудь бежать. Правительственные чиновники, духовенство и знатные люди принимали ее с распростертыми объятиями, потому что за ней вырисовывались финансовые займы и огромное количество кораблей, груженных столь необходимой пшеницей; но беднякам ее присутствие обещало нечто большее, чем просто пищу. Она воплощала богатство обетованной жизни, земли солнечного света, где в городах до сих пор мостят улицы золотом. Только самые богатые аристократы испытывали обиду при виде снисходительной грации, с которой она дарила свою щедрость их беднякам и одновременно принимала их комплименты, и лишь немногие усматривали иронию в том, что она выбрасывала наряды, покрасовавшись в них всего лишь раз, будучи в стране, где голодало множество рабочих и крестьян, которых она, по ее

словам, так сильно любила.

Существует анекдот о ее пребывании в Испании, упоминаемый в «Нью-Йорк таймс», который стоит вспомнить хотя бы потому, что в нем Эва предстает в лучшем свете. Когда она сказала Франко, что намеревается прислать ему корабль с пшеницей в качестве подарка испанскому народу, генералиссимус не смог скрыть удивления.

– Но, – запротестовал он, вероятно оскорбленный ее снисходительным тоном, – мы не нуждаемся в пшенице. У нас такой урожай, что сами не знаем, куда его девать.

Эва, очень хорошо знавшая цену подобных тоталитарных претензий, резко возразила:

– Почему бы вам не попытаться испечь из нее хлеб?

Она все-таки послала корабль зерна в дар испанскому народу, но ему пришлось еще долго расплачиваться за него, потому что с тех пор за всю свою пшеницу Аргентина запрашивала немыслимую цену.

Аргентина была вторым государством после Соединенных Штатов, на которое народы Европы взирали с надеждой, поскольку испытывали жестокую нужду в продовольствии и в займах, чтобы заплатить за него. И куда бы ни направилась Эва, ее принимали не столько как посланницу мира (как она хвастала), сколько как символ изобилия, и сам ее облик золотоволосой зрелости казался обещанием лучшего будущего. Как выразился один французский комментатор, «сколь ни красива мадам Перон, ее принимали бы еще лучше, если бы она была одета в мороженую говядину». Но все же голодные итальянцы или французы не видели в ее визите повода для того наивного оптимизма, который выказывали испанцы.

В Риме к приему Эвы не готовились столь тщательно, как в Мадриде, но посол Аргентины из кожи вон лез, чтобы встретить ее по достоинству: специально для нее целиком перестроили и заново меблировали апартаменты из двенадцати комнат (спальня была выдержана в любимом Эвой стиле – Людовика XV, обстановку дополняли живописный портрет Перона и полотно с изображением Христа), вход заново отделали мрамором, а на фасаде здания установили прожекторы – все это обошлось более чем в две с половиной тысячи долларов. Еще до ее прибытия к особняку стали подъезжать грузовики с цветами и подарками; невозможно составить список всех подарков, которые Эва получила за время своего визита в Европе, но в общей массе они, вероятно, переполнили бы корабельный трюм.

Однако толпа, собравшаяся в аэропорту, не превышала

пятнадцати тысяч человек, и многие из них были правительственными чиновниками или представителями аргентинской колонии. Здесь не замечалось и следа того искреннего ликования, которым встречали Эву в Испании, и, несмотря на то что министр иностранных дел граф Сфорца и синьора Гаспери, жена премьер-министра, прибыли в аэропорт, чтобы приветствовать ее, встреча проходила уже не на самом высоком правительственном уровне. В Италии Эва уже не была официальной гостьей и ею занимались чаще жены высокопоставленных лиц, нежели они сами. Здесь, как, впрочем, и везде, куда бы она ни направилась, представители посольства Испании оказывались в первых рядах встречающих. И еще одно разочарование ожидало ее. Когда она появилась на балконе посольства Аргентины, крики «Перон! Перон!», звучавшие из уст редкой толпы в ритме устаревшего «Дуче!», были прерваны неожиданными возгласами: «Abbiamo fame! Мы хотим есть!» В дело пришлось вмешаться полиции, арестовавшей авторов столь неуместных жалоб. На следующий день главный церемониймейстер позвонил Эве, чтобы принести свои извинения. Как и Испания, Италия надеялась получить пшеницу, но она не собиралась с таким убожеством демонстрировать выдающейся гостье свои чаяния. Так что визит начался не слишком удачно.

В душе Эва надеялась, что эта поездка принесет ей еще больше почестей, чем посещение Испании, но этим надеждам не суждено было исполниться. Так же как награждение Крестом Изабеллы стало кульминацией ее визита в Мадрид, так и аудиенция, дарованная ей Папой, предполагалась в качестве главного события ее пребывания в Риме. По такому случаю она нарядилась в обязательное длинное черное платье, которое весьма соблазнительно облегало ее фигуру, а поверх завитков сложной прически набросила черную кружевную мантилью; на груди ее переливался синим и серебряным Крест Изабеллы – в принципе ее наряд был безусловно сдержанным, как и требовалось, но на Эве он превратился в нечто не слишком скромное.

Говорят (и это кажется вполне достоверным, потому что аргентинцы почти всегда опаздывают), что Эва, под руку с одноглазым принцем Алесандро Русполи, одетым в элегантные брюки-гольф, прибыла на встречу с опозданием в двадцать минут, и его святейшество с чувством собственного достоинства и в порядке наказания продержал ее в ожидании точно такое же время. Церковь не собиралась оставлять все свои дела для того, чтобы только почтить ее (разумеется, титул маркизы Эве

предложен не был); аудиенция проходила в папской библиотеке и длилась полчаса – такое время обычно выделялось женам иностранных властителей. Папа поблагодарил Эву за щедрость, проявленную к итальянским беднякам, но с теплотой отзывался о дамах из Общества благодетельных леди, со многими из которых познакомился в то время, когда еще в сане кардинала принимал участие в религиозном конгрессе в Буэнос-Айресе. Эве, наверное, стоило больших трудов сохранить в тот момент благоговейный вид, ведь ей никаких похвал не досталось. Но, поскольку Эву никому не удавалось окончательно смутить, она заявила, что с удовольствием передаст все, что его святейшество сочтет нужным, Перону; на что Папа ответил с невозмутимой грацией, что он воистину был бы рад выказать свое расположение президенту Аргентины, но предпочитает сделать это официальным порядком. И в самом деле, на следующий день послу Аргентины был передан Крест Папы Пия IX (не самая высокая награда, какая имелась в распоряжении Папы) – для вручения его Перону. Эве его святейшество преподнес розы – обычный дар по такому случаю, и, после того как Эва представила ему свою свиту, компания отправилась восвояси. Не исключено, что в тот же день Эва посетила Сикстинскую капеллу и дворец Борджиа, а также и базилику Святого Петра, где она молилась (кое-кто предполагает, что она просила у Бога терпения), – экскурсии, которые, по общему свидетельству, являются немалым испытанием и для головы, и для ног, и говорят, когда Эва вернулась в свои апартаменты в посольстве, она сняла с себя туфли и бросила их в голову Альберто Додеро.

Несмотря на то, что итальянское правительство делало все, что полагается по протоколу, чтобы развлечь ее (премьер-министр возил ее на представление «Аиды» в термах Каракаллы, которое давалось ночью прямо под открытым небом и для посещения которого Эва – хоть с некоторым оправданием – могла надеть свою пелерину из лисы, хотя в Риме достаточно жарко и по ночам; он же развлекал ее за обедом и подарил ей белые орхидеи), но после тех фанфар, которые звучали в Мадриде, все это выглядело довольно уныло. В речах, транслировавшихся по радио, и в обращениях к женщинам Италии звучат агрессивные нотки: «Мое имя превратилось в боевой клич женщин всего мира – Эвита!» – не совсем то, что «сердце простой женщины», о котором она так проникновенно говорила в Испании. Визит свернули; в качестве официальной причины указывалось, что доктор предписал Эве отдохнуть, что, учитывая график ее жизни, вполне могло быть и правдой, и все же прошел слух, что она опасается враждебных выходок. Лидеры экстремистов – правых и

левых – не знали покоя все время ее пребывания в стране. Но какой бы ни была истинная причина, Эва в сопровождении графа Сфорца и своей свиты на пару дней отправилась приходить в себя на итальянские озера. При виде красот озера Комо у нее вырвалось неистребимое аргентинское: «Que maravilla!»[16]

Во время визита в Париж Эва, похоже, рассчитывала, наконец, преодолеть ту неуверенность в себе, которая доставляла ей столько огорчений. Он представлялся важным испытанием, поскольку, с каким бы презрением она ни высмеивала «дегенеративных» олигархов и их культуру, она не была свободна от страха перед ними: она бы не стремилась с такой неумолимой страстью уничтожать их, если бы не боялась. А теперь ей предстояло отправиться в главную твердыню их культуры – ведь Париж был родным домом для многих богатых аргентинцев и там жило много их друзей. Более того, Париж испокон веку считался законодателем моды; он оказывал на моду Буэнос-Айреса больше влияния, нежели любой другой город мира, и это, возможно, заставляло ее испытывать некоторые сомнения, возможно, что и неосознанные, даже в той сфере, где она до сих пор чувствовала себя в полной безопасности: по крайней мере, Эва приберегала свои лучшие туалеты вовсе не для Мадрида, где ее так пышно принимали. Она сохранила их для Парижа, хотя и не чувствовала уверенности в том, что там ее признают.

Ей не стоило так волноваться. Если французы оказались и не столь почтительны, как ей хотелось бы, они, во всяком случае, отдали дань восхищения ее красоте (чего она страстно желала). В Испании она была символом; во Франции она стала женщиной – даже если французы не забывали о том, что это женщина, которая может ссудить их хлебом. В Испании она дарила свою щедрость в «чистых домах, где люди счастливо улыбаются»; в Италии бедняки кричали под ее балконом «Abbiamo fame!» и попадали за решетку; но во Франции на официальном банкете ей подали грубый хлеб из муки и отрубей, чтобы напомнить о нужде народа. Французы не слишком-то верили, что ее присутствие в Ке-д'Орсе было так уж необходимо для подписания соглашения о займе в шесть миллиардов песо (посол Аргентины вполне мог подписать документ), однако они видели перед собой красивую женщину, которая хотела верить, что она незаменима в государственных делах, и сочли бы себя последними людьми, если бы отказались подыграть ей. Надо сказать, при всем том во Франции ее фотографии и статьи о ней вовсе не красовались на первых полосах газет. В их собственной стране никакая женщина не могла обрести даже доли той власти, которой обладала Эва, и

французам было трудно воспринимать ее всерьез. Но если Эва и не завоевала их глубокого уважения, она, с того самого момента, как ее самолет приземлился на французской земле, пользовалась всеобщим вниманием. Министр иностранных дел Бидо, который явился в аэропорт Орли, чтобы встретить ее, окинул ее сияющим, откровенно удивленным и одновременно восхищенным взглядом и тут же почтительно склонился, чтобы поцеловать ей руку.

И только на приеме в Cercle d'Amerique Latine[17] Эва почувствовала должное уважение публики. Там присутствовали дипломаты стран Южной Америки, которых ей по очереди представили: они по крайней мере понимали, что отношение, которого требовала к себе Эва, сводилось не только к признанию ее женского очарования. По этому случаю Эва нарядилась в свой самый роскошный костюм: платье из золотой ткани обтягивало ее фигуру, словно русалочья кожа, золотая шелковистая вуаль была наброшена на ее блестящие накрученные волосы цвета пшеницы, в ушах, на шее, запястьях и пальцах – повсюду, где только можно, – и на золотых сандалиях переливались сияющие каменья. Неудивительно, что латиноамериканские дипломаты, которых ей представляли, обращались с ней так, словно она была особой королевской крови, женщины же отступали на три шага и склонялись в поклоне. Но позже, после полуночи, когда Эва отправилась поужинать в ресторан «Пре Каталан» в Булонском лесу, несдержанные парижане целыми группами вскакивали на столы, чтобы бросить взгляд на эту потрясающую даму в золотом платье, и вслух выражали ей свое обожание в самой что ни на есть восторженной и неуважительной манере. Более того, те люди, которым поручили развлекать ее, похоже, совершенно не понимали всей серьезности ее миссии и ожидали, что она, как и любая другая женщина, будет веселиться в ночных клубах и посещать салоны модельеров. Кутюрье, собравшиеся в отеле «Ритц», где она остановилась, готовы были в любой момент бросить к ее ногам все свои коллекции, если только они ей понравятся; но Эва объявила им, что в Париже у нее чрезвычайно важные дела и что она не вправе тратить время на туалеты. Может быть, даже при всей своей жадности Эва наконец пресытилась, но более вероятно, что именно здесь в Париже у нее родилась новая и весьма странная навязчивая идея.

У женщины, которая относится к собственной персоне со всей серьезностью, в Париже многое вызывало раздражение. В ночном клубе, который она посетила с друзьями, фокусник из шоу презентовал ей букет; видимо, здесь настал конец его артистической карьере, потому что оскорбленная Эва поднялась и вышла. Еда в «Ритце» была не в ее вкусе и, кроме того, слишком

калорийной, в то время как Эве приходилось следить за фигурой, и она даже посылала на кухню одну из своих горничных, чтобы объяснить шеф-повару, как и что для нее готовить. Можете себе представить, с какой любезностью воспринял мсье шеф-повар подобные указания! И хотя в Париже было жарко, парижане не следовали латиноамериканскому обычаю закрывать от солнца окна ставнями. Но похоже, самое неприятное заключалось в том, что богатые аргентинцы, живущие в Париже, и даже те, которые остановились в том самом отеле, не выказывали Эве знаков уважения. Жара, усталость и досада – это было уже чересчур; одна только усталость могла бы свалить женщину и покрепче, чем Эва, и однажды вечером, возвратившись в отель, она упала в обморок. Программу поездки снова сократили; Эва отказалась от визита в Лувр, и отцу Бенитесу пришлось заменить ее там, где встречи проходили на открытом воздухе. Она покинула Париж и на несколько дней отправилась отдохнуть в поместье Альберто Додеро в Биарицце. Но отдыхать она не могла; расслабиться, на мгновение сделать паузу в своем восхождении к вершине – значило вновь соскользнуть обратно, в безвестность. Она отправилась в марш-бросок по французской Ривьере, а оттуда – в Швейцарию.

Там ее ждал самый неуважительный прием; Швейцария не была такой голодной страной, как Испания, Италия или Франция. Когда президент отъезжал вместе с ней от вокзала в Берне, в стекла их автомобиля полетели камни. Позже, и это было менее опасно, но, наверное, более оскорбительно, ее забросали помидорами, забрызгав ей платье. Оба раза Эва сидела бледная, внешне спокойная и полная ярости. Ей принесли официальные извинения; злодеи – парочка фанатиков-коммунистов, несомненно, они уже за решеткой. Она не стала просить об их освобождении, а в самом дурном настроении сократила свой визит и отправилась на пару дней в Сент-Мориц.

Эва не могла наслаждаться даже самыми яркими чествованиями, подогревающими ее гордость, без того чтобы каждую минуту не думать о делах на родине. Они с Пероном вели долгие полуночные беседы по трансатлантическому телефону. Некоторые уверяют, что они использовали высокочастотный микроволновый радиопередатчик, который невозможно было прослушать, но оппозиция заявляла, что она регулярно перехватывает их разговоры. Якобы он умолял ее вернуться – и вправду он выказывал признаки нервозности, когда она была далеко, – а она упрекала его за внимание к одной очаровательной девушке, которую Эва совсем недавно короновала как королеву

виноградного праздника на севере. Всерьез ли ее это заботило или нет – а большой заботой это быть не могло, поскольку Эва всегда обладала способностью убирать с пути любую соперницу так же легко, как иной разгоняет в реке плотву, – но причина для оправданного беспокойства тоже имелась: военные, поддерживавшие Перона, давили на него, чтобы он заставил свою жену отойти от общественной жизни. Впрочем, похоже, сам Перон был встревожен больше, чем она, несмотря на то, что Эва объясняла свое нежелание посетить Англию тем, что ее призывают домой срочные дела, в действительности в ее возвращении не ощущалось никакой поспешности. Видимо, поездка в Европу придала ей высокомерия и уверенности в себе, которых ей не хватало.

Более простым, нежели домашние проблемы, но не менее животрепещущим, был вопрос о визите Эвы в Лондон. Когда ее поездка в Европу еще только обсуждалась, до сведения Уайтхолла довели, что Эвита милостиво пожелала принять приглашение в Букингемский дворец – в конце концов, британцы нуждались в аргентинской говядине. Это посещение не вызывало у британских властей особого энтузиазма, тогда как некоторые газеты прямо заявили, что Эва не дождется встречи с распростертыми объятиями, после того как ее столь тепло принимали во франкистской Испании. Британские бизнесмены, не без причин опасавшиеся за судьбу своих инвестиций в Аргентине, попытались сгладить ситуацию. Неофициально Эву и вправду примут очень пышно, уверяли они, и королева благосклонно согласилась пригласить ее на чай во дворец. Любой охотно согласился бы нанести визит в Лондон только ради того, чтобы состоялось это славное и не слишком уместное чаепитие! Но приглашения к чаю было недостаточно. Ходили слухи, что Эва хотела лично остановиться во дворце. Британская королевская семья ответила с не слишком сильным сожалением, что они – увы! – будут в это время за городом. Эва, уставшая от того, что с ней обращаются как с пустым местом, вообще отказалась ехать в Англию. Говорили, что в дальнейшем при заключении торговых соглашений между Великобританией и Аргентиной этот достойный отпор сыграл свою роль, но незаметно, чтобы Эва, которую в Испании оценили значительно выше, когда дело дошло до торгов, обошлась с испанцами более щедро.

Теперь Эва оказалась в непривычном положении – у нее оставалось свободное время, поскольку она хотела, чтобы ее возвращение совпало с Общеамериканской конференцией по разоружению, которая должна была проходить в Рио и на которой собирался присутствовать Джордж Маршалл. На этой

конференции Аргентину представлял Хуан Брамулья, а Эва уже начала с подозрением следить за тем, как растет его авторитет. Чтобы провести время, она самолетом отправилась в Дакар, по дороге ненадолго остановившись в Лиссабоне, а в Дакаре села на один из кораблей Додеро под названием «С.С. Буэнос-Айрес».

В Рио-де-Жанейро к ее прибытию подготовились весьма хорошо, посольство Аргентины в Бразилии разослало по почте тысячи открыток, убеждающих бразильцев объединиться для ее достойной встречи и провозглашающих ее лидером всех женщин. Впрочем, пропаганда, судя по всему, не достигла большого успеха, так как, не считая обеда, данного в ее честь министром иностранных дел Бразилии, Эвой занималась в основном аргентинская колония. Посольство Аргентины устроило в ее честь великолепный бал, на который были приглашены все местные гранды и дипломаты, прибывшие на конференцию. Джордж Маршалл отклонил приглашение под тем предлогом, что ему нужно готовить свою речь. Но на следующий день Эва лично отправилась послушать его выступление, сопровождаемая Хуаном Брамульей, с которым она поддерживала видимость самых дружеских отношений, и слушала американца с выражением полнейшей сосредоточенности. Позже она пила шампанское с Маршаллом и Брамульей и обращалась с ними равно любезно – перед тем как сделать последний рывок в своем путешествии.

Как ее ожидали дома, можно не обсуждать: плакаты, оповещающие о ее возвращении, расклеили по всему городу за много дней. Собрать достаточно большую толпу на военном или гражданском аэродромах, находившихся далеко за городом, представлялось затруднительным; для пышного и шумного приема куда больше подходил порт, который служил как бы воротами города. А чтобы быть уверенными, что толпы окажутся достаточно большими, у рабочих собрали регистрационные карточки – столь же необходимые им, как карточки социального страхования американским рабочим, – обещая вернуть в порту, куда грузовики доставляли «людей без пиджаков» из всех провинций.

Такое изменение программы повлияло и на решение Эвы о посещении Монтевидео. Она бывала в Уругвае в юные безденежные годы, когда временами отправлялась за границу, чтобы провести уик-энд с другом на морском побережье, как поступали многие аргентинцы среднего достатка. Но теперь она обдумывала свой визит не без колебаний. Маленькая республика Уругвай, которая лежала через реку от Буэнос-Айреса – разумеется, то была самая широкая река в мире, – все время правления Перона сохраняла независимость от Аргентины и ее

влияния больше, нежели все остальные латиноамериканские страны, и предоставляла убежище аргентинским оппозиционерам, которым приходилось бежать из страны и которые в периоды массовых арестов дюжинами пересекали реку в крошечных лодочках или на частных самолетах, чтобы найти теплый прием у дружественных уругвайцев. Вдоль всего пути Эвы от аэропорта до города стояли плечом к плечу полицейские и военная охрана.

На следующее утро она увидела Буэнос-Айрес, сияющий белизной в ярком свете солнца и плывущий, словно поплавок, в мутных водах Рио де ла Плата. Когда корабль вошел в гавань, миновав старый яхт-клуб олигархов, сирены всех судов в порту принялись завывать, буксиры загудели «добро пожаловать», флаги и вымпелы взвились на мачтах и вантах, а в доках и на широких улицах, ведущих в город, огромные массы «людей без пиджаков» выкрикивали ее имя. Может быть, их согнали сюда, конфисковав карточки, и подкупили бесплатным путешествием, едой и развлечениями, но никакой подкуп или угроза не могли вызвать того жара, с каким они выкрикивали имена Эвы и Перона. Эва лишний раз подтвердила, насколько велико – хотя оппозиция не желала этого осознавать – ее воздействие на умы большинства простых людей страны, то самое мистическое и романтическое влияние, которым в Европе пользовались лишь короли, да и то в прошлом, и которое звезды Голливуда и игроки в бейсбол имеют на некоторых американцев. Образованный человек может бежать от тревог жизни, находя утешение в книгах, музыке или картинах; менее культурный, чье существование зачастую более тяжко и более бесцветно, должен видеть свою мечту во плоти. Эва стала символом этой мечты для многих тысяч, может быть, даже миллионов простых людей, которые вообще не разбирались в политике, и не перестанет служить воплощением их мечты и после смерти, до тех пор пока им не предложат лучшую мечту.

Перон, разумеется, приехал в порт, чтобы приветствовать жену. Говорили, что он собирался ждать ее в море на президентской яхте, но никто не мог представить, что их встреча в порту и публичное приветствие будут исполнены такого драматизма. Эва стояла на палубе, махая рукой и утирая слезы, слезы были и в глазах Перона – плакать для мужчины в Аргентине считается вполне естественным.

Эва, вероятно, чувствовала огромное облегчение оттого, что она – снова дома, и не только потому, что здесь она могла рассчитывать на самый горячий прием, но и потому, что необразованной девушке, какой она была всего несколько лет

назад, земля вне Аргентины казалась неведомой и невообразимой, а карта мира представлялась чем-то фантастическим. Юная девушка с похожим прошлым, которая уехала из Хунина примерно в то же время, что и Эва, и устроилась домашней прислугой в Буэнос-Айресе, была до глубины души потрясена, увидев корабли, и доки, и реку за ними. Реку она посчитала той самой рекой, на берегу которой жили когда-то, как они говорили, русские эмигранты; а когда ей объяснили, что та река находится в другом полушарии и что мир – круглый, она залилась неодолимо заразительным смехом и вскричала: «О, может быть, я – бедная деревенская девушка, но вам меня не одурачить!»

Разумеется, Эву учили в школе, что земля – круглая, но, как ни посмотри, она вернулась из волнующего и утомительного путешествия и ее еще не до конца покинул деревенский страх перед «заграницей».

Но теперь она снова была дома, и в соборе звонили колокола. Там шла благодарственная месса, разноцветные голуби – их красили в розовый и голубой – кружили и садились и снова кружили в сияющем небе; из аэропланов сыпались на город оливковые ветви, украшенные лентами цвета флагов всех наций. «Демократия», ее собственная газета, напечатала четыре страницы ее фотографий, а четыре страницы даже в самой популярной газете, почти половина стоимости выпуска. Никакого государственного мужа или генерала, который бы выторговал мир для Запада, не принимали бы с большим почетом. «Кларин», газета перонистов, провозгласила весьма сентенциозно: «Эвита сделала для своей страны то, что не мог сделать ни один посол. Сегодня все страны ожидают вести любви и мира и шумно требуют ее вмешательства, которое положит конец нищете и голоду во всем мире».

Но в наиболее фешенебельных кинотеатрах хронику с репортажем о ее прибытии встречали шумом и свистом, из-за чего кинотеатры закрывали, или же мертвой тишиной, которую сменяли бурные аплодисменты, какой бы эпизод ни шел следом – будь то футбольный матч или рассказ о быке-производителе. А на севере независимая газета «Интрансихенте» была закрыта за то, что опубликовала карикатуру, где Эве объясняли, что в Швейцарии всегда встречают своих гостей гнилыми помидорами.

В порту Эва и Перон страстно обнялись на виду у всей толпы. «После многомесячного отсутствия, – сказала она (ее не было всего два месяца), – я с глубокой радостью возвращаюсь в свою страну, где оставила три свои великие любви: мою родину, моих «людей без пиджаков» и моего любимого генерала Перона!»

Глава 9

Я выступаю против всех привилегий, даруемых властью и богатством.

Э.П.

Эва вернулась из Европы успокоившейся, но ее юношеская жажда славы не была окончательно удовлетворена. Ее амбиции непомерно возросли. Признание общества теперь казалось ей мелкой личной местью недоброжелателям, теперь она страстно желала аплодисментов народа и известности в правящих кругах. Хотела, чтобы ее знали не только как красивую, богатую и влиятельную женщину, но как лидера социальных реформ, как провозвестницу мира и изобилия. Она никогда не задумывалась, в чем заключаются истинные качества реформатора, а двигалась к своей цели, исходя из ложных представлений, так же, как было, когда она стремилась стать первой актрисой аргентинской сцены, и теперь добилась даже большего, хотя и иллюзорного успеха. От того, что ее попытки взять на себя роль социального лидера, не имели под собой реальной почвы, они не становились менее яростными или опасными, а ее вера в собственные фантазии менее искренней.

Перемена в ней стала заметна не сразу; она все еще оставалась сладострастной и волнующей блондинкой, которую освистывали завсегдатаи на парижских бульварах и окидывали красноречивыми взглядами молодые испанские офицеры; больше, чем когда-либо, она казалась доньей Марией Эвой Дуарте де Перон, с высокой тугой прической, в узких и длинных блестящих платьях, увешанная драгоценностями; и практически ничего не проглядывало от той новой, тонкой, хрупкой и, без сомнения, еще более опасной и трагической Эвы Перон с забранными назад волосами, в хорошо сшитых костюмах.

По возвращении она велела сеньоре Соса Молине, жене тучного министра обороны, устроить в ее честь прием, на котором полагалось присутствовать женам и дочерям армейских офицеров – приглашение на подобное мероприятие было практически приказом. Прием должен был проходить в офицерском клубе, на внушительных воротах которого когда-то красовалась надпись «На виселицу – с Пероном!». Элита аргентинского общества смотрела на это как на очередную тщетную попытку Эвы «войти в свет» и несколько удивлялась,

поскольку военные в большинстве своем не принадлежали ее кругу. Возможно, Эвой и вправду в какой-то степени руководило прежнее желание получить общественное признание, но, поскольку в ее отсутствие именно военные пытались оттеснить ее всецело в частную жизнь, более вероятно, что такого рода прием в такого рода месте был неким «пряником», который усыпил бы бдительность недоброжелателей Эвы и заставил их забыть о «кнуте». Не все леди изъявили желание присутствовать; некоторые отговорились нездоровьем, но примерно тысяча женщин, озабоченных карьерами своих мужей, собрались в честь Эвы, блистающей ради них в бархатной расшитой шляпе с птицами и райскими плодами.

Можно было предположить, что страсть Эвы к богатой одежде, мехам и драгоценностям после путешествия по Европе в какой-то мере поугаснет.

И вправду с этого времени, при всем своем неуемном желании обладать, она стала все реже и реже щеголять в богатых нарядах; даже ее волосы выглядели не такими ослепительно белокурыми. Изменения во внешности соответствовали ее новой роли, но то, что она не изменилась в главном, доказывали те баснословные богатства, которые она продолжала собирать в своих руках, что явилось предметом жестоких дебатов в палате депутатов. Даже ее щедрое жалованье, когда она была еще не директором, а просто сотрудником радио «Белграно», не могло никоим образом окупить всех ее баснословных трат. Ни у нее, ни у Перона, когда они встретились, не имелось никаких личных сбережений, точно так же ни армейская зарплата, ни его жалованье как президента, которое составляло менее двух тысяч долларов в месяц, не могли окупить тех сорока тысяч долларов в год, которые Эва тратила на одну только одежду из Парижа – она посылала своего собственного «курьера-кутюрье» покупать модели от Диора, Бальмэна, Фа и Роша. На зарплату Перона – а Эва теперь не получала ничего – невозможно было заполнить шкафы, занимавшие три большие комнаты в резиденции, шляпами, обувью и платьями или купить меховые шубы, которых у нее было около дюжины; у Эвы был халат, отделанный горностаем, и горностаевая шуба, и плащ из страусовых перьев, и лазурная норка, каких, как она хвасталась, в мире имелось всего только две. История гласит, что в ее молодые и безденежные годы она как-то пришла к своему портному в намерении уговорить его сшить ей что-то новое, тогда как старый счет все еще не был оплачен. В ожидании, потому что в те времена ее еще заставляли ждать, она перебирала образцы мехов – около дюжины или вроде того: норка, соболь, горностай и прочие дорогие меха. Когда

наконец портной повернулся к ней, требуя платы по задолженному счету, она бросила меха ему в лицо, крича, словно фурия: «Вы – дурак! Вы надоедаете мне с этим мизерным счетом! Знаете ли вы, что в один прекрасный день у меня будут шубы изо всех этих мехов!» Портной, на которого все это произвело впечатление, согласился сшить ей еще один наряд до того, как она оплатит счет. Независимо от того, правдив ли этот рассказ, Эва действительно заказывала везде меха. Аргентинцы, которые, подобно всем прочим в их полушарии, любят похвастаться, что у них все – самое большое и самое лучшее, уверяют, что она собрала коллекцию драгоценностей, которая была самой дорогой в мире со времен Клеопатры. Большую часть этих драгоценностей ей преподнесли правительственные чиновники, которые желали войти в фавор, или профсоюзы, собиравшие деньги на подарок песо за песо со своих членов; другие драгоценности она получала более пиратскими способами. Среди ее ближайших друзей в те дни были Альберто Додеро – невероятно богатый корабельный магнат – и его юная американская жена. Додеро получил монополию на речные перевозки; он планировал также открыть коммерческую авиалинию в Европу и уже истратил тысячи песо, добиваясь правительственного разрешения на свое дело. В один прекрасный день Эва подчеркнуто восхитилась бриллиантовым кольцом на пальце жены Додеро, которое стоило всего ничего – около двадцати тысяч долларов. Додеро в тот же миг сорвал его с пальца жены и преподнес Эве. С разрешением на открытие авиалинии у него больше не было проблем. Позже, когда Альберто Додеро умер, его корабельный и авиабизнес перешли к правительству, а в 1951 году Эва судилась с его наследниками за владение поместьем в Биарице, где она останавливалась во время своей поездки по Европе и которое, как она утверждала, Додеро пообещал ей.

Когда Эва стала la senora Presidenta[18], гардероб ее продолжал пополняться столь же разбойными методами. Перед своей поездкой в Европу она заказала двадцать нарядов в магазине на Калье Флорида. Платья ей выслали вместе со счетом, но чек неожиданно вернулся оплаченным только наполовину. Когда кутюрье указала на несоответствие, ей объяснили, что она должна чувствовать себя достаточно польщенной уже и тем, что находится под покровительством первой леди. Глупая женщина продолжала протестовать и заявлять, что она не собирается раздавать даром свои модели, даже и жене президента. Кончилось тем, что в ее заведение прибыл инспектор, обнаружил некоторые мелкие нарушения, и полиция на неделю прикрыла ее бизнес. Эва использовала ту же тактику и с модным меховщиком

– вновь она оплатила лишь половину счета, но тот поступил весьма мудро – и не стал возражать.

У президента Аргентины было две официальные резиденции. Одна из них располагалась в старом Паласио Унсуэ, который стоял на единственной возвышенности в городе и смотрел на широкую Авенида Альвеар и – через деревья парка Палермо – на реку. Его превратили в резиденцию президента во времена Кастильо, и он до сих пор сохранил обстановку в старинном мрачном и витиеватом стиле. Газоны дворцового парка спускались по склону и были усажены магнолиями и чудесными жакарандами с синими цветами. Именно здесь большую часть времени жил Перон под охраной особого подразделения, чьи воющие сирены предупреждали дорожную полицию на Авенида Альвеар, чтобы та очистила путь для автомобиля «сеньора». Вторая резиденция помещалась в Оливос, пригороде в нескольких милях к северу от города. Часть парка была превращена в детскую площадку; в нем также устраивались «пикники» для провинциальных губернаторов и партийных лидеров: все они являлись в парадных костюмах, тогда как Эва разыгрывала из себя простую хозяйку, лично приглядывавшую за приготовлением мясных пирожков, за которыми следовали холодные закуски, суп, куропатки под винным соусом и дюжина других блюд, считавшихся не более чем дополнением к хорошему аргентинскому бифштексу.

Кроме официальных резиденций, Пероны приобрели еще несколько частных владений. С первых больших денег, которые Эва получила за киносъемки в 1945 году, она купила старинный особняк в не очень престижном пригороде Колегиалес, в десяти минутах от города. Вероятно, это случилось еще до того, как ее амбиции переросли сценическую карьеру, поскольку особняк был скорее удобным, нежели фешенебельным. Она снесла старый дом и выстроила себе новый, стоимость которого явно превышала ее заработки – окончательная сумма составляла примерно четверть миллиона долларов; в нем имелся холодный подвал, где могли храниться ее шубы, и специально отправленный в Европу эксперт подобрал картины и другие произведения искусства, чтобы украсить комнаты. Именно здесь Эва и Перон развлекались наедине, тут устраивались дни рождения и маленькие семейные вечеринки.

В Сан-Винсенте, еще одном пригороде на берегу реки к северу, значительно более модном, Перон купил себе поместье в сорок пять акров и выстроил дом, который стал предметом жарких правительственных дебатов и причиной изгнания из палаты как минимум одного депутата оппозиции. Там был

кинозал, где показывали американские фильмы, которые не выпускались на широкий экран – еще один такой зал располагался в Паласио Унсуэ, и два плавательных бассейна, один – закрытый, а другой – на воздухе, с аппаратурой для создания искусственных волн. Архитекторов, садовников, специалистов по парковым ансамблям выписали из Уругвая, Эквадора и Соединенных Штатов, чтобы они обустроили дом и парк, в котором жили фламинго, аисты, нанду, быстроногие маленькие страусы пампасов, гуанако и ламы. Но больше всего разговоров вызвала асфальтированная дорога длиной в три четверти мили, сооруженная на общественные деньги, а главным образом – внушительная стена, окружавшая дом и парк, двенадцати футов в высоту и около полутора миль длиной. Она была оснащена сигнализацией и одна только стоила более миллиона песо, что в те дни, до девальвации песо, соответствовало примерно двумстам тысячам долларов. Это поместье, конечно, принадлежало Перону, а не Эве; там имелся также арсенал, поэтому в случае чего, оно вполне могло стать и последним убежищем.

Пероны также приобрели имение в горах Кордовы, как говорит о том в своей книге[19] доктор Эрнесто Саммартино, на деньги, собранные с работников Секретариата почт и телеграфа в знак признательности генералу и его жене. Позже они купили estancia неподалеку от Кануэлос, к югу от Буэнос-Айреса; это был охотничий домик одного юного миллионера, но лагуну, где когда-то гнездились утки и бекасы, засыпали, и на ее месте разбили очередной прелестный парк.

Таковы наиболее известные из владений президентской четы, полные списки того, что принадлежало каждому, они, вероятно, не сообщали даже друг другу. Понятно, что и Перон и Эва были достаточно благоразумны, чтобы открывать счета в других странах, но сколько они накопили, держалось, разумеется, в строжайшем секрете. Говорят, что у них имелись очень значительные суммы в Швейцарии, Уругвае и Соединенных Штатах, а также некие земли в Бразилии.

Но, исключая все разнообразные поместья и банковские счета в других странах, трудно подсчитать, какое количество денег тратили Пероны, покупая газеты и радиостанции, сколько уходило на рекламу и политические кампании, на благотворительность, которой Эва занималась до того, как был создан Фонд Эвы Перон. По сравнению с этим ее личные траты и стоимость европейского турне просто меркнут.

Когда Перон принимал президентство, он, как положено, представил формальную декларацию своего имущества, которая

была отпечатана и отдана на хранение генеральному прокурору. Эва тоже составила нечто вроде декларации своей собственности. Перон заявлял, что у него имеется дом в Сан-Винсенте, «кадиллак» и небольшое наследство от отца – вероятно, он имел в виду земли на юге. Неизвестно, что декларировала Эва, но существует история, что Перон, увидев перечень не более чем на миллион песо, воскликнул обиженно: «Это – все, что у тебя есть?!» На что Эва, говорят, сурово ответила: «Остальное я потратила на то, чтобы сделать тебя президентом».

Когда некий депутат оппозиции потребовал от палаты произвести инспекцию доходов Перона, состоялась церемония вскрытия опечатанной декларации Перона в присутствии министров, официальных лиц и прессы. Перон негодующе заявил, что он опровергнет обвинения в воровстве, предъявляемые оппозицией, что он владел поместьем в Сан-Винсенте, которое было основным пунктом обвинения, еще до того, как принял дела, и закладывал его для того, чтобы провести реконструкцию. Декларацию Эвы не вскрывали, но весь этот спектакль не объяснил оппозиции, каким образом имущество на сумму в три миллиона песо – со времен девальвации песо его стоимость увеличилась в десять раз – оказалось в руках человека, который должен был жить на зарплату полковника. Вскоре Перон в речи, которую он произнес перед рабочими профсоюза железнодорожников, притворно изумлялся, что владение в Сан-Винсенте оценивают так дорого, и заявил, что с удовольствием продаст его любому, кто предложит за него пятьдесят тысяч песо. Депутат от радикалов Каттанео, который настаивал на расследовании, немедленно захотел купить его за эту цену, вежливо добавив, что он охотно позволит президенту останавливаться там во время сессий. Перон выпутался из этого затруднительного положения довольно легко: полковник Каттанео, чье любопытство казалось ему слишком настойчивым, был отозван из палаты и вынужден бежать через реку в Уругвай.

Вероятно, полностью источники доходов Эвы и Перона мы никогда не узнаем, если только Мигель Миранда не опубликует в Уругвае свои воспоминания. Но самого поверхностного знакомства с финансовыми делами страны достаточно, чтобы предположить, откуда брались эти богатства. Взятки и мошенничество среди аргентинских государственных деятелей, к сожалению, не новинка. Иполито Иригойен – один из немногих, кто поднялся на вершину власти и остался бедным человеком. Но ни в какие другие времена аргентинской истории махинации не достигали такого размаха, как в последнее десятилетие; политика Перона, нацеленная на индустриализацию исконно

сельскохозяйственной страны, подорвала благосостояние нации, которая потенциально была одной из самых богатых в мире, превратила в недостижимую мечту реальность десятилетней давности, когда хлеб с маслом давали нищему, он бросал его собакам, а собаки обнюхивали его и оставляли, потому что досыта наедались мясом. Теперь молоко покупали на чашки, а в некоторые дни его вообще невозможно было купить; хозяйки платили мяснику заранее, чтобы достать хороший кусок мяса в городе, где прежде вырезку покупали по пятнадцать центов за фунт, а пастеризованное молоко стоило четыре с половиной цента за кварту.

Перон, будучи еще кандидатом в президенты, создал Центральный банк и наделил его полномочиями, которые практически подчинили ему все другие банки: требовалось получить разрешение Центрального банка для того, чтобы обменять любое количество иностранной валюты. Во главе этого учреждения он поставил Мигеля Миранду, тучного, сварливого бизнесмена, владельца дюжины или около того заводиков. В том же 1946 году Миранда открыл колоссальное государственное торговое агентство, известное как ИАПИ – Instituto Argentino de Promocion del Intercambio, которое контролировало всю зарубежную торговлю. Благодаря ИАПИ и Центральному банку Пероны (Эва тоже не осталась в стороне) и Миранда держали за горло весь бизнес в стране. Под тем предлогом, что правительственному агентству гораздо сподручнее вести торговые дела с иностранцами и устанавливать более выгодные цены на аргентинское мясо и пшеницу, ИАПИ скупало всю продукцию фермеров. И в самом деле агенты ИАПИ назначали высокую цену, хотя в некоторых случаях, как это было с льняным маслом и дубильным экстрактом, экспортировавшимися в Соединенные Штаты, они зашли так далеко, что потеряли рынок, но фермеры с этого ничего не имели; цена пшеницы, которая покупалась у аргентинских фермеров по цене в 1,35 доллара за бушель, при экспорте в Европу доходила до 5,75 доллара за бушель, но аргентинские фермеры так же проигрывали в этой сделке, как и голодные европейцы. Перон провозгласил, что стараниями ИАПИ цены на продукты в Аргентине снижаются, страна невероятно развивается, а на вырученные деньги будет закуплена импортная техника.

Цены на продукты действительно оставались относительно низкими, в особенности если судить по мировым стандартам; молоко, которое стоило четыре с половиной цента за литр десять лет назад, и в 1951-м можно было купить за пять центов; но в 1941 году четыре с половиной цента равнялись двадцати сентаво,

а в 1951 году уже восьмидесяти сентаво. Стоимость жизни выросла на сто пятьдесят пять процентов с 1946-го по 1950 год и продолжала расти на три процента в месяц в 1951-м. Американским туристам, посещающим Буэнос-Айрес, еда казалась невероятно дешевой и изобильной, но их доллар соответствовал теперь двадцати песо и скакнул за двадцать шесть в 1951 году, тогда как раньше равнялся всего четырем, и отель, в котором они останавливались, хорошо снабжался. Но аргентинская домохозяйка, поскольку зарплата мужа росла не так быстро, как цены, стояла в очереди, чтобы купить полфунта – больше она не могла себе позволить – кофе, ей приходилось покупать сахар и рис чашками, а на молоко и масло денег довольно часто вообще не хватало – это притом, что вокруг Буэнос-Айреса раскинулись акры плодороднейшей земли! В начале 1952 года Перон провозгласил один день в неделю «днем без мяса»[20], убедительно объясняя это якобы заботой о том, чтобы люди соблюдали более сбалансированную диету – средний аргентинец потребляет примерно вдвое больше мяса, чем большинство американцев, и ест мяса больше всех на земле. Только жестокий дефицит мог подвигнуть Перона к этой мере экономии, которая была весьма непопулярна среди привыкших к мячу criollo, которые в любом случае не могли разнообразить свой стол рыбой, цыплятами и яйцами, поскольку те были дороги.

Перонистская пресса позже хвастала, что Перон осуществил строительство и реконструкцию 76 230 объектов и вроде бы около 70 000 из них располагались в провинции. Оппозиция, напротив, обвиняла его в пренебрежении интересами отдаленных районов, которые так сильно нуждались в развитии. В Буэнос-Айресе и пригородах свидетельства этих работ были налицо: новые проспекты, парки, общественные здания, дороги, мосты, хотя многие из них были начаты или запланированы еще до Перона; а все широко разрекламированные стройки Фонда Эвы Перон просто поражали. Но стоило сесть на поезд и проехать несколько часов, как становилось ясно, что мелкие фермеры живут не с большими удобствами, чем двадцать лет назад, и что пуэбло также мало изменились. Те немногие хозяйства, где использовались современные технологии и техника, принадлежали либо земельным олигархам, либо большим сельскохозяйственным компаниям с иностранным капиталом: они обращались со своим скотом хорошо, даже если эксплуатировали людей. Перонистская политика состояла в том, чтобы прижимать, облагать налогами и время от времени экспроприировать большие владения и, как обещал Перон, «отдавать землю тем, кто на ней работал». К сожалению, он не умел заинтересовать тех, кто

работал, чтобы они работали хорошо. Рост цен на зерно и мясо не покрывал все увеличивающиеся налоги и стоимость жизни; фермер-арендатор не мог ни поднять производительность труда, ни купить необходимую технику; даже его сыновья и дочери, на которых он, еще будучи издольщиком, так рассчитывал, отправлялись в город в поисках более роскошной и веселой жизни. Разводить скот оказалось более выгодно, чем сажать зерно, а откармливать бычков – более выгодно, чем доить коров. Многие фермеры, и среди них большое число эмигрантов, которые прибыли из Италии и Испании и осели на земле, и сами начали перебираться в город. Два года засухи и перенаселение городов только усугубили проблему. Перон хвастал, что в 1949 году поголовье скота увеличилось более чем на два миллиона голов по сравнению с 1946-м, но оппозиция утверждала, что оно уменьшилось на десять миллионов голов и объявление «дня без мяса» свидетельствует в их пользу.

Правда, в первые годы своего существования ИАПИ импортировало огромное количество машин, но кто получал от этого большую выгоду – фермеры или чиновники, которые сделали разрешения на импорт предметом спекуляций, – вопрос спорный. В 1947–1948 годах доки Буэнос-Айреса были забиты импортной техникой, которая лежала там месяцами, ржавела и гнила либо потому, что не подходила для условий Аргентины, или же потому, что стоила дороже, чем могли себе позволить потенциальные покупатели. Деятельность ИАПИ вызывала бесконечные скандалы. В 1947 году ИАПИ купило пять тысяч тракторов «Эмпайр», причем, говорят, в процессе этой сделки двадцать миллионов песо растворились в воздухе; тракторы не подходили для Аргентины и продать удалось только несколько штук. Больше тысячи джипов, за которые ИАПИ заплатило как за новые, пришлось ремонтировать; двадцать из них передали для использования «Демократа», газете Эвы, а остальные продали на запчасти. Три тысячи железнодорожных локомотивов, приобретенных за границей, как потом выяснилось, не были оснащены нужными приборами, и их оставили за морем. Строились даже планы перевезти из Италии в Аргентину целую алюминиевую фабрику, на что требовалось около одиннадцати миллионов песо, пока не выяснилось, что такой фабрики вообще нет, – в этом скандале был замешал координатор Перона по пятилетнему плану и начальник президентской охраны. Самый громкий скандал разразился вокруг Хуансито Дуарте, брата Эвы, чьи махинации на черном рынке привели к тому, что курс песо упал с двадцати двух до двадцати шести за доллар всего за несколько дней; он получил лицензию на импорт около трех

тысяч американских автомобилей, но не имел валюты и, чтобы расплатиться за товар, покупал доллары в Уругвае. Подобные спекуляции создавали нуворишей, которые были ничем не лучше старых олигархов. Сам Хуансито, который стал миллионером буквально за одну ночь, играл роль nino bien[21] старой олигархии, с новыми автомобилями, чудными вечеринками, дорогими подарками маленьким актрискам и неизбежными драками в ночных клубах.

Мигель Миранда с первых дней стал наставником Эвы в финансовых делах. Насколько широко ИАПИ финансировало режим Перона, мы, вероятно, не выясним никогда, но именно благодаря ИАПИ чета Перон прибрала к рукам прессу и радио, и с помощью Миранды Эва заимела собственную газету. Вместе с Мирандой она организовала компанию по импорту медицинского оборудования и препаратов, которая предоставила ей монополию на импорт лекарств. Нет сомнения, когда обсуждался вопрос о Фонде Эвы Перон, именно Миранда давал ей советы, как лучше вытрясти денежки из застегнутых карманов; и наверняка сотрудничество с ним дало ей необходимый опыт для развития этого предприятия, которое сделало ее одной из самых богатых женщин в мире. У них было еще одно, что их объединяло: армейские офицеры искренне недолюбливали и его, и ее и всеми силами пытались их вытеснить. Однажды они даже принудили Перона отказаться от сделки по импорту белой жести, документы по которой подписал Миранда и которая, по мнению военной верхушки, затрагивала их интересы. Потом Миранда потерял свой пост и оказался в Уругвае почти что в ссылке. Но отправили его туда не офицеры, а Эва.

Похоже, Миранда решил, что Пероны не сумеют обойтись без него, хотя мог бы извлечь урок из того, как обошлась Эва с Марголио. Марголио, считавший себя соперником Миранды, был одно время – правда очень недолго – президентом Центрального банка; Эва и Миранда не слишком его жаловали, но при необходимости использовали. В Вашингтоне, куда Марголио отправился с визитом, его принимали, как обычно принимают официальных лиц, но когда американский посол упомянул об этом при Миранде, тот рассмеялся и сказал, что не стоило так стараться, поскольку Марголио снимут с его поста сразу по возвращении. Посол заметил, что не стоит этого делать, так как это может повлиять на отношение Вашингтона к любым другим направленным туда официальным лицам. Миранда же настаивал, что Марголио не является официальным лицом, но просто путешествует по собственным делам, когда в комнату вошла Эва.

Она, как обычно, тут же захотела знать, о чем идет речь, и Миранда объяснил ей, что, по мнению посла, будет не слишком мудро смещать Марголио с должности, как только он вернется.

– О, этот сукин сын, – вскричала Эва, используя, к удовольствию посла, единственное английское выражение, которое знала. – Итак, amigo[22], как вы полагаете, сколько нам следует ждать, прежде чем мы его прищучим?

– Ну, хотя бы пару месяцев…

– Отлично! Мы расправимся с ним через два месяца.

Возможно, Миранда счел ту легкость, с которой совершилась отставка Марголио, лишним подтверждением того, что его собственная позиция устойчива и нерушима, хотя кое-что говорило, что и его солнце скоро зайдет. Очередной скандал разразился вокруг крупной сделки по поставкам текстиля из Бразилии, которая была разорвана, несмотря на то, что оплата в размере двадцати миллионов песо уже куда-то делась. Депутат от радикалов Арайя, потребовавший расследования деятельности ИАПИ, получил опасное пулевое ранение от переодетых полицейских и был вынужден, как и полковник Каттанео, бежать в Уругвай.

Миранда также имел безрассудство заявить, что Перона как политика волнуют только собственные дела; он сделал это на обеде, в компании иностранцев, но один из них, мексиканский сенатор, поклонник Перона, донес ему об этом разговоре. Одного подобного промаха – и Миранда не мог об этом не знать – было достаточно, чтобы сделаться самым заклятым врагом Эвы, поскольку она позволяла другим в адрес Перона не больше критики, чем в отношении себя.

Через несколько дней – это произошло в конце декабря 1948 года – Миранда опрометчиво заявил посетившим его торговцам шерстью, что не он, а Эва несет ответственность за грабительские пункты в их контрактах. Торговцы обратились к Эве, и через несколько дней газеты сообщили, что здоровье Миранды требует лечения в Уругвае. Возможно, впрочем, Миранда не ошибался, когда полагал, что Пероны не смогут действовать без него, поскольку ему позволили удалиться с минимальным скандалом и сохранив максимум своего состояния, и некоторое время он еще поддерживал связь с президентом по телефону.

Глава 10

Я не получаю зарплату. Я ни в коем случае не правительственный функционер. Я свободна, абсолютно свободна.

Э.П.

Эва наложила руку не только на финансы страны, не только на газеты и радио, которые она держала за горло. Никто и ничто не избежало ее влияния: министры и иностранные дипломаты, сенат и палата депутатов, Верховный суд, профсоюзы и полиция, – и даже армия, которая всеми силами старалась лишить ее власти, не сумела хотя бы поколебать ее позиции. Нечего говорить, что любой из ее сторонников, перонистов, как они себя называли, готов ринуться в бой по первому ее слову. Впрочем, перонистская партия не была едина: многие верные соратники Перона не могли так же лояльно относиться к его жене. Она действовала чересчур безжалостно или, как минимум, слишком открыто, и она была женщиной и тем самым оскорбляла их консервативные принципы. Едва ли она сосредоточила в своих руках власть большую, чем та, которой обладал Перон, но она использовала ее более явно и с большей мстительностью; если она хотела избавиться от министра или депутата, этот человек уходил, хотя бы Перон и протестовал, притом, что ее приемы были до невероятности недипломатичными.

В декабря 1949 года посол Испании в Аргентине граф Мотрико ушел в отставку. Он хотел сделать это раньше, но Франко отказался удовлетворить его просьбу; теперь же генералиссимус угрожал разорвать экономические отношения с Аргентиной, невзирая на нужду в аргентинской пшенице, и крупная махинация, которую провернула ИАПИ, была не единственной причиной его ярости. Выяснилось, что граф говорил чересчур свободно, хвастаясь, что он расплатился за большую часть пшеницы любезностями в адрес четы Перон. Эва, которая всегда недолюбливала титулованных дипломатов, вызвала его в свой офис. Когда ей передали, что он пришел, она вскричала достаточно громко, чтобы граф мог услышать: «Пусть старая сводница охладит свой пыл! Пригласите сначала кого-нибудь другого». После этого инцидента корабли с пшеницей, направлявшиеся в Испанию, повернули обратно, посол ушел в отставку и отношения между двумя странами стали натянутыми.

Именно из-за Эвы единственный человек в перонистском правительстве, который благодаря своим способностям и честности снискал себе высокую репутацию за границей, был отстранен от дел. Неприязнь Эвы к Хуану Атилио Брамулье зародилась еще в былые дни. Еще до президентства Перона Брамулья числился советником по юридическим вопросам в профсоюзе железнодорожников, наиболее организованном и влиятельном профсоюзе в стране, и прекрасно подходил для того, чтобы стать помощником Перона в Секретариате труда. В те дни ходили слухи, что он и Эва приметили возможности Перона как демагогического лидера и вместе готовили его к этой роли, но, учитывая дальнейшее, это кажется маловероятным. Несомненно, именно он помог Перону установить контроль над профсоюзом железнодорожников; возможно, как и Рей, организовавший профсоюз рабочих консервной промышленности, он верил его обещаниям. Но когда Перона отправили на остров Мартин Гарсия, Брамулья не спешил примкнуть к сторонникам Эвы. Говорили, что он отказался подписаться под заявлением о нарушении неприкосновенности личности, которое, будучи удовлетворено, позволило бы Перону вернуться, и Эва так и не простила ему этого. Тем не менее когда Перон стал президентом, он назначил Брамулью своим министром иностранных дел, и это был превосходный выбор, потому что тот не только снискал уважение дипломатов в Европе и в Соединенных Штатах, но и пользовался авторитетом антиперонистов у себя на родине. Брамулья, вызвавший неудовольствие Эвы тем, что выступал против ее поездки в Испанию, становился все более ненавистен ей по мере того, как он получал все большую известность в качестве председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; его с радостью принимали и в Лондоне, и в Вашингтоне, хотя ни те ни другие не выказывали готовности развлекать Эву, а она не раз намекала, что с удовольствием откликнулась бы на приглашение посетить Соединенные Штаты. Более того, шли разговоры о присуждении Брамулье Нобелевской премии мира, на которую Эва безуспешно пыталась выдвинуть Перона. По возвращении из Европы она встретила Брамулью на Общеамериканской конференции по разоружению в Рио, где он стоял рядом с Маршаллом во время его речи, а позже пил с ним шампанское и, похоже, был с ним в самых прекрасных отношениях. Как только Эва вернулась в Аргентину, она объявила Брамулье войну. Перонистская пресса, возглавляемая газетой «Демократия», которая посвятила поездке Эвы много страниц и продолжала публиковать приблизительно по пять ее фотографий в день, вычеркнула из колонки новостей его имя. Она не

упомянула о дипломате даже тогда, когда сообщала о заключении новых торговых договоров с Италией в 1948 году, переговоры о которых он вел и которые подписал, представляя собственную страну, и полностью обошла молчанием тот факт, что Брамулья встречался с Папой и президентом Трумэном. Похоже, что в этом вопросе между Эвой и Пероном не было единства, поскольку президент лично приветствовал Брамулью по возвращении и отказался принять его отставку. Но неудача Эвы оказалась лишь временной. Восемь месяцев спустя Брамулья снова подал в отставку, и на этот раз отставка была принята. Посол Реморино – по слухам, он был другом Эвы еще в те времена, когда она играла в театре, и одним из немногих, кто сохранил ее дружбу, – вернувшись из Вашингтона, обвинил перед Пероном министра иностранных дел в том, что он продался Соединенным Штатам и действует в свою пользу, а не в пользу страны. Брамулья в негодовании возразил, что Реморино просто стремится получить в свои руки министерство иностранных дел и, согласно принятой в Аргентине традиции, вызвал его на дуэль. Иполито Хесус Пас, молодой юрист, сменил Брамулью на его посту, и, возможно, об этом инциденте не стоит упоминать в книге об Эве, поскольку говорили, что в последний момент она хлопотала за своего врага, но убедить его вернуться уже не удалось.

Именно из-за той легкости, с которой Эва жертвовала национальными интересами ради личной выгоды или удовлетворения собственной гордости, она заслужила такую неприязнь со стороны наиболее серьезных перонистов.

Но не только этих людей, которые не принимали ее с самого начала, она сместила и отстранила от дел; столь же безжалостна она была и к собственным фаворитам, к своим личным протеже, когда они переставали плясать под ее дудку.

Доктор Оскар Ивaниссевич одно время, казалось, весьма уютно устроился у нее под крылышком. В 1948 году его назначили министром образования; Эва благодаря своему фонду получила безраздельную власть над министерством и присвоила себе большую часть его функций. Министр должен был быть человеком, на верность которого она могла целиком полагаться, и Ивaниссевич, похоже, вполне годился на эту роль. Он обладал яркой индивидуальностью, видимо, если слухи, ходившие о нем, верны хотя бы на один процент, с легкой примесью эксгибиционизма; говорили, что он любил длинные плащи и неожиданные драматические появления. Некоторое – весьма недолгое время – он был послом Аргентины в Вашингтоне, где занимался в основном тем, что отсылал сердитые письма в газеты, когда в них появлялся хоть намек на критику в адрес

режима Перона. Он начинал как врач и в марте 1948 года оперировал Перону аппендицит. Операция пришлась очень некстати, поскольку в тот самый день Англия передавала Аргентине права владения железными дорогами, и церемония эта казалась прекрасным поводом лишний раз подогреть насаждавшийся перонистами национализм. Эва осталась с Пероном – поступок в духе королев давних времен, но вполне уместный в стране, где докторам не доверяли настолько, что зачастую вся семья собиралась в комнате, где роженица корчилась в муках. Эва, одетая в белое, как говорила, пока длилась операция, стояла на коленях и молилась. Позже она произнесла по радио прочувствованную речь.

«Товарищи железнодорожные рабочие, – сказала она после того, как объяснила, что не могла быть с ними, поскольку не считала себя вправе покинуть Перона, – я оставляю вам свое женское сердце и еще раз заверяю вас, что ваш товарищ Эвита предпочитает быть Эвитой, а не женой президента, если эта Эвита служит тому, чтобы облегчить страдания в любом скромном доме моей родины».

Неудивительно, что после таких переживаний «Демократия» объявила успешный исход операции чудом и сообщила, что именем Иваниссевича назовут больницу в Сан-Хуане.

Примерно через два года, в январе 1950-го, положение Иваниссевича было твердым, как никогда, поскольку, когда Эва сама свалилась с острым приступом аппендицита на открытии школы для детей таксистов, Иваниссевича срочно вызвали, чтобы прооперировать ее; перед тем как погрузиться в забытье, она прошептала: «Вива, Перон!»

Но Иваниссевича не пригласили для консультации в 1951 году, когда Эва так сильно заболела. Похоже, два случая привели к тому, что он канул в реке забвения, где неизбежно исчезал всякий верный перонист. Эва потребовала, чтобы ее овдовевшей сестре Бланке, которую и так сделали инспектором школ, еще и повысили зарплату; ее требование не лезло ни в какие ворота, и Иваниссевич как министр образования возмутился. Бланка конечно же получила свое повышение. Второй инцидент связан с Миелем Аскиа, новым протеже Эвы, который в 1949 году стал лидером перонистского блока в палате депутатов и таким образом оказался для нее чрезвычайно полезен. В 1950 году он поступал в университет Буэнос-Айреса, но провалился на экзамене по праву, – забавно, что человек, который так высоко стоял в иерархии перонистов, полагал, что ему необходимо высшее образование, но, вне всякого сомнения, Эва имела на него свои виды, и в эти планы входила ученая степень юриста. Эва

просто сказала Иваниссевичу, что Миель Аскиа должен пройти. Иваниссевич предложил устроить для него еще один экзамен. Годом позже несколько профессоров заявили протест по поводу того, что Миель Аскиа сдавал экзамен при закрытых дверях и его приняли без их ведома. Но Эва осталась очень недовольна действиями своего придворного поэта, и Иваниссевич подал в отставку и внезапно отбыл в Чили.

Теперь в Аргентине оставалось лишь одно место, где еще сохранялась видимость свободы слова – это было помещение палаты депутатов; в любом другом человек, критиковавший режим, подвергал себя неоправданному риску. На деле же и сами депутаты не были застрахованы от репрессий. К 1948 году сенат стал полностью перонистским: Перон добился такого потрясающего успеха, объявив недействительными результаты голосования, которые возвращали в верхнюю палату членов оппозиции, и отправив перонистских инспекторов надзирать за тем, чтобы на сей раз результаты оказались более удовлетворительными. Сенат, таким образом, оказался просто-напросто орудием в руках Перонов, и Эва при необходимости просто появлялась на закрытом заседании и прямо говорила им, что от них требуется. Палата депутатов фактически делилась на три фракции: оппозиция, ходившая по лезвию ножа, перонисты, поддерживавшие Перона, но не все одобрявшие вмешательство в государственные дела Эвы, и перонисты, всей душой преданные Эве. К этим последним принадлежали Эктор Кампора, председатель палаты, и Миель Аскиа, лидер перонистского блока.

Раскол между перонистскими депутатами стал очевиден, когда Эва вернулась из своей европейской поездки и, рассорившись с сеньорой Ларго-марсино де Гуардо, начала возражать против председательства ее мужа в палате депутатов. На его место был избран Эктор Кампора, все стороны удовлетворились тем, что он едва ли послужит интересам их соперников, поскольку человеком он был скромным и уступчивым. До избрания Перона он имел практику зубного врача в маленьком городке, но проявил величайшее рвение в перонистской предвыборной кампании и в качестве награды получил депутатский мандат. Но теперь, став председателем палаты, он показал себя таким же пылким сторонником Эвы, каким был когда-то в отношении Перона. Он заявлял: «Говорят, что я – слуга Эвиты и Перона. И я польщен тем, что меня называют слугой, потому что я служу им верно». Его жена сделалась близкой подругой Эвы, такой же, какой была когда-то жена прежнего председателя, и Кампора лично ежедневно навещал Эву и звонил ей по телефону, когда в палате проходили

интересующие ее дебаты. Если бы Эва захотела лично присутствовать на заседаниях, она и тогда бы не могла установить над депутатами более жесткий контроль.

Кампора использовал все средства, чтобы затыкать рот оппозиции, звеня в колокольчик и призывая к порядку, как только они хотели заявить протест. На сессиях творились такие беззакония, что у многих депутатов вошло в обычай являться в палату вооруженными, и если собрание проходило без происшествий, угроз и оскорблений, это становилось предметом обсуждения; любая критика, исходившая от Эвы, влекла за собой насилие в отношении радикалов и их отзыв.

Ее вражда с депутатом от радикалов Эрнесто Саммартино началась с первых дней, поскольку он знал ее и выказывал к ней доброту еще тогда, когда она бедствовала в театральной труппе, гастролирующей в провинции, а такой «фамильярности» Эва не терпела. Его вспыльчивость и энергичная оппозиция режиму подогревали ее злобу. Он настойчиво разоблачал коррупцию среди перонистских чиновников, заявляя, что может представить доказательства их участия в мошенничестве, воровстве и вымогательстве. Верхом его безрассудства стало то, что он осудил в самых едких выражениях вмешательство Эвы в дела государства, – такой шаг стоил ему положения и едва не стоил жизни.

«Мы приходим сюда, – заявил он в палате депутатов, – не за тем, чтобы делать реверансы под плетьми и не для того, чтобы плясать под дудку мадам Помпадур. Это – не фешенебельный ночной клуб и не передняя дворца. Это – парламент свободного народа, и народу должно быть ясно, здесь и сейчас, что мы не станем слушаться приказов старых полковников, лезущих не в свое дело, и не нуждаемся в указаниях, изложенных в надушенных письмах из будуара какого бы то ни было правителя».

Посреди негодующих возгласов перонистов депутат от радикалов Меркадер съязвил: «А теперь посмотрим, кто побежит звонить сеньоре!»

Саммартино рассказывал, что на него напал в кабинете головорез по имени Рауль Костас, тот самый, который в тот же год, 1947-й, угрожал членам американской делегации профсоюзов; однако револьвер убийцы дал осечку и депутат остался жив; возможно, здесь ему помогли также быстрота реакции, быстрые ноги и мужество, поскольку Саммар-тино был заядлым дуэлянтом. Когда он доставил своего неудавшегося убийцу в местный полицейский участок, там их уже поджидал автомобиль из офиса Эвы, министерства труда, который доставил

распоряжение об освобождении Костаса. Позже Саммартино изгнали из палаты депутатов, не оставив ему никакой возможности защищаться, и ему пришлось бежать через реку в Уругвай, откуда он продолжал разоблачать режим.

В 1949 году депутат от партии радикалов полковник Атилио Каттанео был отозван из палаты за то, что требовал выяснения источников тех доходов, которые позволяли Эве и Перону приобретать свои имения, и за упоминание родственников Эвы, «которые в 1943 году были так бедны, а теперь стали миллионерами». Он присоединился к Саммартино и его друзьям в ссылке за рекой.

Раболепие, с которым большинство членов перонистского блока относились к Эве, и пышность их славословий могли бы казаться смешными, если бы за ними не стояла национальная трагедия. В августе 1950 года, когда Эва должна была присвоить ряду перонистских депутатов титулы, которые, в соответствии с измененной конституцией, продлевали срок их полномочий, эти джентльмены сочли уместным сделать по такому случаю подарок сеньоре. Вопрос о том, что подарить, вызвал долгие споры, и наконец после серьезного обсуждения было решено презентовать ей прелестный браслет – из рубинов, сапфиров и бриллиантов, для полноты картины украшенный миниатюрами из драгоценных камней: аргентинский флаг, фигура «человека без пиджака», здание сената, рука, поднятая в перонистском приветствии, любимый черный пудель Эвы и около дюжины других. В августе 1951, когда Перон и Эва принимали делегацию перонистов, явившуюся, чтобы сообщить, что их выдвинули в качестве кандидатов на посты президента и вице-президента, фотограф запечатлел всю группу: Кампора, который держал на руках одного из Эвиных карликовых пуделей, и Эсперо, секретаря Генеральной конфедерации труда, держащего на руках другого.

Саммартино рассказывает в своей книге[23] о некоем Асторгано, который в свое время работал вышибалой в баре: когда его избрали в палату депутатов, Эва посоветовала ему не вступать в споры, но в том случае, если кто-то будет выступать против нее или президента, проломить несогласному голову.

Оппозиция в Аргентине потерпела крах, в какой-то мере даже более полный, чем постиг их коллег в тоталитарных государствах Европы. Перон предоставлял им видимость свободы; даже во время последних выборов «Насьон» продолжала печатать сообщения об их собраниях, из-за расценок на типографские услуги тираж был настолько мал, что, если вы не являлись подписчиком, вам еще надо было умудриться сделать копию с газеты и воспользоваться увеличительным стеклом, чтобы ее

прочитать. Оппозиции разрешалось проводить митинги, но звучавшие на них речи становились поводом для вмешательства полиции, и у ее лидеров имелось столько же шансов оказаться за решеткой, как если бы они работали в подполье; позднее Перон связал своих противников по рукам и ногам новыми законами вроде того, который запрещал коалиции. Враги Перона не могли теперь объединиться против него.

Ни аргентинский характер, ни аргентинские ландшафты не располагают к тому, чтобы уйти в подполье или начать партизанскую войну. На безлесных равнинах, раскинувшихся вокруг Буэнос-Айреса, невозможно спрятаться. Джентльмены оппозиции готовы защищать свою страну или свою честь с помощью шпаг или столь же отточенного остроумия; но дуэльные шпаги бессильны против психологии масс. Их наиболее ценные качества: рыцарство, личная доблесть, обостренная честность и безоглядное мужество – работали против них, поскольку оказались совершенно бесполезными в борьбе, которая требовала притворства и терпеливого самоуничижения; у них не хватало ни опыта, ни сил для того, чтобы сражаться с пропагандистской машиной и все более гитлеровскими орудиями, которые использовались против них. Радикалы, составлявшие самую большую оппозиционную партию, в прошлом слишком часто давали своим сторонникам понять, что политика – дело джентльменов, и утратили доверие рабочих; социалисты проявляли излишнюю мягкотелость, сторонники Фабиана привлекали лишь наиболее зрелых рабочих, и им недоставало энергии, чтобы увлечь массы. Позиция коммунистов вызывала споры; некоторые полагают, что их влияние значительно возросло за время правления Перона. Он снова и снова использовал коммунистов в качестве пугала, частенько связывая их со зловещими силами с Уолл-стрит, чтобы дискредитировать оппозицию; но, прижимая оппозицию, он открывал дорогу коммунизму, который в будущем вполне мог оказаться единственной альтернативой, видящейся недовольным рабочим. Чем дольше Перон оставался у власти, тем более было похоже, что за ним последует правление коммунистов.

Политическая карьера Эвы стала предметом непрекращающейся борьбы между нею и армейскими офицерами. Говорили, что она мечтала стать главой государства, чтобы, подобно новой королеве Елизавете, устраивать смотр своим войскам, сидя на лошади во всех регалиях. Этой чести она не добилась; но и военные, которые так настойчиво плели против нее интриги, не смогли сдвинуть ее с ее позиции ни на

миллиметр.

Армия была любимым детищем правительства еще со времен Урибуру; нередко они получали большую плату, нежели их коллеги в тех же чинах в армии Соединенных Штатов, и имели множество других привилегий; они не облагались никакими налогами, дома, которые строились для младшего командного состава и солдат, были предметом зависти преуспевающих гражданских, которых выселили из Кампо де Майо, и теперь, когда обычный человек не мог купить новую машину, они разъезжали в «кадиллаках», «ягуарах», «шевроле» и «ситроенах». Если Урибуру предпочитал генералов, а в дни Кастильо вышли в фавор полковники, то сейчас настали светлые дни для младших офицеров, когда-то служивших под их командой и считавшихся надежными. Любой из них в один прекрасный момент мог прыгнуть через головы своих начальников, и подобная лотерея, в которой можно было выиграть карьеру, заставляла многих из них проявлять лояльность по отношению к Перону. Говорят, майор Карлос Алое, который стал директором доброй половины газет и радиостанций Буэнос-Айреса, а в 1952 году сменил старинного друга Эвы Мерканте на посту губернатора провинции Буэнос-Айрес, имел чин сержанта; Перон тогда оценил его способность приспособиться и на следующий день сделал его майором. Нет ничего удивительного, что в такой ситуации генералы вовсе не были уверены в лояльности своих подчиненных, если дело дойдет до открытого выяснения отношений с Пероном и Эвой. Министр безопасности Перона, генерал Соса Молина, сторонник строгой дисциплины дома и в армии, на всех больших публичных мероприятиях буквально не отходил от Эвы; и в перерывах она отдавала ему распоряжения легким движением пальца. Не кажись она такой стройной, а он столь солидным, можно было подумать, что она в нужный момент просто вытаскивает его из кармана. Но на самом деле все обстояло иначе. В начале 1949-го Соса Молина и еще ряд офицеров явились к Перону в его дом в Сан-Винсенте и потребовали, чтобы Эва удалилась от общественной жизни. Эва, видимо, решила нанести неожиданный проверочный визит в Кампо де Майо, но часовые остановили ее в воротах и, несмотря на ее возмущение, генерал отказался сделать в ее случае исключение; гостей без особого приглашения на территорию казарм не пускали. Совершенно очевидно, что это был не просто визит, Эва пыталась добиться для себя особых привилегий. Перон же, храня верность жене, заявил военным, что, если они хотят сместить Эву, он сам подаст в отставку. Совершенно не желая отставки президента, офицеры ретировались, со страхом ожидая ответного хода. Вскоре после этого Перон произнес речь,

обличающую распространителей слухов, и его слушатели-рабочие ответили ему криками: «Эвита! Эвита!» А в Кампо де Майо был дан банкет, на котором Эва присутствовала в качестве почетной гостьи: в ее честь произносились цветистые речи и поднимались бокалы с шампанским.

Глава 11

И когда я говорю, что справедливость должна соблюдаться неумолимо, чего бы нам это ни стоило и кто бы ни пал от ее руки, я уверена, что Бог простит меня за то, что я нападала на них (олигархов), потому что я нападала на них из любви – любви к своему народу! Но я заставлю их заплатить за все страдания, которые они причинили бедным – до последней капли крови, оставшейся у них!

Э.П.

Как и все диктаторы, Эва и Перон испытывали смертельный ужас перед критикой и панически боялись показаться смешными. Вероятно, страх Перона был более рациональным, чем страх Эвы, поскольку тот больше заботился о нуждах диктаторской машины, нежели о нуждах собственного я, и не опускался до открытого сведения личных счетов, как это делала его жена. Однажды он привел в качестве повода для преследований газеты «Пренса» то, что супруги Пам, которые в течение восьми лет владели газетой, в частной беседе отзывались непочтительно о нем и об Эве, поскольку это было сказано американскому дипломату, похоже, что Перон просто отговорился, не желая называть истинную причину, которая заключалась в том, что «Пренса» оставалась наиболее стойким оппонентом его режима. Эва, как могла, ужесточала гонения на «Пренса»: газета редко ее цитировала и, когда приходилось упоминать ее, называла ее не иначе как «жена президента» и никогда по имени.

В стремлении к мести и жажде низкопоклонства Эва проявляла одинаковую непоследовательность. Тот, кто не превозносил ее, признавался недостаточно лояльным. В «Демократия», ее собственной газете, ее называли глашатаем братства, провозвестницей справедливости и сравнивали с солнцем. Министры, сенаторы, депутаты старались превзойти друг друга в цветистости и напыщенности хвалебных фраз.

«Наша аргентинская лилия, – так однажды назвал ее министр социального обеспечения, – которой мы преданы всей душой и любовь к которой никогда не померкнет в наших сердцах».

«Она кажется, – заявил Эктор Кампора в палате депутатов, – новым воплощением одной из тех героинь, которые шли за армиями, – едва ли эта двусмысленность была намеренной! – чтобы, забыв о себе, исполнять свой христианский долг: исцелять раненых, поить жаждущих и кормить голодных. Эва Перон продолжает свою революционную работу, открывая свои объятия смиренным и щедрою рукою даря свою любовь и доброту всем уголкам страны».

«Демократия» отвела половину выпуска рассказу о катастрофе на аргентинском авиалайнере, пассажиры которого, охваченные пламенем, взывали к Эве и Перону о помощи. «Кажется невозможным, – добавляла газета, – чтобы судьба могла обойтись с нами жестоко, когда у нас на устах эти два имени».

В своих собственных речах и статьях Эва частенько вспоминала о прошлых унижениях, она называла себя «самой смиренной из всех «людей без пиджаков», «самым смиренным из сотрудников Перона», но те, кто окружал ее, знали ее лучше и не обманывались на этот счет; постоянные упоминания о скромном происхождении были лишь частью роли, которую она играла и за которую жаждала получать неизменные аплодисменты, порой чуть ли не святотатственные, потому что ее называли «леди Надежда» и «леди Сострадание» – титулы, звучащие вполне привычно для набожных людей.

Подобные похвалы были единственной оценкой, которую она переносила спокойно; любая критика разрушала тот дутый образ, который она создавала не только для того, чтобы обманывать других, не только ради богатства и власти, которые он давал, но и для себя, поскольку только он позволял ей жить в окружавшей ее ужасающей пустоте страха. Внешне Эва казалась маленькой и мужественной женщиной; но внутренне она была столь же исполнена сознания собственного величия, столь же уязвима, как огромные надувные игрушки, которые носят по улицам во время праздников. Ярость, с которой она преследовала своих врагов, рождалась из внутренней неуверенности, потому что многие из этих людей не представляли никакой реальной угрозы ни для нее, ни для режима: единственная их вина состояла в том, что когда-то их положение было выше, чем ее собственное.

Немногие первоклассные актрисы времен ее театрального прошлого избежали ее нападок; большинство тех, кто привечал ее в те дни и провинился только тем, что играл лучше, чем она, теперь с трудом зарабатывали себе на хлеб или покинули страну. Аргентинская сцена, кино и радио были закрыты для них до конца их жизни или до падения режима Перона, поскольку пригласить кого-то из них в работу означало нарваться на

штрафы, замалчивание, аннулирование лицензий и крах. Такой всеми любимой актрисе, как Либертад Ламарки, которая, без сомнения, сделала ошибку, упрекая Эву в те далекие дни в непунктуальности, из-за чего, поговаривают, две леди даже чуть не подрались, пришлось уехать и продолжать свою карьеру в чужих землях. Правда, потом она опрометчиво вернулась в Буэнос-Айрес; ее не забыли, и встречать ее в аэропорту собралась огромная толпа. Но чиновники, которые получили приказ причинять ей все возможные неудобства, полночи выясняли ее личность и обыскивали ее багаж, пока встречающие, видя, что все другие пассажиры уже разъехались, не сочли, что она не приехала, и не разошлись. В Аргентине только одной женщине могли аплодировать собравшиеся толпы.

В самом начале правления Перона у некоторых еще хватало мужества публично высмеивать Эву. Нини Маршалл, чей персонаж – молоденькая рабочая девчушка – пользовался любовью радиослушателей, передразнила Эву и вынуждена была найти себе новый дом и другую работу в Монтевидео. Софии Бозан некоторое время везло больше; после того как Эва допустила бестактность, появившись на банкете, где она сидела рядом с кардиналом Копелло, в платье без рукавов, София Бозан вышла на сцену с птицей-кардиналом, усевшейся на ее обнаженном плече. Она отделалась только выговором и умеренным штрафом, но следующим вечером появилась с замком на губах. И снова обошлось выговором и штрафом – подобная снисходительность кажется необъяснимой, если не знать, что начальник полиции, пресловутый полковник Веласко, был ее приятелем и недругом Эвы; вскоре после этого он получил отставку. Но поведение Эвы отличалось невротической непоследовательностью; в иных случаях, заметив в толпе своих знакомых прежних актерских дней, она могла неожиданно повести себя с исключительной снисходительностью, выражая восторг оттого, что встретила давнюю подругу, и вручая ей небрежно нацарапанную записку к какому-нибудь театральному менеджеру, который должен был немедленно поставить ее имя в самом верху гонорарной ведомости и поднять ее зарплату до немыслимой суммы. Но эти жесты никогда не затрагивали выдающихся актрис – щедрость Эвы являлась лишь очередной демонстрацией ее могущества.

В 1951 году она решила посетить студию радиостанции «Эль Мундо», где когда-то исполняла крошечные роли и которая теперь находилась полностью в ее власти. Весь персонал студии, начиная с директора и кончая швейцаром, выстроился, чтобы приветствовать ее; но она игнорировала директоров, спонсоров,

актеров, писателей и обрушила всю мощь своего обаяния на малозаметного молодого человека, который во времена ее ученичества был мальчишкой на посылках и с которым она обычно пила кофе и болтала в молочном баре напротив студии. Но, учитывая ее отношение к старым знакомым, она руководствовалась скорее желанием унизить остальных, нежели дружескими чувствами к посыльному.

Наиболее очевидным проявлением ее жажды отмщения было злобное желание унизить любую женщину, которая благодаря богатству или аристократическому происхождению могла смотреть на нее свысока. Наверняка она приложила руку к тому, что компанию юношей и девушек из богатых семей взяли под стражу за непочтительное веселье. Инцидент случился на открытии очередной сельскохозяйственной выставки, событии всенародной важности в стране говядины, но из тех, на которых Эва и Перон в первые годы его президентства не присутствовали. Губернатор одной из провинций произнес речь, которая из-за его деревенского произношения вызвала общий смех, а большинство выступлений были настолько невыносимо банальны и затянуты, что публика с удовольствием использовала любой повод повеселиться. После взрыва смеха хорошо воспитанной, но не слишком вежливой аудитории компания подростков продолжала развлекаться и дальше. Молодых людей арестовали; юношей избили и упрятали за решетку; девушек поместили в камеру, где держали проституток. В стране, где невинность молодой девушки являлась чем-то вроде гарантии высшего качества, это было равносильно тому, что их отправили в колонию прокаженных. Полковник Веласко уже поступал так с девушками из университета, но подобный способ унижения родился скорее в недрах злобного женского ума, нежели садистского мужского.

Позже стремление Эвы мстить женщинам из общества нашло выход еще в одном вопиюще незаконном аресте. Изменение конституции, самовластно провозглашенное Пероном в 1948 году, вызвало яростные и тщетные протесты оппозиции. Хотя конституция и вправду нуждалась во внесении некоторых поправок, поскольку создавалась еще в 1853 году, когда вопросы о притеснениях индейцев и их статусе еще стояли на повестке дня, оппозиция имела право протестовать, поскольку закон провели через палату в их отсутствие – они покинули зал заседаний в знак протеста против изгнания Саммартино, – и один из новых пунктов давал Перону возможность и дальше оставаться президентом. Группа женщин из высшего общества, не имея другой возможности выразить свой протест против новой конституции, собралась у здания редакции газеты «Насьон» –

почти столь же резкой в критике Перона, как «Пренса», – располагавшегося на узкой и оживленной Калье Флорида, и пели там аргентинский национальный гимн, хором выводя: «Libertad! Libertad! Libertad!» Полиция мгновенно появилась на сцене, и в последовавшей суматохе – а Калье Флорида так же многолюдна, как Бродвей в субботу, – шесть леди арестовали, а с ними и двух иностранок, мать и дочь из Уругвая, которые приехали в Буэнос-Айрес походить по магазинам, к сожалению, не будучи в курсе аргентинской политики. Женщин обвинили в нарушении порядка, продержали в участке всю ночь, и освободились они только на следующее утро, получив нагоняй от судьи. Но, каким бы неприятным этот инцидент ни был, история на этом не кончилась. Эва была за городом. Когда она вернулась, всех женщин вновь вызвали в суд, как им сказали, ради простой формальности. Там их усадили в «черную Марию», которая объезжала полицейские участки, собирая девиц, задержанных на улицах прошлой ночью. Проститутки, увидев в фургоне хорошо одетых дам, сочли их представительницами той же профессии, только имеющими монополию на более прибыльный бизнес, и принялись оскорблять их, используя слова, которых не должна употреблять леди. В тюрьме Сан-Мигель – снова из тех, что отведены для проституток, – надзирательницам приказали ни в коем случае не отделять этих леди, а поместить их с другими заключенными; впрочем, в переполненной тюрьме, которая не могла похвастать гигиеническими условиями, дамам вряд ли удалось бы удобно разместиться даже в близкой им по духу компании. Однако когда уличные женщины выяснили, за что их посадили, они отнеслись к дамам с уважением и вниманием. С жестокостью леди встретились вовсе не в стенах тюрьмы; там все были добры к ним настолько, насколько хватало смелости, и когда к дамам допустили наконец адвокатов и врачей, туда рекой хлынули сочувственные послания и подарки, а на улице день и ночь караулили друзья и некоторые самые неистовые сотрудники уругвайского представительства, следя за тем, чтобы заключенных не перевели в какую-нибудь колонию или в ужасное Особое отделение. В первые дни заключения арестанток допросили, после чего предъявили им ничем не обоснованные обвинения. Уругвайских женщин обвинили в том, что они в речной лодке переправили в город бомбы, хотя их единственным проступком было то, что они громогласно заявили, что с радостью пели бы аргентинский гимн, если бы они его знали, потому что «только в стране варваров исполнение национального гимна может считаться преступлением». Эти слова стоили им месяца тюрьмы. Среди арестованных была пожилая леди

семидесяти двух лет, но столь же непреклонная, как и остальные, и только по отношению к ней проявили некоторую снисходительность: ей позволили отбыть свой тюремный срок под домашним арестом. Некоторым другим, чьи фамилии числились среди самых знаменитых в истории Аргентины, предложили свободу, если они напишут лично Эве и попросят ее отпустить их. Они отказались.

Тюрьма и непрестанные допросы с угрозами были еще не самым худшим, что могло ожидать этих леди. Согласно правилам, тюремный доктор брал у каждой арестантки анализ крови, чтобы выяснить, не страдает ли она венерическими заболеваниями. Когда врач пришел с этим к леди, они заподозрили недоброе и отчаянно сопротивлялись, пока не появился их личный доктор, вызванный по тайным каналам. И похоже, что их опасения не были напрасными, потому что, когда их прибывший доктор, пытаясь развеселить леди и помочь тюремному врачу, предложил взять у каждой из них по два анализа и один проверить лично, от идеи мгновенно отказались.

Между тем «Демократия» развернула клеветническую кампанию против узниц, сообщая о них в печати те подробности, которые шепотом пересказывались в гостиных об Эве Перон, и подстрекая наиболее невежественных рабочих к такому негодованию, что надзирательницы-монахини каждую ночь ожидали, что тюрьму разнесут по кирпичику, а арестанток убьют. Потом дам снова усадили в «черную Марию» и повезли через весь город; они стучали кулаками по стенам фургона и громко кричали своим друзьям, чтобы те ехали за ними. Чтобы избежать преследования, полицейский автомобиль выбирал улицы с односторонним движением, где лишь полиции можно ехать против потока, однако же машина из уругвайской миссии с дипломатическим номером тоже не подчинялась дорожным правилам и не отставала. Дам везли в суд для новых допросов – от них добивались, чтобы они признались в неких злодейских планах, – и провокаций. Со стороны все это своей абсурдностью напоминало сцены из старых немых фильмов; однако женщинам, усталым, немытым, встревоженным, запертым в крошечном темном пространстве, не знающим, куда их везут, и уже не различавшим голоса друзей, было не до смеха. Через месяц их освободили без всяких формальностей – так же, как и арестовали, и фотограф из «Демократия» прибыл, чтобы запечатлеть бедных леди, когда их, растрепанных и рыдающих, выбрасывали на улицу.

Интересно, что среди этих дам были и те, кто возглавлял Общество благодетельных леди.

«Суперкритики» Эвы – это ее словечко, похоже, что даже враги в ее глазах были не просто врагами! – частенько называли ее resentido social (это примерно то же, что наше прозвище «нигилист»); в своей книге она охотно признает свою конфронтацию с обществом, но настаивает, что причиной ее была отнюдь не ненависть к богатым, а любовь к бедным, которых они угнетали. Она пишет:

Я выступаю против всех привилегий, даваемых властью и богатством. А это значит против всей олигархии, не потому что олигархия когда-либо дурно обращалась со мной.

Напротив! До того как я добилась того положения, которое сейчас занимаю в перонистском движении, я не получала от них ничего, кроме знаков внимания, в том числе от женщин, которые предлагали представить меня самым высоким кругам.

Мое «социальное негодование» рождается вовсе не из ненависти, но из моей любви к жестоко страдающему народу, для которого всегда открыты двери моего сердца.

В ее хвастливых уверениях, что она, если бы хотела, была бы представлена высшим кругам, проглядывает что-то по-детски наивное, хотя, без сомнения, находились люди, которые с радостью ввели бы ее «в свет» в обмен на собственную безопасность. Ее заявления, что она боролась с привилегиями, даваемыми богатством и властью, только ради страдающего народа, звучали бы более правдиво, если бы она сама не стала такой богатой и не получила такой власти. Забавно, что ее книга, подписанная к печати в то время, когда она практически достигла вершины своей политической карьеры, порой кажется попыткой оправдаться. За откровенной пропагандой слышится порой крик несчастного ребенка, который доказывает: «Я – хорошая девочка! Я и правда хорошая девочка!» Но несчастные дети нередко вырастают преступниками.

Время от времени личный характер неприязни, руководившей ее действиями, проявлялся почти открыто. Удачное европейское турне принесло Эве разочарование в одном пункте: ей не предложили титул, которого она домогалась. А в Буэнос-Айресе притом проживали две набожные старые дамы, которые получили от Папы титул маркизы. Одной из них была сказочно богатая дуэнья аргентинского общества, сеньора Харилаос де Олмос; среди ее добрых дел числилась постройка и обеспечение постоянным доходом церкви, в стенах которой она желала быть похороненой. Для того чтобы быть похороненным в церкви, даже если вы выстроили ее сами, необходимо разрешение Папы и

разрешение президента: первое пожилая леди получила без всяких затруднений. И теперь, ожидая скорого конца, она обратилась к Перону. Ей ответили, что разрешение будет дано, если она примет Эву в своем доме и примет его от нее. Сама мысль о подобном шаге привела бы в ужас старейшин олигархии. Но пожилая дама, подобно многим, кто уже готов покинуть свое тело, чрезвычайно заботилась о его дальнейшей судьбе и согласилась принять жену президента; ее друзья нашли ей оправдание, ссылаясь на то, что ум ее уже помутился. Никаких сообщений об этом визите не просочилось в печать, но можно вообразить себе подобную встречу: ворчливая, чопорная старая леди в пышной и мрачной комнате, окруженная родственниками, такими же мрачными и значительными, как мебель в комнате, и молодая женщина, явившаяся лишь для того, чтобы унизить их всех, бледная, красивая, сияющая победной улыбкой и драгоценностями, тонкая и жесткая, словно хлыст. Остается только надеяться, что кто-нибудь из присутствующих, скажем молодые и бунтарски настроенные члены знаменитой семьи, сохранили некую объективность, описывая эту встречу в дневнике, который, возможно, в более либеральные дни увидит свет.

Перед той же дилеммой была поставлена сеньора де Пуеирредон, которая отказалась принять Эву. Эта сеньора умирала и желала, чтобы ее похоронили в часовне, рядом с мужем. Разрешение Папы было пожаловано, но Перон согласия не дал, и, когда семья решила проигнорировать этот факт и траурный кортеж тронулся в путь, полиция остановила процессию и заставила повернуть обратно.

Подобное мстительное преследование и за гробовой чертой можно объяснить только самой жестокой ненавистью, ненавистью, которая вызывала бы даже некое сочувствие, если бы не вела к таким ужасающим злодействам. Не требовалось знать Эву в дни ее юности, превзойти ее на сцене, родиться в более состоятельной семье, чтобы стать жертвой ее мстительности; достаточно, чтобы само существование кого бы то ни было расстроило ее планы. Когда старшая сестра Эвы Элиза овдовела, обнаружилось, что она не была официально замужем за сенатором и что он оставил законную вдову, которая имела все права на получение пенсии как лицо, зависевшее от него. Но поскольку Эва поспособствовала его избранию, видимо, она считала, что имеет некоторые права на его пенсию, и, чтобы не позволить деньгам уйти в руки к другой женщине, добилась того, что в порядке исключения пенсион вообще не назначили. Разумеется, сестра Эвы внакладе не осталась.

Теперь в Аргентине никто не был гарантирован от слежки и от угрозы шантажа, запугивания, избиения или ареста. У Перона имелась личная президентская разведывательная служба, его собственное подразделение полиции и еще matones – это слово значит «убийцы» – профессиональные головорезы, которых использовали для того, чтобы устраивать беспорядки во время политических митингов оппозиции, стращать и порой избивать тех, кто чересчур смело критиковал правительство: компания этих ребят одно время базировалась в Эмигрантском отделе в доках и каждому из них платили по шесть долларов в день. Вероятно, именно они ответственны за кресты, нарисованные красной краской на домах членов оппозиции перед выборами в 1951 году; под крестами красовалась буква «Г» и цифра – 1, 2 или 3, которые обозначали номер подразделения matones, в обязанности которого входило «позаботиться» о жильцах этого дома, если возникнут какие-либо «проблемы». Один из таких красовался на доме знаменитого социалиста доктора Альфредо Паласиоса, одного из наиболее уважаемых людей в Южной Америке, истинного либерала; ему было за семьдесят, и он жил с престарелой экономкой и мальчиком; но его почтенный возраст не уберег его от периодических арестов и угроз лишить жизни. Особый отдел полиции, о котором подробнее будет сказано ниже и одного упоминания которого хватало, чтобы portenos содрогнулись от страха или гнева, подчинялся непосредственно Эве и Перону. У Эвы имелись еще ее oyentes, «слушатели», и они были повсюду: официант, женщина, сидящая рядом с вами в кино, шофер такси, домохозяйка, парикмахерша – любой мог оказаться oyente. Они проникали в кабинеты и дома писателей, учителей, иностранцев, повсюду, где могло прозвучать хоть слово против Эвы, и несомненно не оставляли вниманием ее выдвиженцев и тех, кто считался ее доверенным лицом. Множеству бедных трудящихся женщин предлагали удвоить их жалованье только за то, что они будут сообщать об услышанных разговорах, и мало кто осмеливался отказаться. Молодая девушка-швея, с больной матерью на руках, пришла в приемную Эвы в поисках лучшей работы, и ей предложили восемь тысяч песо в месяц и автомобиль, если она будет ходить по ресторанам и кино и докладывать о том, что слышала; она не согласилась и потеряла и тот заработок, который имела. Учительницу, получившую подобное предложение и тоже отказавшуюся, отправили в крошечное пуэбло в центральном районе без всякой возможности оттуда выбраться. Ходили слухи, что кое-кто из не пожелавших сотрудничать исчезали на недели, возвращались с

обритыми головами и в страхе не хотели говорить о том, что с ними случилось; но большинство этих слухов имело некий «душок», словно их распускали, чтобы запугать остальных. Няня, долгие годы проработавшая в одной семье и любившая всем сердцем детей, которых она воспитывала, а многие аргентинские женщины нанимались работать только в дома, где были дети, однажды днем гуляла со своими подопечными на площади; там к ней подошла другая няня, которую она знала, и предложила ей хорошо заработать.

«Тебе придется лишь устроиться в дом, который внесен в черный список», – заявили ей.

«Что это за черный список?»

«Ну, у нас есть список семей, которые находятся под подозрением. Мы посылаем кого-нибудь в их дома, чтобы они нам докладывали, что там происходит», – пояснила женщина.

Притворившись, что предложение ее заинтересовало, кормилица попросила показать ей список. В нем оказалось имя сестры ее собственной хозяйки.

«О, – сказала она, – я думаю, что смогу устроиться на работу в этот дом».

«У нас там уже есть женщина. Она поступила туда на прошлой неделе».

Кормилица рассказала своей хозяйке об этом разговоре, и та в сильном волнении бросилась предупредить сестру и обнаружила, что все сказанное и в самом деле правда: неделей раньше та наняла новую горничную. Подстроив девушке несколько мелких ловушек, хозяева обнаружили, что их служанка шпионила за ними и просматривала все письма, которые они отправляли. Но поскольку работала она хорошо, а любая другая, кого бы они ни наняли, тоже могла оказаться oyente, девушку оставили в доме.

Молодой хозяйке парфюмерного магазинчика в одном из пригородов не так повезло. Она слишком громко шепталась с одним из своих покупателей, с презрением произнося имя Эвы. От прилавка напротив поднялась головка, украшенная волной перманента.

«Я доложу об этом!» – вскричала леди с красиво уложенной прической. На следующей неделе магазинчик был закрыт.

В 1949 году вышел закон, по которому любое недостаточно уважительное высказывание о президенте или правительстве наказывалось тюремным заключением, независимо от того, содержало ли оно правду или ложь. Перонистам не удавалось подавить не стихающую критику режима. В законе

использовалось слово desacato, которое лучше всего перевести как «непочтительность», и таким образом закон можно было применить практически к любому упоминанию режима, которое его не превозносило; в самом деле, даже молчание порой интерпретировалось как desacato – одного из скромных правительственных служащих, присягавшего новой конституции, обвинили в «недостатке энтузиазма». Этот закон распространялся не только на непочтительные высказывания в отношении Перона и его жены и на прочее, что наказывалось тремя годами тюрьмы, с невиданной широтой он подминал под себя и неодобрительные высказывания против другой великой тирании в истории Аргентины – кровавой тирании Мануэля Росаса, которую Перон всячески стремился обелить. В 1951 году двух юристов упрятали за решетку за то, что они без должного уважения говорили об этом человеке, которого большинство историков Южной Америки рисуют как самого жестокого тирана со времен Нерона и который в любом случае к этому времени был уже сотню лет как мертв!

Закон о desacato применялся с напыщенностью, которая часто провоцировала самые смехотворные ситуации, но его жертвам оказывалось не до смеха. В 1950 году проходили чествования освободителя Аргентины, генерала Сан-Мартина; в одну неделю пятьдесят аргентинских газет, не поместивших в своих передовицах соответствующих панегириков, простились со своими читателями. В тот год каждое учреждение считало своим долгом установить у себя бюст Сан-Мартина, точно так же как портреты Эвы и Перона, которые были обязательны везде, кроме частных домов. В пригороде Буэнос-Айреса располагался частный английский пансион для мальчиков, который вот уже пятьдесят лет соблюдал неукоснительно традиции английского образования на радость тем англо-аргентинцам, которые не могли себе позволить отправить своих отпрысков на учебу «домой». Поскольку бюст, положенный каждой школе, не был готов вовремя, на ее территории временно установили гипсовый бюст Сан-Мартина. В один из вечеров один из учеников, который еще слишком недавно прибыл из Англии для того, чтобы испытывать к гипсовой скульптуре должное уважение, возвращаясь из города с веселой вечеринки и увидев, что бюст мокнет под дождем, прихватил его с собой, чтобы отнести в укрытие, – во всяком случае, так он потом утверждал. К сожалению, на пороге своей комнаты он споткнулся и уронил бюст, который разбился на сотню кусков. Тогда он, вероятно, осознал, как непомерно велико его прегрешение, потому что тут же отправился к воспитателю и признался в содеянном. Школьное руководство ни секунды не сомневалось в серьезности его проступка, поскольку мальчика тут

же переправили на корабль, который на следующий день отбыл в Англию. Об этом вопиющем примере desacato немедленно стало известно полиции; разумеется, такое подозрительное учреждение, как английская частная школа, не могло обходиться без изрядного числа oyentes, которые тут же докладывали о любых непорядках. Школу тут же «взяли под надзор», другими словами, руководство ею узурпировали правительственные чиновники – вокруг расставили охрану, и посол Аргентины в Лондоне потребовал выдачи преступника. Вопрос обсуждался в палате общин, которая отказалась преследовать мальчишку. Тогда в Аргентине сочли, что лучше уладить проблему с помощью покаянной церемонии. Возможно, «инспектору» просто надоело иметь у себя на шее три сотни мальчишек. На церемонии присутствовали министры, конные гренадеры в полном обмундировании, делегации Генеральной конфедерации трудящихся и Национального института Сан-Мартина и военные самолеты. Можно себе представить, как радовались школьники. Перон говорил о случившемся с негодованием, как о «беспричинном и грязном поступке врага, втершегося нам в доверие, который думал лишь о том, чтобы сбежать, как трусы бегут после совершенного ими преступления!».

Глава 12

Для меня благотворительность и милосердие – лишь показные жесты богатства и власти для того, чтобы унизить униженных.

Э.П.

С того самого дня, как Эва заняла свой кабинет в Секретариате почт и телеграфа, график ее жизни стал столь плотным, что и женщина более крепкая физически и психически с трудом могла бы такое выдержать; когда Перон стал президентом и она переехала в здание Секретариата труда и социального обеспечения, количество дел стало возрастать в геометрической прогрессии, и это неизбежно должно было привести к срыву. Через Хосе Мария Фрейре, профсоюзного секретаря, и Хосе Эспехо, секретаря Генеральной конфедерации трудящихся, – оба были просто марионетками в ее руках – она держала под контролем всю деятельность профсоюзов; от Эктора Кампоры и прочих своих лакеев она ежедневно получала информацию о работе палаты депутатов и могла вмешиваться в ее дела. С помощью Мерканте, Додеро, Алое и прочих она руководила пропагандистскими кампаниями, для которых использовались все радиостанции и практически все газеты страны; раз в неделю она лично выступала по радио, у нее была ежедневная колонка в «Демократия», она практически каждый день произносила речи и читала «лекции» в перонистской школе. Вместе с Марандой, Марголио, Додеро и другими она участвовала в финансовых манипуляциях этого гигантского картеля; она организовала Перонистскую женскую партию и развернула борьбу за предоставление женщинам избирательного права; она плела интриги, чтобы отстранить от дел тех, кто, подобно Брамулье, сдерживал рост ее влияния; она принимала всех иностранных дипломатов, которые прибывали в ее страну, и настойчиво пыталась направлять их работу и плюс ко всему она руководила колоссальной частной благотворительной организацией, самой большой в мире, – Фондом Эвы Перон.

Она появлялась в своем кабинете в Секретариате труда по утрам и вечерам, дни были заполнены конференциями и банкетами, речами, посещениями школ и фабрик, часто далеко от города. Она не только перерабатывала по времени – зачастую ее рабочий день длился с восьми часов утра до полуночи, но и

уплотняла свой график до предела. Утром в резиденции два секретаря выслушивали ее распоряжения, пока одна служанка делала ей прическу, а другая доводила до безупречного состояния ее маникюр, а в приемной – с восьми утра или раньше – уже сидели доверенные посетители, жаждавшие поговорить с ней. Иногда, еще не окончив утренний туалет, она выскакивала в неглиже, чтобы поговорить с ними, а следом бежали служанки и секретари. За утренним кофе она давала интервью, обсуждала проблемы бизнеса и профсоюзного движения или политические вопросы, успевая заодно произвести впечатление на своих иностранных гостей, запросто предлагая налить и им чашечку. В десять или, может быть, чуть позже, поскольку, как и все южноамериканцы, находя для себя множество извинений, она неизменно опаздывала, она врывалась в свой офис в Секретариате труда, где множество просителей и целая армия секретарей уже поджидали ее, и тут она обычно принимала – по очереди – представителей профсоюза булочников, делегацию водителей такси из провинций, группу печатников из Кордовы, делегацию производителей мате[24] с севера, группу студентов, членов еврейской организации, президента и директоров фирмы, импортирующей автомобили, – всех за одно утро, – выливая на них потоки быстрой, захлебывающейся речи или слушая их с неожиданным спокойствием маленькой птички. Вечером она снова садилась за стол, три-четыре секретаря носились туда-сюда с ручками, блокнотами и бланками, а в приемной с незабываемым выражением полного раболепия сидели крестьянки с лицами цвета ореховой скорлупы и испуганными глазами, поблескивающими из-под выцветшей бахромы платков, держащие на руках любопытных кареглазых детишек, и их мужья, шаркающим шагом выступающие вперед в своих сандалиях с веревочными подошвами, вечно крутящие в узловатых руках черные шляпы, стремящиеся рассказать о нужде, голоде, болезнях и несправедливости, с безоговорочной верой в то, что Эва может решить все эти проблемы. И пока ежедневное количество бедняков не предстанет перед ее столом, Эва не отправлялась в другой кабинет, где парочка зарубежных послов, губернаторов провинции, жена депутата, банкир, священник и с дюжину других искали возможности перебросится с ней словом. Она двигалась от одной группы к другой, бросая словечко-другое, – и порой достаточно было только взгляда этих все замечающих и ничего не говорящих карих глаз.

Активность Эвы не ограничивалась только городом; когда возникала необходимость, она снималась и отправлялась в глубь страны на выборы сенатора или депутатов. «Нью-Йорк таймс»

обнародовала распорядок трех ее дней в 1950-м: в первый день она поехала в Росарио, в ста девяноста милях от столицы, произнесла три речи, поприсутствовала на открытии новой стройки – дома для железнодорожных рабочих – и уехала; на следующий день она полетела в Сан-Хуан, в семистах пятидесяти милях от Буэнос-Айреса, чтобы присутствовать на похоронах губернатора, а на третий день, как всегда, была в своем кабинете и выступила на митинге железнодорожных рабочих и митинге пивоваров, а под вечер уехала за семьсот миль в Тукуман.

Очевидно, даже если у Эвы и был большой опыт в решении профсоюзных проблем, финансовых делах и в обращении с иностранными дипломатами, у нее просто не хватало бы времени на то, чтобы серьезно заняться этими делами. Ее беседы с профсоюзными лидерами и бизнесменами часто ограничивались несколькими комплиментами и щелчком фотоаппарата. Возможно, она руководствовалась при этом опытом Перона – многие удивлялись, когда они находят время, чтобы поговорить, – но пускала в ход и свои собственные таланты: острый ум, схватывающий внешние детали, живую память, которая при одном только намеке услужливо предлагала ей все уместные ссылки; не теряя своего умения покорять мужчин, добавила к нему искусство очаровывать женщин. То, что она не понимала глубоко проблем, которые ей излагали, никоим образом не ограничивало ее влияния на профсоюзы, финансовые круги и дипломатию; она смотрела на все эти проблемы с точки зрения собственных интересов – она называла их интересами перонизма – и, когда вмешивалась в дела, действовала с такой же уверенностью, как если бы распоряжалась в собственном доме.

Однажды директора небольшой преуспевающей фирмы пришли к ней с жалобами, что их бизнес не может обеспечить возрастающие требования работников – а это было в то время, когда Эва заявляла, что любые требования людей труда должны удовлетворяться, – Эва прервала их и бросила в своей беспечной и одновременно повелительной манере: «Дайте мальчикам то, о чем они просят».

«Но мы не можем сделать этого, сеньора», – запротестовал один из бизнесменов.

«Ерунда! Дайте им все, чего они хотят».

«Но если мы сделаем это, сеньора, мы окажемся банкротами». И один из директоров попытался объяснить, что прибыль, которую дает бизнес, не может покрыть такое повышение зарплаты.

Эва хмуро поинтересовалась, каков будет предполагаемый дефицит.

«Предоставьте это мне, – уверенно произнесла она, когда ей сообщили сумму. – Увидите, они получат эту прибавку. Я все устрою».

Компания повысила своим работникам зарплату – а что еще оставалось, но видя, что ничего не сделано для того, чтобы возместить их потери, директора опять пришли в кабинет Эвы и стали жаловаться.

«Вы что, не знаете, что я никогда не забываю своих обещаний? – негодующе вскричала Эва. – Вы сказали, что дефицит составит сто тысяч песо в месяц? Вот указание Центральному банку. Они возместят вам ущерб».

С этого дня дефицит восполнялся из средств Центрального банка, вероятно из фондов ИАПИ, – правду сказать, не слишком ортодоксальный путь предоставления государственных субсидий.

Нет сомнений, что Эва посвящала большую часть своих забот беднякам, но обращалась с ними столь же повелительно, как и с бизнесменами и профсоюзными боссами, которые являлись к ней в надежде снискать ее благосклонность. Она не жалела для бедных ни сил, ни времени; слушая об их бедах, она склоняла к ним свою красивую, безупречно причесанную головку и позволяла пожимать свою руку и покрывать ее слезами и поцелуями. Пропагандисты использовали этот факт в качестве очевидного доказательства ее сочувствия; враги видели здесь макиавеллиевскую хитрость. Но, скорее всего, ее жажда признания и похвал никогда не находила удовлетворения; а от бедняков она, по крайней мере, могла ожидать искренности.

Объекты благотворительности Эва выбирала наугад из десятков тысяч людей, которые обращались за помощью и писали письма. В стране не существовало системы центров социальной помощи, которые могли бы решить проблему на месте; беднякам приходилось писать Эве лично, и притом, что они могли получить все и даже больше того, о чем просили, не было никаких гарантий, что они вообще получат хоть что-нибудь. Пожертвования, которые их вынуждали делать, не обеспечивали им внимания, и Эвина «социальная справедливость» по своей системе ничем не отличалась от лотереи. Тех, кто добирался до офиса Эвы, принимали с расточительной щедростью, которая, похоже, диктовалась скорее потребностями хозяйки, нежели нуждами посетителей; под пресс-папье у нее всегда лежала пачка денег в пятьдесят или тысячу песо, и она распоряжалась ими свободно, словно талонами на благотворительный обед; она покупала новую одежду, постельное белье, мебель, в некоторых случаях – новые дома и, с полной убежденностью в собственной непогрешимости, раздавала стрептомицин и прочие лекарства, не

спрашивая никаких медицинских советов.

Беременной женщине, которая пришла к ней с печальным рассказом о муже-пьянице и четверых детишках, которых нужно кормить, Эва дала чек на сотню песо и приказала своему секретарю позвонить в больницу и устроить, чтобы женщину поместили туда незамедлительно. В больнице ответили, что у них заняты все кровати и до вечера следующего дня у них не будет мест.

«Пусть не валяют дурака! – вскричала Эва. – Ребенок ждать не будет. Скажите им, чтобы немедленно выслали машину».

Санитарная машина приехала, но действительно ли женщина нуждалась в немедленной госпитализации и какого пациента пришлось выписать для того, чтобы угодить Эве, теперь не представляется возможным выяснить.

Она была готова заставить любого и каждого сотрудничать с ней в осуществлении того, что, как она настаивала, являлось не благотворительностью, но социальной справедливостью. Один из директоров кинокомпании в недобрый час проходил мимо ее офиса, когда она занималась судьбой безработного вдовца с шестью детьми.

«Подойдите сюда, – прокричала она ему. – Вы – как раз тот, кто мне нужен. Вы дадите этому человеку работу».

Приведенный в полное замешательство директор с сомнением прочитал карточку с послужным списком.

«Но, сеньора, – сказал он, – он не сможет работать в кинопроизводстве. Я не знаю, что я мог бы ему предложить».

«У вас есть estancia, не так ли? Дайте ему работу в estancia».

«Ну, хорошо, – согласился бизнесмен. – Это я, наверное, могу сделать».

«Тогда напишите распоряжение своему мажордому, чтобы он его принял, – потребовала Эва со своей обычной напористостью. – И поскольку у него шестеро детей, ему потребуется дом. Пусть ваш мажордом предоставит ему дом».

«Как скажете, сеньора, – отозвался несчастный, жизнь которого полностью зависела от ее благоволения. – Дом будет».

Удивительно, что она не приказала еще и найти этому вдовцу жену!

Нет свидетельств того, что Эва и дальше присматривала за кем-то из своих просителей, удостоверившись в незамедлительном исполнении своих приказов, она уже не интересовалась, как они устраиваются, выйдя из больницы, и справляются ли они с предоставленной им работой и отвечает ли дом их нуждам.

С севера, из Сантьяго дель Эстеро, она привезла в Буэнос-

Айрес сотню детей, забрав их из лачуг, где они становились жертвами кровосмешения и жестокости; она одела их в новые наряды, разместила их в первоклассном отеле, кормила их мороженым и бифштексами, водила в кино и возила по городу в шарабанах, а потом, через пару недель, отправила по домам – обратно в лачуги. В другой раз напригласила шестьсот детей из Тукумана, из которых, вероятно, ни один не спал на простынях, поместила их в фешенебельном отеле в Мар дель Плата, аргентинском Монте-Карло, а после этих каникул, которые продлились месяц, отослала их домой. Социальная справедливость, которую она провозглашала, была столь же автократической, как и любая благотворительность олигархов.

Метаморфоза, которая превратила Эву Дуарте, напавшую на золотую жилу, в благотворительницу Эву Перон, была, вероятно, самой странной гранью ее удивительной карьеры. Когда Эва в 1951 году писала о своей программе помощи неимущим, она объясняла, что та сама собою выросла из ее желания установить близкий контакт между президентом и народом, что с тех пор, как Перон стал слишком занят для того, чтобы уделять внимание миллионам мелких, но насущных проблем, она посвятила себя тому, чтобы служить неким связующим звеном между народом и своим мужем, и именно для этих целей обустроила себе кабинет в Секретариате труда и социального обеспечения. Она говорила, что является не более чем скромным посредником. Печали и беды, которые предстали ее глазам, – так было и так остается и сейчас, что в этой богатой земле существует нищета, которая исторгнет сострадание даже из самых стойких сердец! – убедили ее искать незамедлительное решение проблемы бедности, и она предприняла поездку в Европу с мыслью о том, чтобы выяснить, как эта проблема решается там. Как уже было сказано раньше, она нашла время посетить дома призрения, школы и тому подобные заведения в Испании, а в Париже запечатлела горячий поцелуй на лбу каждого из маленьких сироток, которые пришли к отелю «Ритц» приветствовать ее. В своей книге Эва огульно охаивает европейскую социальную помощь как бюрократическую, скупую и холодную. Она утверждала, что Фонд Эвы Перон – это дело любви, его политика следует зову сердца и исходит из принципа, что бедняки достойны самого лучшего. Она утверждала, что труженики этого поколения должны получить компенсацию за страдания их отцов и дедов – теория справедливости, которая, если довести ее до логического конца, могла бы отправить большую часть из них за решетку. Согласно робин-гудовской доктрине Эвы, богатые, конечно, если это не

богатые перонисты, вполне заслужили, чтобы у них отобрали их богатство, а бедные вправе рассчитывать не только на удовлетворение их нужд, но и на роскошь. И поскольку даже она не могла создать этой роскоши или даже самого скромного комфорта в каждом ranchito[25] в стране, она обставляла свои общежития и приюты мебелью, которой место скорее во дворце. Какие впечатления это могло произвести на крестьянку или обитательницу пуэбло, которая некоторое время проживала здесь, а затем должна была вновь вернуться в свое palacio с земельным полом, и не были ли ее ощущения в чем-то сродни ощущениям юной кухарки, на мгновение заглянувшей в салон олигарха, Эва, похоже, не задумывалась. Так же как не задумывалась и над тем, что ее простодушные гости, возможно, предпочли бы удобное старое кресло-качалку красивым обитым стульям в стиле Людовика XV, которые она ставила в их комнаты. Во многих случаях Эва обеспечивала нуждающихся одеждой, едой и медицинской помощью, нередко она помогала им осуществить свои мечты – о маленьком домике, игрушках, праздниках; но она тратила деньги – деньги, которые, если распределить их разумно, могли бы и правда принести некое благополучие в каждую лачугу, на воплощение своих циклопических фантазий, которые по большей части служили лишь для удовлетворения ее собственной потребности в славе.

Уже было сказано о том, что интерес Эвы к социальной работе вырос из ее желания утереть нос леди из Общества благодетельниц и что Фонд Эвы Перон был не чем иным, как громадным агентством по саморекламе. И то и другое отчасти правда. Но противоречивость ее действий, вероятно, в большей степени, чем это обычно понимают, возникала из того, что она идентифицировала себя с бедняками. Негодование против социальной несправедливости, о котором она так много говорила, не было выдумкой, потому что она никогда не оправилась от горечи собственного детства. Один случай из ее театральных времен показывает, какой гнев она испытывала при виде чужих унижений, каким с легкостью могла бы подвергнуться и сама. Когда она работала на радио «Эль Мундо», несколько хорошо оплачиваемых актеров стали подтрунивать над бедной служащей из-за ее поношенного и немодного платья. Услышав их, Эва немедленно пришла в ярость, заявив им, что женщина, над которой они насмехались, намного элегантнее всех их, вместе взятых. Наверное, великое множество раз она чувствовала себя смешной оттого, что ее одежда тоже была старой и немодной. Эва хвастала, что ее социальная помощь исходит «от сердца»; но правильнее сказать, что она руководствовалась своими эмоциями.

Вскоре в кабинете Эвы скопилось огромное количество прошений, управиться с которыми было немыслимо, – она получала по восемь, десять и даже пятнадцать тысяч писем в день, – и возникла необходимость сформировать организацию, которая бы ими занималась. Именно так был задуман и образован Фонд Эвы Перон, средства которого использовались для постройки школ, общежитий и больниц, и все – с невероятным размахом. Наверное, самым претенциозным из этих сооружений был детский сад в Белграно, северном пригороде столицы, поражавший не столько размером, сколько причудливым замыслом.

Здесь, как и во всех учреждениях фонда, потенциальный посетитель должен был сначала обратиться за разрешением, затем назначалась дата визита, персонал заведения получал необходимую информацию, а к гостю приставляли специального сопровождающего. В воротах его ожидали дальнейшие формальности, разрешение проверялось, директрису информировали по телефону, и сопровождающий и охрана шепотом обменивались фразами. Выкрашенные белым ворота и стена детского сада могли скрывать за собой скорее тюрьму, нежели детское учреждение, так хорошо его охраняли. Но внутри визитера встречали со всей возможной вежливостью, его поощряли совать свой нос в любые закоулки и заглядывать в баки в прачечной, тогда как директриса, миловидная, оживленная молодая женщина, захлебывалась от восторга. «Сеньора хочет лишь, чтобы детям дали все самое лучшее. Дети должны узнать, какой прекрасной может быть жизнь. В новой Аргентине, Аргентине Перона, единственный привилегированный класс – это дети. Здесь живет около трехсот детей. Другие приходят на день. Мы принимаем детей от двух до семи лет. Это дети из самых бедных семей. И только по одному из каждой семьи, чтобы добро, которое делает сеньора, затронуло как можно больше людей». – «И ее пропаганда тоже», – добавлял посетитель, принужденно улыбаясь и восклицая, пока его водили из одной очаровательно обставленной комнаты в другую. И несмотря на веселые росписи на светлых стенах и безупречную чистоту повсюду, в душе его начинало расти чувство, что чего-то здесь сильно не хватает. Разумеется, в первой же комнате дюжина или около того малышей, все ухоженные и хорошенькие и выглядящие чересчур упитанными для детей из «самых бедных семей», играли под зорким взглядом воспитательницы и няни в форменной одежде; но во второй комнате, где дети постарше, по большей части пятилетки, как один вскакивали со своих маленьких стульчиков из-за маленьких столиков, чтобы вместе со своей

воспитательницей и няней приветствовать гостя, и пели нестройным хором об Эвите и о счастье, там были куклы и игрушки, достаточно дорогие для того, чтобы им позавидовал любой маленький олигарх, они стояли в шкафах, а на столах, где сидели дети, не валялось ни одного кубика или книжки, ни карандаша, ни обрывка бумаги или хоть какой-нибудь игрушки. Доска, расположенная за спиной хорошо одетой воспитательницы и накрахмаленной няни, была чиста – ни рисунков, ни надписей, на столе перед ними ни книг, ни карандашей. Что эти ребятишки делали до того, как открылась дверь: сидели вокруг своих очаровательных столиков в белых передничках, ожидая момента, чтобы, подобно заводным куклам, вскочить, поприветствовать вошедшего и прощебетать свою песенку?

Снаружи, в крытом патио, где воды плавательного бассейна переливались зеленью на ярком солнце, чопорно взявшись за руки, парами вышагивала другая группка и еще одна стояла смирно рядком у стены, ожидая какого-то распоряжения от воспитательницы. Маленький мальчик неожиданно разразился негодующим ревом, и директриса мгновенно обернулась, словно хлыстом ударила. «Посмотрите, что с ним случилось, – сказала она одной из воспитательниц, а затем, извиняясь, улыбнулась посетителю и добавила: – Некоторые из них плачут, когда впервые приходят сюда».

Странное беспокойное чувство в груди посетителя только усилилось, когда ему показали зал, где низенькие стульчики стояли вокруг низеньких столиков и вмещали около тысячи малолетних зрителей, тогда как сцена, как мог предположить посетитель, предназначалась для одного-единственного взрослого. На каждом столе, вокруг которого располагалось восемь – десять стульчиков, сидела изысканно одетая кукла, которая казалась бы уместнее в будуаре, нежели в детском саду, и которую никогда – это было очевидно – не трогал ни один ребенок. По стенам столовой были развешаны плакаты с милыми детскими стишками; окна спален закрывали шторы, кровати были застелены покрывалами, на полу лежали ковры, а в шкафчиках висели прелестные наряды из муслина и вельвета. Пресыщенный зрелищем этой чрезмерной элегантности, посетитель уже страстно желал услышать крики по поводу поломанной куклы или увидеть на ковре заплату из грубой ткани. Но, говорят, сеньора любит во всем образцовый порядок.

Кухни – а здесь все было открыто взгляду незнакомца – выглядели настолько безупречно, что просто не верилось, что здесь, непосредственно сейчас, готовят еду для трехсот или более детей и их воспитателей. Тут не было еды даже для тех

восьмидесяти или сотни детей, которых он видел своими глазами, не говоря уже о двух сотнях остальных, которые, как предполагалось, посещали детский сад; и почти с облегчением посетитель начинал думать, что слухи, которые до него доходили о том, что здесь вообще не живет никаких детей и никто сюда не приходит, кроме тех случаев, когда нужно произвести впечатление на гостя, скорее всего, правда.

Но еще оставалось посмотреть на самую необычную часть этого детского царства. Во дворе размещался миниатюрный городок, восемь – десять оштукатуренных зданий с красными черепичными крышами, школа, церковь, ратуша, рынок, бензозаправка, улицы, фонари, река, мост, площадь – все подходящего размера. Домики, выстроенные весьма прочно, были достаточно велики, чтобы взрослый человек, пригнувшись, мог войти. Внутренность их полностью воспроизводила интерьер дома с крошечными кафельными ванными комнатами, занавесками в оборках, покрывалами на кроватях, отполированной мебелью, с лампами, коврами и всем прочим. В магазинах на маленькой рыночной площади лежали крохотные пакетики с продуктами и кукольной одеждой, в банке лежали бланки депозитов, на почте – бланки телеграмм – все как настоящее. Правда, у бензозаправки не стояли автомобили, но их, как объяснила директриса, пришлось убрать, потому что дети стали бы играть с ними. В ратуше имелись две зарешеченные камеры.

У здания детского сада и игрушечного городка было нечто общее. В настоящих спальнях или в игрушечных, в классных комнатах или в миниатюрной школе, в патио или на газонах вокруг маленьких домиков – все выглядело с иголочки: на полированной мебели – ни царапины, на ножках стульев и столов – никаких отпечатков детских беспокойных ног; прелестная лепнина всюду цела; ни на одной игрушке не заметно следов починки; газон не примят, и все покрывала лежат идеально ровно – нигде посетитель не мог увидеть и признака того, что этим пользовались дети. Но везде, в каждой спальне – настоящей или кукольной, в классах – больших или маленьких, в столовых, в коридорах, в холле и практически на каждой стене в каждой комнате красовались портреты Эвы и Перона. И казалось почти странным, что их изображений не обнаружилось в алтаре маленькой церкви, поскольку над кроватями они занимали как раз то место, где полагалось быть изображениям Святой Девы и распятия.

Кроме этого, были и другие признаки, подтверждавшие слухи о том, что детский сад не предназначался для повседневного

пользования. Судя по всему, директриса не знала никого из детей по имени и, без сомнения, не знала по имени того мальчика, который ревел, и когда у нее спрашивали, сколько молока они закупают в день, отвечала с легкостью: «О, большое количество. Дети выпивают в день литры и литры молока!» – хотя, даже если бы она и позабыла такую деталь, рядом стояла кухарка, которая могла дать определенный ответ.

Яркое солнце Аргентины сияло с ослепительных небес, белые стены маленьких оштукатуренных домов сверкали, а зеленые газоны вокруг них были гладкими, словно их никогда не касалась нога ребенка, и маленькие, хорошо вымуштрованные дети послушно шагали парами, взявшись за руки, с няней, возглавлявшей группу и с воспитательницей, замыкающей шествие, но снаружи, на загаженных улицах, дети играли прямо в грязи, очевидно ничуть не завидуя этим маленьким домикам и хорошенькой речке, впадающей в озеро.

Детский сад был одним из сказочных творений – и Эва справедливо настаивала, что к ним не применимо скучное слово «учреждение», – которые появились в Буэнос-Айресе и вокруг него: безумно дорогие и усиленно рекламировавшиеся. Если бы какая-нибудь маленькая девочка, не наделенная воображением Уолта Диснея, получила в руки волшебную палочку, плоды ее трудов едва ли оказались бы более причудливыми или менее связанными с реальностью, чем растущие, словно грибы после дождя, фантазии, созданные Фондом Эвы Перон.

Странноприимный дом для женщин располагался в здании довольно большого и весьма роскошного частного пансиона. Зала – иначе не скажешь – была вычурно и богато обставлена в мрачном испанском стиле. Монахиня, которая сопровождала гостя, переходила на шепот, говоря о сеньоре и ее великой щедрости к бедным, о благословении ее милосердия, которое распространяется до самых дальних уголков страны, о великодушии ее сердца, которое позволяет ей принимать в больницы и приюты людей любой национальности и убеждений – даже антиперонистов, добавляла монахиня с усмешкой. Посетитель воздерживался от комментариев – скорее из благоразумия, нежели из такта, не упоминая о том, что даже в Соединенных Штатах республиканцам не отказывают в социальном вспомоществовании на время правления демократов.

«Сеньора – ангел милосердия. Она проливает свою благодать на всех», – восторженно продолжала монашка, так что посетитель, стоя на пороге церкви, чья сравнительная строгость давала отдых глазам, начинал подумывать, что доброе создание, вероятно, принимает леди в голубой норке за другую леди – в синем плаще.

«Сеньора очень аккуратна, – продолжала она, и теперь уже не было сомнений в том, кого она имела в виду. – Все должно быть в идеальном порядке. Если она приходит неожиданно и обнаруживает, что что-нибудь не на месте, она очень огорчается». И с гордостью она показывала спальни, плотно закрытые ставнями, чтобы солнечные лучи не попортили богатый ковер. На аккуратно застеленных кроватях – ни дать ни взять в первоклассном отеле – лежало чистое белье, и монашка, с трудом открыв дверцы массивного гардероба, показала – нет, не вещи какойлибо женщины, занимающей комнату, но девственно чистые кипы шерстяных одеял, которые, похоже, ни разу не использовались по назначению.

«В это время дня большинство постоялиц в городе, – объясняла она, поскольку все комнаты оказывались пусты. – Они ищут работу, навещают родственников или ходят в больницу. Большая часть приезжает сюда из провинции на лечение. Ах, если бы не доброта сеньоры…»

Из громкоговорителя, висевшего на стене, властный голос объявил через все пустые комнаты, что сеньоры Лопес, Мендес и Родригес должны сейчас же явиться с докладом в офис.

А монахиня повела посетителя и сопровождающего, который ни на секунду не упускал гостя из виду, в кладовые, где лежали нераспечатанные пакеты продуктов, аккуратно уложенные в причудливые пирамиды, словно в витринах дорогих магазинов на Калье Флорида, откуда они и были доставлены. В шкафах с выдвижными ящиками каждый следующий был выдвинут чуть дальше предыдущего, чтобы посетитель сразу заметил свитера, юбки, шали, обувь, игрушки и медикаменты, которые там находились; и если из них когда-нибудь что-нибудь брали, значит, их содержимое в тот же миг восстанавливали. В кухнях полдюжины мужчин, как можно было предположить – работники в этом царстве женщин, со здоровым аппетитом поглощали кушанья, которые подавали две полные кухарки. Эта сцена служила живым напоминанием о днях олигархии, когда практически в каждой уютной и богатой кухне болтались один-два родственника кухарки или служанок, которые без тени смущения признавались, что вовсе не живут в этом доме. Но если постоялиц не удавалось отыскать в комнатах или в столовой, где на каждом столе стояла ваза с цветами, то в залитом солнцем патио позади здания играли дети, вероятно, дети тех женщин, которые проходили лечение в больнице. Они качались на ярко раскрашенных качелях под неотступным надзором монахинь, а полдюжины женщин неподвижно сидели вокруг и достаточно мрачно взирали на эту картину. Позади здания на заднем дворе,

который в прежние времена являлся царством служанок и прачек, несколько женщин стирали и гладили свою одежду: поношенное нижнее белье, висевшее на веревке, вполне уместно было бы заменить на новое – из полуоткрытых ящиков на первом этаже. В крошечной комнатке, без окон, которая, без сомнения, в прошлом предназначалась для шитья или служила спальней служанке, теперь располагался лазарет, и четверо детишек неподвижно сидели на своих несмятых постелях – без единой игрушки или книжки и без признаков здорового возмущения против своей участи.

В более радостных и современных спальнях общежития для работающих девушек тоже не замечалось никаких признаков того, что в них кто-то действительно живет.

Но зато – как и в странноприимном доме – в каждой комнате висели неизменные два портрета, притом, что нигде не было видно фотографий родных, или школьных друзей, или любимых домашних животных, которыми любят украшать свои комнаты одинокие девушки. Над каждой кроватью в общежитии висело радио; но посетитель не мог бы отыскать ни корзинок для шитья, ни киножурналов, ни шерстяной пряжи для вязания или украшений из дешевых магазинчиков; и если над кроватками детей в детском саду и женщин постарше в странноприимном доме портреты занимали место Девы и распятия, то здесь они красовались на стенах вместо портретов кинозвезд.

Похоже, именно при осмотре этого общежития, построенного якобы для девушек, которые так же, как Эва, приехали в город, чтобы изменить свою жизнь, хотя и более общепринятым способом, становилось понятно, как много из того, что делала Эва, являлось извращенным плодом ее собственных детских мечтаний и как мало они имели общего с практическими нуждами жизни. Зала, и снова это слово кажется единственным, верно отражающим сущность, поскольку «гостиная» видится проще и уютнее, в которой по замыслу молодым работницам следовало собираться на праздники, могла бы с тем же успехом служить приемной в самом Каса Росада. Она освещалась восемью или девятью люстрами из прозрачного хрусталя; великолепный рояль в стиле короля Эдварда покрывала накидка с изысканной вышивкой, музейная редкость, подаренная Эве в Испании; стулья в стиле Людовика XV были обиты светлой парчой, без единого пятнышка; на каминной полке и на столах красовались дрезденские статуэтки, а в углах стояли массивные урны из сервского фарфора. В противоположных концах залы располагались большие – во всю стену – живописные портреты: один – Эвы и другой – Перона; на портрете она выглядела

чересчур театральной и, казалось, плыла, а не жила на фоне неопределенного романтического пейзажа, словно этот портрет был написан во времена Габсбургов.

Еще более необычным, чем зала, было крыло общежития, превращенное в миниатюрную, но точную копию Калье Флорида с тротуарами, уличными фонарями и полудюжиной магазинов, где, как объясняли посетителю, девушки могли делать покупки. Никто не объяснял гостю, как девушки-работницы будут покупать одежду и косметику и делать себе перманент в этих заведениях, которые являлись филиалами самых дорогих магазинов в городе; но вполне возможно, Эва настояла, чтобы магазины продавали здесь свои товары себе в убыток или, во всяком случае, без всякой прибыли. Однако поскольку общежитие располагалось в самом центре торгового квартала, где до последнего времени можно было найти все по умеренным ценам, и к тому же сама Калье Флорида лежала в трех минутах ходьбы, было трудно понять, каким практическим целям служит эта экстравагантная выдумка, кроме того, что она умиротворяла мятущийся дух Эвы, которая пятнадцать лет назад прогуливалась по фешенебельной улице и с завистью глядела в витрины.

К общежитию примыкал ресторан для рабочих, и он, во всяком случае, служил полезным целям: по большей части он обслуживал конторских служащих, поскольку каменщик, например, и его родня, по традиции, брали с собой кусок мяса, лук, ломоть хлеба и немного вина и сами готовили себе еду на временном очаге, что, конечно, было небезопасно, учитывая их работу; а лук, разумеется, съедался сырым. Но в ресторане общежития девушка-продавщица или клерк могли купить обед из четырех блюд примерно на двадцать центов; в меню входило мясо, а к недостатку фруктов и овощей не особенно придирались, поскольку так было везде, хотя всего несколько лет назад мандарины продавали на улице по цене пять центов за дюжину, а овощи для супа шли по центу за кучку. Этот ресторан никогда не пустовал, в нем царили шум и веселье; но в другой, тоже располагавшийся на территории общежития, почти никто не заглядывал: в нем подавали еду для эпикурейцев, а цены были по карману разве что миллионерам – именно здесь Эва время от времени устраивала вечера перонистских должностных лиц; и объяснения, что прибыль от этого заведения идет на поддержание более популярного соседнего, не сглаживали разительного несоответствия.

Гордостью фонда являлась большая новая больница, выстроенная в Авелланеде, невероятно бедном южном пригороде

Буэнос-Айреса, – клиника президента Перона. Она строилась с расчетом на шесть сотен больных и открылась в феврале 1951-го, но к середине года в ее пустынных палатах насчитывалось всего три-четыре пациентки, несколько человек в травматологии и группка людей, ожидающих в очереди к дантисту, который, поскольку это было время вечернего чая, курил и варил себе кофе в старой эмалированной кастрюле, которая выглядела очень старой и чересчур домашней среди сверкающей отточенной стали. Санитарка и медсестра – как они представились, – которые водили посетителей по поликлинике, не носили белых халатов и, честно говоря, выглядели не слишком чисто и опрятно, а грубое безразличное лицо санитарки и навязчивая решимость, с которой она вела посетителей по каждой лестнице в каждый холл, неотвратимо напоминала тюремных надзирательниц из романов Диккенса. Достойная пера Кафки неуютная, тягостная атмосфера еще больше сгустилась при появлении странной молодой женщины, с головы до ног одетой в черное, которая вертелась вокруг медсестры, как ждущий приказаний дух, время от времени ненадолго исчезая за боковой дверью, чтобы секундой позже появиться впереди, широко распахивая створки, чтобы посетители могли обследовать следующее крыло, где несколько медсестер, тяжело дыша от непонятного волнения, стояли, словно часовые, в дверях пустых палат. Только в одном месте двери открылись чересчур рано, и посетители увидели медсестер, расстилающих по полу скатанные в рулон ковры.

И здесь снова была роскошь без практического применения: очаровательные покрывала, лампы у кроватей, ковры, но высота кроватей не регулировалась, чтобы обеспечить больному максимально удобное положение, и нигде не обнаруживалось ни единого судна. Здесь имелись детские кроватки для грудничков с крахмальными муслиновыми оборками, сатиновыми бантами и пуховыми подушками, но без клеенки, подстеленной под простыню. В операционной с амфитеатром для студентов стояли великолепные операционные столы, спроектированные аргентинским хирургом доктором Фино-чиетто, брат которого руководил клиникой и, судя по маленьким меткам, пришитым к каждому предмету, разработал также резиновые перчатки, маски и все наличествующее оборудование вплоть до мелочей. Среди всего этого мрамора, стекла и сверкающей стали, кроме двух неизбежных портретов, висевших на стенах, единственным предметом, похоже использовавшимся тут по назначению, были обычные проволочные мухобойки.

В клинике глаза пациента тоже постоянно натыкались на портреты; они висели на каждой стене каждой палаты; они

смотрели на родильный стол; и на мраморных стенах коридоров – при строительстве применялось семь видов мрамора – были выбиты высказывания Перона: «Лучше дело, чем слово!» и «Для одного перониста нет ничего лучше, чем другой перонист».

Наряду с кабинетами врачей, которым позавидовали бы многие доктора с Парк-авеню, имелась также и приемная, которую держали для Эвы. Несмотря на огромный письменный стол с портретом Перона, это помещение со стенами, задрапированными серым бархатом, и полками, уставленными роскошными книгами по искусству, никак не могло сойти за кабинет. Оно походило на будуар из какого-нибудь голливудского фильма и, казалось, открывало тайну зал в странноприимном доме, общежитии для работающих девушек и в детском саду, где будуарные куклы украшали столы. Эта комната обставлялась не для детей, или женщин, или девушек, ее готовили для посещений Эвы; и не для детей, и не для девушек строились те игрушечные домики и миниатюрные улочки, они предназначались той девочке и девушке, которыми Эва никогда уже не могла бы стать. Эти игрушки должны были возместить ей то, чего она не имела в детстве и юности, и, как и прочие эгоистичные маленькие девочки, она не хотела, чтобы с ними играли другие. Ей больше нравилось содержать их всегда в превосходном порядке – такими, какими она их оставляла.

Глава 13

И в этом мы также должны отделить себя от олигархии. Они обрели богатство и власть, разрушая и калеча жизни других. Мы не должны быть похожи на них.

Э.П.

Говорили, что Фонд Эвы Перон распоряжался доходом более чем в пятьдесят миллионов долларов в год; по другим слухам, его доход равнялся третьей части национального бюджета Аргентины или даже всему национальному бюджету четырехлетней давности, когда, с капиталом менее чем три тысячи долларов, Фонд был учрежден. Эти цифры – очень приблизительные, поскольку никаких отчетов о том, какие суммы собраны или как тратятся деньги, общественности не предоставлялось; в действительности не похоже, чтобы детальные сведения такого рода были доступны и самой Эве или Рамону Серейхо, министру финансов и, формально, распорядителю фонда, поскольку Эва содержала армию бухгалтеров, чтобы они занимались ее неуемными тратами, и никакое официальное расследование не могло бы прояснить, сколько денег было присвоено, а это наверняка происходило здесь так же, как и в федеральном правительстве. Несомненно лишь то, что реальный доход не соответствовал ни ресурсам подписчиков, ни осуществляемым программам, какими бы грандиозными они ни казались, и что под абсолютным контролем Эвы Перон фонд сделал ее самой богатой и самой могущественной женщиной в обеих Америках, если не в мире.

Источники этих огромных поступлений не составляют тайны, ведь во всей Аргентине не было человека, исключая совершенно неимущих, который бы не внес в него свой вклад. Бизнесмены, домохозяйки, художники, стенографистки, дети, иностранные дипломаты, правительственные служащие, все – от олигархов, потерявших при экспроприации поместья стоимостью в миллионы долларов, до прислуги, которая отдавала в свой общественный клуб полдоллара, – платили Эве Перон. Ни один институт, фирма, союз или общество не избежали этой участи; Эва собрала свою дань с театров и киностудий, с тотализатора, рулетки и с домов свиданий.

Какими бы причинами ни вызывался первоначально интерес

Эвы к социальному вспомоществованию – жаждой ли мести или ощущением своего родства с бедняками, она, без сомнения, увидела возможности, которые предлагала ей подобная организация: приобретение власти и богатства и использование их на все сто процентов. Она была грабителем с большой дороги, но ее положение частного лица создавало определенные неудобства: оно не позволяло ей от собственного имени приказать большим фирмам взять и отдать ей нажитое; но Фонд Эвы Перон узаконивал ее претензии, и ничто теперь не ограничивало ее аппетиты. Именем социальной справедливости она могла требовать что угодно и при случае демонстрировала на наглядном примере, таком, как кондитерская фабрика «Му-Му», что бывает с фирмами, которые достаточно опрометчиво отвергли ее притязания.

Название «Му-Му» было так же знакомо ребятишкам Буэнос-Айреса, как «Херши» – нью-йоркским детям, еще малышами они вонзали зубы в ириски «Му-Му», а школьниками тайно протаскивали карамель «Му-Му» в класс. Хозяева кондитерской фабрики «Му-Му» получили предложение безвозмездно отгрузить фонду сто тысяч пакетов конфет. Они ответили, что были бы рады поставить их по себестоимости. Эва заявила, что этого недостаточно. И поскольку они продолжали отказываться, на фабрике появился правительственный инспектор; он заключил, что в цехах царит антисанитария, и доложил, что в карамельном сиропе обнаружил крысиную шерсть. Газета Эвы устроила скандал. Фабрику закрыли, владельцы разорились, а их собственность перешла к Фонду Эвы Перон. Понятно, что остальные фирмы проявили большую склонность к сотрудничеству. «Альпаргатас» – хорошо известную аргентинскую фирму, которая производила домашние туфли на веревочной подошве с парусиновым верхом, которые носило большинство деревенских жителей, – попросили сделать взнос в фонд. Они выслали десять тысяч песо – это около двух тысяч пятисот долларов. Эве сумма показалась смехотворной, и она отправила ее назад. Тогда они выслали сто тысяч песо, и Эва вежливо ответила, что предпочла бы получить пустой бланк чека.

Директора настаивали, чтобы им позволили выплатить фиксированную сумму. Она ответила, что ее устроил бы миллион песо, на что они волей-неволей вынуждены были согласиться.

Бизнес терпел крах не только из-за отказов вносить свою долю в фонд; налагаемые – законно или нет – штрафы почти полностью поступали туда. Тяжба наследников поместья Бемберга тянулась с 1932 года, когда умер старый Бемберг, владевший фирмами в половине стран мира. Семья Бемберг, не

желавшая платить даже более разумного налога во времена режимов Ортиса и Кастильо, теперь обнаружила, что обязана уплатить штраф в семьсот пятьдесят миллионов песо. Такой штраф, присуждавшийся за неуплаченный или уплаченный не полностью налог на наследство, по закону передавался министерству образования, но в данном случае Фонд Эвы Перон присвоил эту сумму.

Фонд давал Эве достаточно возможностей лично отомстить олигархам, чьи владения она имела право экспроприировать для нужд своей организации. Поместье Перейры Ираоласа, в двадцать пять тысяч акров, лежащее по дороге из Буэнос-Айреса к модному пляжному местечку Мар дель Плата и настолько же ценное, как и владение вблизи города, было экспроприировано фондом для дома престарелых. Перейре Ираоласу предложили девятнадцать миллионов песо, что в то время в связи с девальвацией песо составляло около двух миллионов долларов – меньше, чем цена одних только великолепных зданий поместья, и лишь десятая часть стоимости парка. И напрасно старая дама, прожившая здесь чуть ли не полвека, просила оставить ей дом хотя бы до ее смерти; Эва не могла позволить такой задержки в осуществлении своего проекта для старых и бедных; и, вероятно, никто, кроме тех, кого она выселяла, не стал бы упрекать ее в бессердечности – так много нуждающихся обретали дом, тогда как бездомным оставался только один. Но говорили, что в поместье поселился брат Эвы, Хуансито Дуарте.

От работников Аргентинской биржи, которые представили фонду полмиллиона долларов, от иностранного посла, давшего тысячу, от профсоюза водителей такси из провинциального городка, которые наскребли пятьдесят, – Эва со всех получала свой доход. И именно через профсоюзы и от самих рабочих поступала большая часть суммы. В Рождество 1950 года железнодорожные рабочие отдали в фонд миллион с четвертью долларов. Когда Эва сделала широкий жест и приказала, чтобы задержанную зарплату выплатили с учетом инфляции, две трети разницы пошли фонду. В 1950 году было провозглашено, что двухдневный заработок из годовой зарплаты каждого рабочего должен идти в фонд; но первый же из подобных поборов вызвал так много протестов среди рабочих, что министр финансов, Серейхо, обещал возвратить деньги. Загадочным образом протесты обернулись заверениями, что никакой возврат неприемлем, и в Секретариате труда и социального обеспечения прошла церемония, на которой Хосе Эспехо, секретарь Генеральной конфедерации трудящихся, уверил Эву, что рабочий класс категорически отказывается от возмещения. Эва милостиво

приняла этот широкий жест. «Откровенно говоря, – заявила она, – я ничего другого от вас и не ожидала. Я принимаю ваш вклад с глубокой благодарностью. Но я прошу вас, чтобы на следующий год вы не поступали так, чтобы было ясно, что фонд может делать своими силами». Она ни словом не упомянула о поборе в размерах двухдневной зарплаты и о тех протестах, которые вызвали это требование. Благодарные за то, что они отделались потерей лишь дневного заработка, рабочие аплодировали ей. Подобные контрибуции производились помимо и сверх обычных выплат пенсионного страхования ежегодных процентных вычетов в фонд, которые были бы аналогом медицинской страховки, если право рабочего пользоваться бесплатной медицинской помощью не зависело в этом случае всецело от прихотей Эвы и ее окружения.

По страницам «Демократия», газеты Эвы, можно проследить, какую часть дохода фонда составляли пожертвования рабочих. В один только день в 1951 году профсоюз пекарей пожертвовал 7793.50 песо, союз водителей такси из Санта-Фе – 12 256 песо, персонал Госдепартамента – 52 380.20 песо, а профсоюз работников индустрии минеральных вод – 200 000 песо. Насколько эти пожертвования были добровольными, сказать трудно; купюры в пять и десять песо, хотя и заработанные в поте лица, конечно же отдавались легче, чем чеки; но в одном можно не сомневаться: профсоюз, который не сумел собрать достаточно денег для фонда, не получал никаких льгот для своих членов. Но рабочие и работницы поддерживали Эву Перон не только регулярными отчислениями из зарплаты и вкладами, которые выпрашивали у них их профсоюзы; во время любого маленького празднества в спортивном клубе или общественном объединении, даже если это была субботняя вечеринка для подростков, каждому приходилось заплатить еще несколько пенни; и еще хорошо, если их не просили сброситься на какой-нибудь подарок, который следовало послать Эве в знак признательности.

На бурной сессии в палате депутатов в 1948 году Фонд Эвы Перон получил статус общественной организации. Один из депутатов-радикалов заявил, что этот указ следует пометить, как помечали неисследованные территории на старинных картах: «Опасность! Здесь львы!» – поскольку, в противоречии с законами страны, он предоставляет фонду права общественной организации в сборе средств и свободу частному лицу в их расходовании. В пользу фонда взимались налоги, экспроприировалась или отдавалась в дар земля, например квартал в центре города, принадлежавший университету Буэнос-Айреса. Он имел право использовать для собственных нужд

любую государственную благотворительную организацию, существующую на деле или только формально, а деньги из бюджета выделялись ему так, словно это была служба, подконтрольная правительству, – в 1949 году конгресс проголосовал за то, чтобы выделить фонду четырнадцать миллионов долларов; и Эве предоставлялась полная свобода расходовать это, словно свои карманные деньги. Никакая отчетность никогда с нее не спрашивалась; она могла потратить, вложить, пожертвовать или завещать деньги Фонда Эвы Перон как ей заблагорассудится.

Большинство из того, чем, как утверждалось, владела Эва, на деле принадлежало фонду, хотя стоит напомнить несомненный факт: Эва использовала фонд как инструмент в грандиозном замысле собственного возвеличивания. И ее мечты не ограничивались ее собственной страной или Латинской Америкой, она желала покорить весь западный мир. Эва лелеяла надежду прославиться больше, нежели миссис Рузвельт или мадам Чан Кайши; в своей стране она добилась власти большей, чем та, которой обладала любая из этих женщин, и едва ли какая женщина в новейшей истории использовала свое влияние с такой прямотой и жесткостью. На родине она праздновала победу, но ей этого не хватало; она стремилась к мировому признанию и использовала деньги фонда для достижения этой цели. После ее визита в Европу целый поток посылок с едой и одеждой – все очень аккуратно подписанное, как подарки от Эвы и Перона, – хлынул за море; где бы в Южной Америке ни произошло несчастье, где бы ни случился неурожай, землетрясение, туда прибывали самолеты от Фонда Эвы Перон с докторами, медперсоналом, лекарствами и едой.

В Латинской Америке, где маленькие страны искали покровительства или Аргентины, или Соединенных Штатов, благотворительность Эвы немало приветствовалась, ее именем называли школы и больницы, группы социальных работников и учителей приезжали в Аргентину изучать ее методы, как правило, в качестве гостей фонда. Показательно, что даже Бразилия – единственный серьезный соперник Аргентины в Южной Америке – посылала сотни молодых людей и девушек, учителей и социальных работников, в Буэнос-Айрес, и фонд принимал их по-королевски. В Европе подарки Эвы принимали без особого энтузиазма. Когда она отправила чек на двести тысяч франков вдове одного француза, погибшего во время автокатастрофы, та вернула деньги, предложив Эве истратить их на аргентинских бедняков. Но когда Папа прислал Эве письмо с благодарностью за продовольственную помощь бедным итальянцам, «Демократия»

раздула из этого такую историю, будто Эве пожаловали желанный титул. В Вашингтоне ее непрошеная благотворительность стала головной болью для Общества помощи детям, которое занималось обычным рутинным сбором пожертвований. Они рассчитывали не более чем на пяти-десятидолларовые взносы от каждого из жертвователей и поразились, когда им сообщили, что Фонд Эвы Перон выслал шесть контейнеров одежды для нуждающихся детей Вашингтона. Функционеры общества немного разозлились и хотели отказаться, члены правления грозили уйти в отставку, а местные вкладчики – лишить общество поддержки, если они этого не сделают; но Госдепартамент полагал, что будет более дипломатично принять дар, что они и сделали, под все сопутствующие подобному мероприятию фанфары.

Но Эва никогда не делала пожертвований, не имея определенной цели. Обещая ООН десять миллионов долларов для голодающих детей мира, она, судя по всему, собиралась сама возглавить Южноамериканский распределительный комитет; а когда выяснилось, что вряд ли ей это удастся, сделка не состоялась. Ее декалог прав престарелых, получивший необычайную известность и вошедший в новую конституцию, распространялся по всей Южной Америке и использовался в качестве повозки, к которой цепляли ее имя и доктрину перонизма. Когда в 1951 году в Буэнос-Айресе собралась Общеамериканская конференция по социальной защите, Эва настаивала на использовании в резолюции слова Justicialismo[26], бесформенного лозунга перонистского производства, включающего в себя «социальную справедливость», «экономическую независимость» и «политический суверенитет» – термины сами по себе достаточно неясные. Делегация Соединенных Штатов указывала, что слово не имеет хождения вне Аргентины, но после трехчасовых дебатов из латиноамериканских стран только Уругвай, Чили и Перу осмелились голосовать против желания Эвы, и слово Justicialismo было включено в итоговый документ.

Чтобы оценить степень того влияния, которое приобрела Эва в Южной Америке благодаря фонду, понадобились бы ресурсы Госдепартамента, и остается только предполагать, с какой выгодой Перон использовал это влияние для своих внешнеполитических целей. Но небывалая популярность, которую снискал ей фонд на родине, порой ужасала. Ни одна сфера жизни в Аргентине не была свободна от влияния фонда, и образ Эвы Перон в глазах общества нераздельно связывался с ним. В 1948 году в городе появились плакаты размером с фасад дома с портретом Эвы, обнимающей двух широко улыбающихся детей и

подписью:

МАРИЯ ЭВА ДУАРТЕ ДЕ ПЕРОН
ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ
ВО ВСЕ ДОМА АРГЕНТИНЦЕВ —
ПОДДЕРЖИМ ЕЕ!

Это был первый из тысячи подобных призывов. Вся перонистская пресса практически ежедневно печатала рассказы о семьях, оставшихся без крова из-за наводнения и получивших помощь от Фонда Эвы Перон, о рабочем, повредившем руку и приехавшем в город на лечение, о празднике для детей – и все это благодаря милости Эвы Перон.

Аргентинцы всегда любили спорт, и Эва с Пероном постоянно ходили на боксерские турниры и футбольные матчи. Любой спортсмен или команда, выигравшие на каких-либо зарубежных соревнованиях, посылали телеграмму, посвящая свою победу Эве и Перону. Когда аргентинец победил в олимпийском марафоне в Англии, Фонд Эвы Перон подарил ему по возвращении новый, целиком обставленный дом. В 1950 году Фонд Эвы Перон организовал чемпионат национальной футбольной лиги, и на открытии, которое проходило на гигантском стадионе Ривер-Плейт, присутствовали Пероны в окружении министров и провинциальных губернаторов, которые приветствовали с таким энтузиазмом, словно это была принцесса, открывающая рыцарский турнир.

Но сама суть деятельности фонда, пожалуй, становилась ясна на складе, который был выстроен Медицинским центром для больницы, а позже присвоен Эвой. В то время когда в магазинах Буэнос-Айреса продукты стали дорожать, а цена одежды взлетела настолько, что рубашка теперь стоила столько же, сколько пять лет назад стоил целый костюм, сшитый на заказ, на складе Эвы шесть этажей были забиты десятками тысяч курток, платьев, ботинок, свитеров, игрушек, алюминиевой посудой и, кроме всего прочего, книгами. Товары были насколько возможно плотно сложены в кучи, от пола до потолка, между которыми оставались проходы, где с трудом могли разойтись два человека. В середине 1951 года там хранилось сто пятьдесят тысяч пар хороших кожаных ботинок – не alpargatas на веревочной подошве, которые носили все в Аргентине, но прекрасных кожаных ботинок из тех, которые рабочие, если им удавалось приобрести их, носили только по воскресеньям. Там было пятьдесят тысяч мальчиковых рубашек и такое же количество пиджаков, ветровок, рабочих комбинезонов, жилеток и брюк. Здесь были соломенные шляпы для мужчин и набивные платья для женщин всех фасонов; пальто

разных фасонов и цветов из превосходного материала; комплекты для новорожденных и наряды для первого причастия, каждый из которых стоил сотню песо – около двадцати долларов в те дни губительного падения национальной валюты. Были трехколесные и двухколесные велосипеды и отличные педальные автомобили; куклы – таким выбором не мог похвастаться ни один магазин города; только в одной куче оказалось двадцать тысяч кукол, а таких куч насчитывалось три или четыре. По странной случайности там обнаружилось и несколько сотен портретов Эвы на каждом этаже, ее головка красовалась на дверных панелях, портреты большего размера помещались на стенах на некотором расстоянии друг от друга и на всех шести гранях японских фонариков, свешивавшихся с потолка. Объяснялось, что все это собрали здесь для того, чтобы рассылать их в бедные дома по всей стране, и что отправка одежды для семьи из четырех человек стоит примерно две тысячи песо, не говоря уже о таких крупных предметах, как набор алюминиевой кухонной посуды, велосипед или швейная машина, которые добавлялись к подарку. Кое-где лежали кипы одежды, готовые к отправке, но не нашлось никаких подтверждений того, что двадцать пять тысяч пар ботинок распределяются здесь каждый месяц.

Один этаж склада целиком занимали книги, и заявление, что здесь пять миллионов книг и что они рассылаются по пять тысяч каждый месяц, казалось не таким уж неправдоподобным. Здесь были школьные учебники и художественная литература, в основном для самого младшего возраста. Несколько произведений детских классиков тонули в море перонистских изданий, из которых мы узнавали, что папа поет за работой на новую Аргентину Перона, что бабушке теперь не приходится брать стирку, как бывало в старые дни свергнутой олигархии, и все это, по утверждению маленькой героини, благодаря Эве и Перону. Интересно заметить, что тогда как подавляющее большинство аргентинских детей, особенно детей рабочих, имели темные волосы, эти маленькие героини оказывались, как правило, блондинками. Эву представляли в образе доброй феи, появляющейся под Рождество с кучей игрушек в руках; иногда на иллюстрациях ее изображали парящей над землей с нимбом вокруг головы, что могло немало смутить малышей, привыкших к изображениям Девы Марии и святых. Одним из любимых сюжетов была история того, как Эва сплотила «людей без пиджаков» ради освобождения Перона в октябре 1945-го.

Но не только здесь Эва копила товары, чтобы раздавать их, словно призы, в некоем подобии викторины для всех аргентинцев – викторины, где правильным ответом всегда был крик: «Эвита!

Перон!» По всему городу она открыла продуктовые магазины, где по дешевке продавалась высококачественная гастрономия, которая, как обычно, реквизировалась или «получалась в дар» таким же манером, каким пополнялся бюджет фонда. По поводу открытия этих магазинов перонистская пресса устроила большой шум, и Эва лично в течение часа или двух, словно маленькая девочка, играющая в магазин, простояла за прилавком одного из них. Их легко было отличить по ярким бело-голубым вывескам, перонистскому гербу, громадным портретам Эвы и очереди скромных домохозяек, выстроившихся в ожидании, когда откроются двери.

Помимо одежды, игрушек, книг и гастрономии, которые Эва стаскивала себе в закуток, Фонд Эвы Перон имел монополию на импортные лекарства и медицинское оборудование. Пенициллин, стрептомицин, противодифтерийные и противостолбнячные сыворотки, сульфамидные препараты, рентгеновские пластины и сотни других жизненно необходимых препаратов и инструментов находились в ее руках, и она могла их раздавать по собственному усмотрению. Не будучи перонистом, врач не имел возможности купить необходимые медикаменты. Жена одного пациента, страдавшего от жестокой боли изза того, что ни его доктор, ни его семья не могли достать ауреомицин, отправилась в офис Эвы и стала кричать, что ее муж умирает из-за отсутствия лекарства, на которое у фонда монополия. Она многим рисковала, потому что Эву вовсе не устраивало, чтобы ее скромные посетители, которые, как и многие простые люди, всегда с интересом и сочувствием относились к любым разговорам о болезнях, подумали, что из-за нее хоть кто-то, пусть даже олигарх, испытывает страдания. Жене, настаивающей на своей жалобе, в конце концов разрешили купить необходимое лекарство у фонда по цене значительно более высокой, чем та, которую она заплатила бы, покупая препарат в аптеке.

Оппозиция утверждала, что больницы, школы и общежития, которыми хвастала Эва, строились не там, где в них больше всего нуждались, но там, где они были на виду, и что частенько после завершения строительства, как в случае домов для рабочих, о которых трубили по всему городу, оказывается, что служат они не столько нуждам людей, ради которых якобы строились, сколько нуждам фаворитов-перонистов, которые ни в коей мере не могут считаться неимущими, в то время как уже работающие школы, общежития и больницы оставлены без средств и иногда даже закрываются. В Буэнос-Айресе Общество благодетельных леди, лишенное правительственной поддержки, было распущено,

больницы, чье существование почти полностью зависело от их пожертвований, терпели жесточайшую нужду в лекарствах и даже в еде. Дома-школы – детище доктора Паласиоса, – которые строились из местных материалов в самых бедных районах страны и в которых дети из соседних лачуг учились вести дело своих отцов более научно и прибыльно, а заодно получали простейшие навыки гигиены и вежливости, закрылись. Одним из немногих учреждений, выживших после вмешательства фонда, было общежитие для работниц епископа де Андреаса, располагавшееся поблизости от Эвиного, со столовой, не столь роскошной, но всегда переполненной посетителями. По указу фонд обладал правом взять под свой контроль государственное учреждение социального вспомоществования; позже его права были расширены, и он мог распоряжаться любой частной или общественной благотворительной организацией в стране.

Абсурдно неуместная меблировка зданий, которые фонд понастроил по всему городу, не продуманные заявления Эвы, не подкрепленные конкретными разработками, противоречивость и нелепость ее претензий – все это вызывало шквал обвинений со стороны оппозиции. В 1948 году Эва заявила, что только за один этот год намерена открыть тысячу больниц. На церемонии в 1951 году, где она символически передавала руководство работой фонда Перону, разумеется не теряя ни на йоту своей власти, список учреждений фонда насчитывал 12 больниц, 4 дома престарелых, 9 школ, не считая 150 школ и 200 продуктовых магазинов в столице; она не объяснила, включает ли этот список все, что выстроил фонд, или же это были лишь заведения, построенные в 1951 году, но в любом случае мало общего между этим списком и ее хвастливыми речами в 1948 году или ее обещаниями на 1952 год, когда, как она говорила, фонд собирался выстроить «два больших университетских городка», 825 школ и 6000 продуктовых магазинов. В клинике директор, главврач и прочие официальные лица наперебой сообщали посетителям, что тридцать пять, шестьдесят или восемьдесят подобных больниц сейчас спроектированы и что три, семь или больше уже строятся.

Любопытный и, вероятно, показательный случай произошел с одним из посетителей. В прошлом в Буэнос-Айресе не хватало квалифицированных медицинских сестер – исключение составляли британские, американские и немецкие больницы, а в провинции их вообще практически не было; их обязанности частично брали на себя монахини, а в одиночных палатах обычно ставили еще одну кровать, чтобы мать, жена или сестра ухаживали за больным и присматривали за больничным

персоналом, который не вызывал особого доверия; порой в палате собиралась вся семья, толпившаяся вокруг кровати пациента и закармливавшая его всеми деликатесами, которые запретил доктор. Зная об этом, посетитель спросил главврача в клинике, где они найдут за такой короткий срок опытных медсестер, чтобы обслуживать восемь, или семь, или хотя бы три других больницы. Главврач бойко ответила, что фонд также открыл в городе школу, где обучается тысяча медсестер. Через несколько дней гостю собирались показать школу для медсестер, о которой говорила главврач, но, к сожалению, произошла какая-то неувязка, и взволнованная директриса наотрез отказалась впустить посетителей, добавив, что в здании ведется реконструкция и сейчас здесь никто не учится. «А где же, – спросил посетитель, – все те медсестры, которых готовят для новых больниц?»

«О, всех их обучают в клинике президента Перона», – последовал ответ.

И в самом деле, на официальных демонстрациях сотни очаровательных, неизвестно откуда взявшихся медсестер, все с накрашенными губами и отполированными ногтями, бодро маршировали мимо Каса Росада; но где они получили медицинское образование, оставалось тайной.

Эва утверждала, что любой нуждающийся, независимо от своей национальности или убеждений, имеет право на помощь фонда. Трудно поверить в то, что это определение включало в себя сторонников иных политических убеждений, поскольку критика в адрес Эвы, которая расценивалась как критика в адрес Перона, наказывалась тюремным заключением. Самый больной и нуждающийся рабочий, крикни он «Долой Перона!», быстренько оказывался в тюрьме Девото, а не в клинике президента Перона. Но и самый верный перонист не обязательно приобщался к роскоши. Нетрудно поверить, что детей на выставку в детском саду приводили из домов преуспевающих перонистов, и таких, чтобы не были слишком любопытны. В общежитии для работающих девушек как минимум один раз размещали почетных иностранных гостей, более комфортабельно их не могли бы устроить и в самом лучшем отеле. Позже один из этажей в клинике президента Перона полностью отдали Эве Перон, которая, вероятно, стала первой пациенткой этого заведения.

Невзирая на перонистское хвастовство, что все рабочие люди в новой Аргентине Перона равны, пригороды-трущобы, окружавшие Буэнос-Айрес, которые привели бы в ужас даже жителей самых отсталых стран в мире, не увидели никаких перемен. Один из них располагался в Авелланеде, не так далеко от клиники. Лачуги из жести и гофрированного железа

сгрудились на клочке голой земли; здесь не было ни водопровода, ни электричества, ни канализации, и только узкие грязные проулки отделяли один ряд хижин от следующего. Здесь жили бедняки, в основном приехавшие с севера с мечтой о сказочном городском изобилии; женщины зарабатывали проституцией, а мужчины – частенько грабежом и воровством. Не стоило появляться здесь после наступления сумерек.

Впрочем, достижения Фонда Эвы Перон приносили куда больше зла, чем его упущения. Благодаря фонду Эва установила контроль над еще двумя правительственными департаментами: департаментом здравоохранения и министерством образования. Имея фактически в подчинении все государственные больницы и все учреждения социального вспомоществования – а сюда было очень просто включить все частные больницы и санатории, – располагая передвижной больницей и самолетами «скорой помощи», которые по первому ее требованию отправлялись в любой уголок страны, а также монополией на импортные лекарства, Эва с легкостью могла прибрать к рукам всю фармацевтику Аргентины. Процветающую фармацевтическую фирму, принадлежавшую семье Массоне, не составило труда убрать с дороги; как и в случае с «Му-Му», инспектор прибыл на производство и заявил, что в лекарствах найдены отравляющие вещества; завод прикрыли, семья Массоне отправилась в изгнание в Монтевидео, а перонистская мстительность зашла так далеко, что посольствам и консульствам Аргентины по всему миру было рекомендовано предупреждать фармацевтов по поводу продукции Массоне.

Узурпация министерства образования стала одним из самых разрушительных деяний фонда. С самого начала высшие учебные заведения выказали себя наиболее стойкой оппозицией режиму, и Перону в 1946 году пришлось «взять под надзор» шесть университетов. Он открыто провозглашал: «Alpargatas – да! Книги – нет!» Позже, когда были организованы перонистские издательства, этот лозунг изменили на другой: «Книги для рабочего!» Доктор Оскар Ивaниссевич, близкий друг и романтичный обожатель Эвы, стал «инспектором» университетов. Сотни студентов, объявивших забастовку во имя свободы своей альма-матер, отправились в тюрьмы; больше тысячи профессоров сняли с должности или отправили на пенсию, якобы по старости, заменив их другими, еще более старыми, или же людьми, не имеющими ученых степеней, либо теми, кто сам только что окончил университет. Среди изгнанных оказались такие известные ученые, как доктор Паласиос, доктор Рикардо Рохас,

историк и доктор Эрнандо Альберто Хаусэй, лауреат Нобелевской премии.

Последний навлек на себя гнев Эвы, поскольку получил Нобелевскую премию за свои исследования гипофиза в 1947 году, как раз тогда, когда Эва пыталась выдвинуть кандидатуру своего мужа на получение Нобелевской премии мира.

Когда нобелевский комитет назвал имена лауреатов и выяснилось, что премия мира ушла к квакерам, перонистская пресса злобно накинулась на доктора Хаусэя, упрекая его в том, что он не занимается проблемами туберкулеза и сифилиса, и восклицая риторически, с удивительной непоследовательностью аргументации: «Неужели теория, изложенная в учебнике, стоящем шестьдесят песо, важнее для медицины, нежели спасение жизни одного-единственного аргентинского рабочего?» Говорили, что Перон, поскольку, в конце концов, Хаусэй был аргентинцем, хотя и не сочувствовал перонистам, решил послать ему поздравительную телеграмму, но Эва, которая вошла в комнату в тот момент, когда он составлял текст, и увидела, кому он предназначается, разорвала бланк.

Но хотя университеты теперь находились под контролем правительства, перонистская пропаганда была нацелена в основном не на студентов, но на школьников. Возможно, духовник Эвы, иезуит отец Бенитес, научил ее тому, как важно направить разум и душу человека в те годы, когда он еще достаточно восприимчив к внешнему воздействию. Учителей начальной школы жестко контролировали и периодически проверяли: никто из них не мог надеяться сохранить свое место, если не пересыпал объяснения хорошей дозой перонистской пропаганды; в учебниках, начиная с букваря, по которому дети учились читать, постоянно говорилось о новой Аргентине Перона и воздавались благодарения Эве. Детские книжки пестрели хорошими маленькими перонистами, которые желали знать, почему жизнь неожиданно стала такой прекрасной, и даже последние страницы журналов, где обычно печатались коротенькие сказки или комиксы, теперь содержали пропаганду, рассчитанную на неопытные детские души. В журнале под названием «Мундо перониста», который, очевидно, занял место популярного «Мундо архентино», в выпуске от 1 ноября 1951 года – этот выпуск был целиком и полностью отведен для перонистской пропаганды – на детской страничке очередной «маленький перонист», размышляя над жизнью генерала Перона, напомнил, что хороший маленький мальчик-перонист всегда верен и храбр, и предостерегал: чтобы не сбиться с пути, нужно действовать всегда как генерал Перон и сеньора Эва Перон.

До 1950 года пост министра образования занимал уже упоминавшийся доктор Иваниссевич, твердо придерживавшийся убеждения, что юные умы не должны быть обременены слишком большим количеством идей. Когда он неожиданно и благоразумно исчез, его место занял доктор Армандо Мендес Сан-Мартин, директор Фонда Эвы Перон.

Фонд возвел себе огромное новое здание на земле, отобранной у университета Буэнос-Айреса. В 1951 году его строительство продвигалось не так быстро, как планировалось, – каменщики устроили забастовку, требуя погашения задолженности по зарплате. Забавно, что перонистские чиновники обходили молчанием вопрос о том, для каких целей предназначено это здание, хотя все прекрасно знали, что здесь разместится управление фонда. Ходили разговоры, противоречившие слухам о вице-президентстве Эвы, что формируется некое новое большое министерство, которое она возглавит, и именно поэтому перонисты предпочитают пока помалкивать.

Эва избрала для себя роль лидера социальных реформ и получила официальный титул Первой Самаритянки; быстро усвоив все штампы современной гуманистической демагогии, она бойко говорила о достоинстве личности, об унизительности официальной благотворительности, общих спален и формы. Но слова и позы ничего не значили, ведь она не облегчала нужду и горести, которые видела вокруг, а мстила за нужду и горести собственной юности. Ощущение своего родства с бедняками не открывало ее сердца для сочувствия и симпатии. Если она бывала добра к бедным, то потому, что нуждалась в их признательности, и, пока они усыпали ее путь розами, становились на колени при ее приближении и умоляли ее о благословении, она продолжала даровать им свою щедрость; но если они выказывали малейшую непокорность, она становилась беспощадной и жестокой. Она шла вперед к своему триумфу, и ничто не могло помешать этому движению или заставить ее свернуть с пути. В самые пламенные из ее ранних дней, до поездки в Европу и до того, как она взяла на себя роль доброй самаритянки, она отправилась в город Тукуман, на севере; там начались волнения рабочих сахарной промышленности, которые были одними из самых эксплуатируемых аргентинских тружеников, и поездка Эвы, тщательно подготовленная, имела своей тайной целью погасить их недовольство. Целый караван армейских грузовиков привез плакаты и транспаранты из Буэнос-Айреса, улицы были украшены флагами и триумфальными арками, и клакеры на трибунах,

подогревая толпу, скандировали: «Эвита! Эвита!» Сообщалось, что она везет посылки с едой и одеждой для раздачи беднякам. Она и вправду раздала около тридцати тысяч подарков с едой, одеждой и двумя неизменными фотографиями; говорили, некая фирма из Тукумана выделила на это триста тысяч песо и что поездка в общем и целом стоила больше миллиона с четвертью песо. Вокруг ее посещения создали такой ажиотаж, что самолет, в котором она летела, не мог некоторое время приземлиться, потому что толпы народа поломали барьеры и заполнили поле. Когда он все-таки приземлился, семь человек погибли и сотня получила ранения в давке. Но это не прервало церемонию, и в тот же вечер в Белом зале, в доме провинциального губернатора, Эву назвали Королевой сахарного тростника, увенчав золотой, а не бумажной короной.

И, наверное, психологически не так странно, что Эва, которая с такой горечью выступала против олигархов, которых она называла выродившимися, продажными и жестокими, в своей благотворительной деятельности, которая, как она настаивала, призвана установить социальную справедливость, превзошла в своем стремлении к покровительству олигархов и сама стала их чудовищной копией. Престарелая владелица поместья смотрела на людей, работавших на нее, в лучшем случае как на своих детей, в худшем – как на своих рабов. Она следила за тем, чтобы у них была крыша над головой и пища, когда они состарятся, прописывала им лекарства, когда они болели, устраивала им нагоняи и сочетала церковным браком, готовила приданое для их новорожденных и платья для первого причастия для девочек, приносила сладости и игрушки на Рождество и видела себя щедрой благотворительницей, игнорируя тот факт, что им мало платят, что у них плохие дома и они необразованны. Эва предложила им лучшую оплату, в некоторых случаях – лучшее жилье и образование перонистского толка. Но она продолжала держать их за детей, целиком зависящих от нее, и ввергла целую страну в состояние экономического рабства, – а как могли люди, в огромной своей массе необразованные и наученные рабству, оказать ей сопротивление? Она оставляла им даже меньше возможностей достичь зрелости, нежели олигархи, и, как и олигархи, она говорила о «своем народе», становясь крестной матерью для бесчисленного количества младенцев и раздавая подарки на Рождество, как если бы эти люди и в самом деле были ее маленькими детьми. Она могла предоставить им пальто разных цветов и фасонов или огромное количество набивных платьев – самых хорошеньких; но получатель пальто или платья не мог сам выбрать цвет и фасон, но должен был радоваться тому,

что ему дали, как ребенку полагается радоваться полученной в подарок книжке, хотя его приятелю в соседнем доме подарили велосипед. Что должны надевать люди, то, чему они должны учиться, что читать – все определяла Эва Перон.

Глава 14

В моем сердце живет одно главное чувство, которое подчиняет себе мой дух и мою жизнь: это мое негодование против несправедливости.

Э.П.

Перон занял свой пост благодаря тайному сговору своих коллег-офицеров; будь один и оставайся он послушен их желаниям, он мог бы заручиться полной их поддержкой и благодаря одной этой поддержке оставаться у власти. Военные не требовали его отставки, они лишь возражали против Эвы, хотели удалить ее из общественной жизни или даже отправить в изгнание. Офицеры были ее противниками с самого начала, усматривая в ней угрозу своей власти и оскорбление своего мужского достоинства. Но Перон, который не раз становился свидетелем предательства военных, понимал, что оружие, которое он мог бы использовать против них, должно находиться исключительно в его руках, и задумался о поддержке профсоюзов; и это оружие, выкованное руками Эвы, доказало свою силу. Рабочие были не так горды, как армейские офицеры, которые не могли позволить, чтобы ими командовала женщина, и, в отличие от олигархов, не считали Эву выскочкой. Она вышла из их рядов – факт, который она никогда не пыталась скрыть; и чем более знаменитой, богатой и могущественной она становилась, тем с большей готовностью они ей аплодировали. А женщины из рабочих семей восхищались ею вдвойне, ведь, глядя на нее, они и сами чувствовали себя отомщенными не только за годы бедности, но и за годы зависимости от мужчины. Именно эта огромная масса униженных и оскорбленных поддерживала Эву и Перона, и для многих из них на первом месте стояла Эва. Члены профсоюзов не понимали, в какое опасное предприятие их втянули, что и неудивительно, поскольку Перон со своими манерами рубахи-парня и щедрыми обещаниями сумел заморочить голову даже такому опытному профсоюзному боссу, как Киприано Рейес. Аргентинские труженики были наивны и доверчивы, социально безответственны и зачастую готовы преданно служить любому хозяину, который отнесется к ним по-доброму, равно как воткнуть нож кому-нибудь под ребра по самому незначительному поводу. Условия существования в

стране не располагали к росту независимости рабочих: при обширных незаселенных территориях, плохих дорогах, недостатке средств связи процветала система малых общин, в которых правил благосклонный или тиранический патриарх, estancias управлялись патроном, в пуэбло властвовали местные candillos; в городах еще двадцать лет назад почти не было больших предприятий и рабочие не имели своих организаций. С середины девятнадцатого века делались попытки организовать рабочих в профсоюзы, но только в дни Иригойена некоторые из них стали играть хоть какую-то роль в общественной жизни; самыми старыми и сильными из них были Союз железнодорожников и Объединение машинистов. В некоторых отраслях, таких, как консервная промышленность, работодатели, наравне с другими виновные в том, что Перон занял свое нынешнее место, использовали любые средства, включая насилие, чтобы уничтожить нарождающиеся профсоюзы. Когда Перон стал секретарем труда, он всячески поощрял уже существующие профсоюзы и помогал в формировании новых в тех отраслях, где прежним организациям не удалось выжить. Именно в то время началась его дружба с Киприано Рейесом, который тогда организовал профсоюз «консервщиков». Перон, еще оставаясь в Секретариате труда, протолкнул законы, которые обеспечивали рабочим приличную зарплату, посильное число рабочих часов, выходные, оплачиваемые бюллетени и нормальные условия жизни. А поскольку ни консерваторы, ни радикалы не обещали рабочим ничего, кроме возвращения к прежнему бедственному положению, нет ничего удивительного, что в 1946 году Перон получил власть голосами трудящихся. После этого Эва переехала в Секретариат труда и стала неофициальным, но наиболее активным министром труда[27]. Теперь уже невозможно рассудить, какая часть ответственности за то, что последовало дальше, лежит на ее плечах, а какая – на его; но если он и не знал о некоторых ее действиях, а иногда давал им задний ход, она, во всяком случае, была в курсе всего, что творилось в министерстве. Она была наместником Перона, но не так уж редко случалось, что наместник обретал больше власти над владением, чем его хозяин.

Поначалу между профсоюзами и Пероном все шло как по маслу или почти как по маслу; зарплата подскочила на пятьдесят и шестьдесят процентов, и каждому выдавалась премия в размере месячной зарплаты в конце года; у сельскохозяйственных рабочих появился получасовой перерыв на завтрак и, кроме обеденного перерыва, три часа сиесты летом. Те же сельскохозяйственные рабочие и служащие контор получили получасовой перерыв на чай – странный отголосок британского влияния. Большинство

новых законов о труде были в теории справедливы, некоторые – забавны, но на практике они исполнялись лишь в той мере, в какой могли ударить по хозяевам. Трудовым судам, организованным по франкистскому образцу, вменялось в обязанность разбирать конфликты, возникающие между работниками и хозяевами, но, исключая те случаи, когда наниматель являлся активным перонистом, решения всегда принимались в пользу рабочего. Новые законы, даже когда они применялись справедливо, порой приносили бизнесменам неоправданные убытки. Один владелец отеля, дела которого шли из рук вон плохо, не мог закрыть свое заведение, потому что он должен был выплатить каждому работнику компенсацию в размере месячной зарплаты за все те годы, которые они у него служили, а многие трудились у него больше двадцати лет. Однако же ему все-таки пришлось, и это уже никого не удивляло в Буэнос-Айресе, терпеть эти потери. Такие неожиданно ставшие гарантированными привилегии породили взаимное недовольство между нанимателями и работниками; рабочие – и их можно понять – извлекали все выгоды из своего нового положения, а их работодатели злились, что они тратят лишние деньги, полученные в зарплату, на вино и развлечения, пренебрегая иными, лучшими возможностями. Перона не слишком тревожило это взаимное раздражение, на самом деле они с Эвой даже подогревали его своими речами, потому что считали, что в Аргентине должен был быть один хозяин и одна хозяйка.

Так же, как Эва испытывала некое глубокое удовлетворение, раздавая беднякам банкноты по пятьдесят и сто песо, она, похоже, получала удовольствие и от того, что даровала рабочим все, о чем они просят, и даже больше; когда железнодорожники попросили о повышении зарплаты на сорок процентов, Эва радостно воскликнула: «Дайте мальчикам пятьдесят!» Цена, которую приходилось платить за подобный либерализм, не волновала большинство рабочих; их в принципе мало заботило, входит ли их профсоюз в объединение и кто им руководит, если они получали свои прибавки; а вскоре стало очевидно, что никакие повышения зарплаты не касаются тех рабочих, чьи профсоюзы остались за рамками Генеральной конфедерации трудящихся и чьих профсоюзных лидеров не сменили ставленники Перона. Некоторые из таких профсоюзов – работников консервной промышленности Рейеса и работников сахарной промышленности из Тукумана, обязанные своим рождением Перону, так и не вступили в ГКТ. Теперь Перон начал использовать всю свою власть, чтобы прижать их к ногтю. Самым разумным методом для этого были взятки; сначала он дал взятку рабочим, повысив им

зарплату; теперь же предложил профсоюзным боссам правительственные посты. Анхель Борленги стал министром внутренних дел после того, как передал в ГКТ бразды правления конфедерации работников торговли; других сделали сенаторами или депутатами или просто поставили на ведущие должности в министерстве труда. Тех, кто не купился на взятки, запугивали или бросали в тюрьму. Если и это не срабатывало, в правление профсоюза врывалась полиция, руководителей арестовывали, и профсоюз «брался под надзор» ГКТ. Назначенный инспектор контролировал профсоюз до тех пор, пока члены его не узреют наконец свет перонистского дня и не принимут то руководство, которое им навязывалось. В 1945-м Перон издал декрет, по которому все профсоюзы, чтобы иметь законный статус, должны были быть зарегистрированы и который позволял зарегистрироваться только одному профсоюзу от каждой отрасли индустрии. Для Перона не составило труда сформировать профсоюзы, конкурирующие с теми, кто отказался вступить в ГКТ, зарегистрировать их и оставить независимые профсоюзы вне закона. Когда профсоюз актеров отказался заменить свое руководство на то, которое избрала Эва, и не захотел, чтобы она сама возглавила их, она сформировала конкурирующую Ассоциацию аргентинских актеров, предоставила ей легальный статус и сделала невозможным для тех, кто не вступил в нее, найти работу на сцене или в студии; тем, кто противился ее попыткам присвоить их старый профсоюз, пришлось искать другие способы заработать себе на жизнь, и как минимум одна, уже немолодая, актриса, вынуждена была устроиться стенографисткой. В 1950 году 17 октября, который с 1945 года пышно праздновался как День верности, руководители созданной Эвой ассоциации отправились в турне по театрам, советуя всем актерам подписать петицию верности Эве и Перону. В театре «Астрал» шесть человек отказались это сделать. В театр прибыла полиция, и его закрыли. Импресарио и одна из звезд отправились в кабинет Эвы в министерстве труда и умоляли ее позволить им открыться вновь до того, как они полностью прогорят. Она отвечала, достаточно любезно, что театр сможет открыться, как только эти шесть актеров будут уволены и заменены добрыми перонистами. Ее условие исполнили, и театр выжил, но шестеро упрямцев больше не могли найти работы на сценах Аргентины.

В конце 1947 года Хосе Эспехо стал главой ГКТ, и через него Эва установила полный контроль над синдикализированными профсоюзами. Не было даже видимости выборов, нового главу назначили несколько функционеров ГКТ по указке Эвы. Этот коренастый, смуглый человечек был настолько несамостоятелен,

что одно время даже не осмеливался отвечать на вопросы на собственных пресс-конференциях. В его биографии тоже не было ничего замечательного, он работал шофером в концерне, производящем продукты, и вступил в профсоюз этой отрасли, чтобы через год-два стать одним из его функционеров. О нем еще говорили, что когда-то он служил швейцаром в доме на Калье Посадас, где жили Эва и Перон, и это вправду возможно, потому что он показал себя одним из наиболее сговорчивых приспешников Эвы, постоянно глядя ей в рот, что подобает скорее подобострастному камердинеру, нежели главе, даже подставному, могущественной организации, которая, как хвасталась Эва, насчитывала более пяти миллионов членов.

Но даже ресурсы такой богатой страны, как Аргентина, не могли бесконечно удовлетворять все растущие претензии Эвы и потребности пятилетнего плана Перона. Между 1946-м и 1950 годом золотой запас уменьшился в шесть раз, а национальный долг более чем удвоился; бюджет на 1943 год составлял два с четвертью миллиона песо, а на 1950 год – более одиннадцати миллионов; Перону, который хвастливо провозгласил, что Аргентина не нуждается ни в чем заграничном, пришлось просить у Соединенных Штатов заем в сто двадцать пять миллионов долларов, предоставление которого едва ли подняло дух демократически настроенных граждан Аргентины. Перон откупил у Британии железные дороги, но они приносили убытки в два миллиона песо в день, обеспечение их урезали на сорок процентов, а плата за проезд выросла на пятьдесят; люди жаловались, что не могут добраться на работу, и поезда ходили настолько переполненными, что пассажиры на станциях высаживали окна, пытаясь забраться внутрь; расписание практически не соблюдалось, и газетам запретили сообщать о количестве жертв железнодорожных катастроф. Перон хвастал, что он скупил трамвайные, телефонные и электрокомпании, которые прежде принадлежали иностранцам; но теперь улицы освещались так плохо, что ходить по ним вечером становилось просто опасно, магазинам приходилось самим заботиться об освещении своих витрин, трамваи были набиты битком, и люди висели на подножках, телефоны – а Буэнос-Айрес в свое время мог похвастаться самой современной системой телефонной связи – работали так скверно, что для того, чтобы позвонить в пригород, порой требовалось полчаса и более, и почти всегда разговор прерывался на середине. Стоимость жизни росла почти так же быстро, как зарплата. Эмигрантов, прибывавших из Испании и Италии, чтобы колонизировать провинцию, сменила другая волна миграции – провинциалы, стремившиеся в города;

два года засухи подкосили сельскохозяйственное производство, но и количество промышленной продукции стало неуклонно падать, что было неудивительно, поскольку промышленные рабочие только в 1947 году имели сто двадцать два свободных дня. Перонистское освобождение пополняло список праздников. Мясо, тушенное с овощами – puchero, которое на протяжении нескольких поколений было обычной пищей в Аргентине и которое в 1943 году стоило одно песо на семью из четырех человек, в 1946-м стоило уже два песо шестьдесят четыре сентаво, и его цена продолжала расти, за тощего цыпленка, который в начале десятилетия стоил два песо, в 1946 году приходилось платить уже шесть и десять или даже больше – в 1951-м. После девальвации песо цена импортных товаров резко подскочила; шелковые чулки – а до войны это был настоящий шелк – стоили восемь или десять песо, теперь же импортный нейлон стоил восемьдесят. Цена на чай выросла до такой степени, что даже британцы вынуждены были отказаться от него. Перон пытался обратить девальвацию песо себе на пользу и в речи, которую он произнес в июне 1951 года, приводил в качестве доказательства процветания Аргентины тот факт, что грузовики, которые импортировались в 1947 году по цене в восемь тысяч песо за каждый, теперь стоят сто двадцать тысяч песо[28] – такое свидетельство прироста национального богатства заставило самых простых из его слушателей поломать головы. Но Аргентина была единственной страной в мире, где количество автомобилей за последние двадцать лет не возросло, а уменьшилось; в 1930 году там насчитывалось 296 990 автомобилей, а в 1950-м – 219 870. И все это – в стране, которая ничего не потеряла, а только процветала в период двух мировых войн. В той же речи в 1951 году Перон провозгласил, что все социальные проблемы практически решены, рабочие довольны, что касается нанимателей – они каждый день делают деньги! Далекая от того, чтобы давать рабочим больше, чем они просили, Эва теперь провозгласила забастовки незаконными и, вместо того чтобы улучшать условия труда, организовала национальный рабочий марафон. Каждый день перонистская пресса публиковала рассказы о механиках, которые проработали без отдыха 106 часов, пивоварах, трудившихся непрерывно 221 час, и металлургах, которые не отходили от своих печей 224 часа, и о тех поздравительных телеграммах, которые они получили от Эвы и Перона. И тем не менее не все профсоюзы присоединились к ГКТ.

В Тукумане рабочие сахарной промышленности, которые всегда были среди самых низкооплачиваемых рабочих в

Аргентине, с благословения Перона образовали профсоюз, который не вошел в ГКТ, но в самом начале своего существования сумел добиться повышения зарплаты. В 1949 году стоимость жизни подскочила и рабочие потребовали новой прибавки – на шестьдесят процентов. Эва тут же заявила, что эта забастовка незаконна, как и все теперешние забастовки, исключая однодневные акции, проводимые ГКТ в знак благодарности и верности Эве и Перону. В помещение профсоюза ворвалась полиция, забастовщиков взяли под стражу и избили, а за дело взялся «инспектор». Но люди продолжали требовать повышения зарплаты и возвращения выборных лидеров. Руководители ряда местных независимых профсоюзов в один прекрасный день встретились, чтобы попытаться выработать общую стратегию действий. Полиция ворвалась на совещание, арестовала собравшихся и избила их. Одного из арестованных, Карлоса Антонио Агирре, секретаря профсоюза официантов, так больше и не увидели. Это был человек безупречной репутации, и его исчезновение побудило друзей Карлоса начать расследование. Когда его тело обнаружили захороненным в пустынном месте в другой провинции, скандал достиг таких размеров, что пришлось провести официальное следствие. Его избили до смерти в кабинете шефа полиции в ратуше – в том самом доме, где Эву несколько лет назад короновали Королевой сахарного тростника, – потом его тело спрятали в мусорный ящик, вывезли из города и похоронили в глухом месте. Причастные к этому преступлению полицейские офицеры провели несколько месяцев под арестом и затем вернулись к своим обязанностям.

Между тем забастовка была прекращена, и, когда работники сахарной промышленности вернулись к своим обязанностям, Перон в специальной речи по радио объявил, что они получат шестидесятипроцентное повышение зарплаты. Но чего они не достигли, так это возвращения независимости профсоюзу, который теперь находился под властью «инспектора».

По отношению к тем профсоюзам, которые попали в лапы ГКТ из-за продажности своих руководителей, а теперь пытались вновь обрести свободу, проявлялась не меньшая жестокость. Профсоюз телефонных работников потребовал, чтобы вмешательство в их дела прекратилось и чтобы было созвано собрание, на котором пройдут свободные выборы руководителей союза. В 1949 году 1 апреля – эта дата, похоже, имела тайный смысл – должностные лица Особого отдела полиции Буэнос-Айреса ворвались в дома сорока телефонных работников, когда они еще были в постелях или только вставали, и без предъявления обвинений арестовали двадцать одного человека и

бросили их в тюрьмы своего подразделения. Необходимо процитировать показания, данные позже этими узниками и представленные палате депутатов членами оппозиции. Нелли Каролина Гарларде заявила, что 1 апреля 1949 года в 7.10 два переодетых полицейских ворвались к ней в дом, заявив, что ищут документы, которые не смогли найти в офисе (офисе профсоюза или телефонной компании?). Они схватили ее и препроводили в Особый отдел; ее отец настаивал, чтобы ему разрешили сопровождать ее, но безуспешно. После долгого допроса полицейские избили ее и вырвали ей волосы, потом, угрожая ей насилием, сорвали с нее почти всю одежду, окатили ее холодной водой и оставили стоять у открытого окна, направив на нее электрический вентилятор – эту операцию они называли «научная пневмония». И это невзирая на то, что у нее, как они знали, была менструация. Потом они завязали ей глаза и отвели ее в другую комнату, где, как она могла судить по разговору, сидело шесть или восемь человек; они били ее, оскорбляли, выбивали из-под нее стул – и все это время у нее были завязаны глаза и она была почти голой. Затем ее уложили на кровать, сунули ей в рот кляп, чтобы она не могла произнести ни звука, и применили к ней инструмент, который известен в Аргентине как picana electrica – ближайшим переводом будет «электрическое стрекало»; оно причиняет невыносимую боль и не оставляет следов. Этот прибор прикладывали к ее голой груди, к рукам, ногам и к паху. Затем ее заперли на ночь с шестью другими женщинами в камере пять на десять футов. На следующий день пополудни ее отпустили.

Еще одну женщину увезли прямо в ночной рубашке; с другой, Ниевес Боши де Бланко, обошлись еще более жестоко – когда выяснилось, что она беременна, один из ее мучителей угрожал, что ее ребенок появится на свет раньше времени, в чем он и преуспел, используя picana electro, поскольку бедная женщина потеряла ребенка вскоре после того, как ее освободили.

Все арестованные проработали в телефонной компании много лет; некоторые – больше двадцати. После освобождения их на три месяца отстранили от работы, а потом уволили. С того момента они не могли найти другой работы, и им не выплатили никакой компенсации.

Не только рабочие и работницы, чьи права Эва лично провозглашала столь громко, пали жертвами садистского обращения, но даже и те люди, которые были ее близкими друзьями. Киприано Рейес с сентября 1948 года находился в тюрьме. Когда Перoны жили в квартире на Калье Посадас, Рейес запросто навещал их почти каждый день; и главным образом благодаря его усилиям Перон вернулся с острова-тюрьмы Мартин

Гарсия. В качестве секретаря Партии труда он стал орудием в предвыборной кампании Перона, – он и в самом деле верил в те обещания, которые раздавал Перон профсоюзам, и некоторые из этих обещаний правда были даны без дураков. Рейес расстался с иллюзиями, когда Перон, став президентом, решил распустить Партию труда и создать Перонистскую партию. Рейес отказался наотрез, запугать его не удавалось, несмотря на полудюжину попыток расправиться с ним. Он был человеком большой личной доблести, который способен ясно мыслить и находить достойные аргументы, даже в каждую секунду ожидая нападения. Многих других членов Партии труда соблазном или угрозами убедили перейти в ряды перонистов. Увидев, что запугать Рейеса не удается, Перон попытался в 1948 году приручить его, предложив ему возглавить министерство, если он с остатком своей партии примкнет к перонистской своре. Его не устраивало, если Рейес, человек, имевший такой авторитет среди «людей без пиджаков», окажется в лагере оппозиции. Рейес не стал даже обсуждать это предложение – до тех пор пока не будет организована специальная встреча с участием вице-президента Партии труда и его ближайшего друга доктора Вальтера Беверагги-Альенде и не будет предан широкой огласке тот факт, что инициатива исходит от Перона. Поначалу его условия отвергли, но потом Эктор Кампора, президент палаты депутатов и «мальчик на побегушках» у Эвы, прибыл лично для того, чтобы сказать Рейесу, что Перон согласен, если только Рейес исполнит одну маленькую формальность – вежливо позвонит и пригласит сеньору де Перон.

Рейес, который сильно подозревал, что за всеми последними событиями его жизни стоит Эва, заявил в самых непарламентских выражениях, что не желает иметь с ней никакого дела.

Это было в мае. В сентябре того же года Рейеса и Беверагги-Альенде арестовали по обвинению в покушении на жизнь четы Перон. Обоих пытали – picana electrica снова пошла в ход, и радио играло на полную громкость, чтобы заглушить их крики и стоны, – для того, чтобы вырвать из их уст признание, что за их заговором стояли «североамериканские империалисты», признание, которое оба мужественно отказались представить. Их освободили в апреле следующего года благодаря судье, честность которого стоила ему должности. Вскоре Рейеса арестовали снова; на этот раз его обвинили в том, что в своем доме он нарушает закон, запрещающий азартные игры, обвинение совершенно смехотворное, поскольку и сам он, и его дом находились под неусыпным надзором полиции. Его друг Беверагги-Альенде избежал «попечительства» полиции и вместе со своей женой и маленькой дочерью скрылся в Уругвае, а оттуда перебрался в

Соединенные Штаты, где представил свой рассказ о тюремном заключении и пытках Организации Объединенных Наций. Неукротимый же Рейес все еще оставался в тюрьме[29].

Все эти случаи политических преследований не прошли мимо внимания оппозиции. На основе свидетельских показаний жертв был подготовлен рапорт, зачитанный в палате депутатов в июле 1949 года, несмотря на поведение членов перонистского блока, которые постоянно прерывали чтение и устраивали пререкания, после чего была сформирована комиссия по расследованию, куда вошли два депутата-перониста, Хосе Эмилио Виска и Ру-дольфо Декер, и депутат от радикалов, Артуро Фрондизи; но поскольку для кворума вполне хватало двоих, «расследование» провели без всякого участия доктора Фрондизи. Виска и Декер – оба прихлебатели Эвы – полностью игнорировали вопрос о виновности полиции и использовали свою власть для выявления антиаргентинской – читай антиперонистской – деятельности. Их суровость вошла в поговорку, поскольку они, применив закон о desacato, в одну неделю закрыли пятнадцать газет за то, что они не разместили должным образом на своих полосах слова: «Год освободителя, генерала Сан-Мартина». Казалось, они превзошли сами себя и в мае 1950 года председателем комиссии назначили Миеля Аскиа, протеже Эвы; но к тому времени ее первоначальные цели были благополучно забыты, несмотря на то, что незаконные аресты, заключение в тюрьму без суда и следствия и пытки продолжались.

В оправдание Эвы и Перона говорилось, что они, возможно, не знали о тех зверствах, которые совершались их именем. Но это неправда. Эва лично была в курсе всего, что происходило в Особом отделе полиции, который подчинялся не шефу полиции, но лично президенту, и чьи палачи, самые известные из них – Аморесано и Ломбилья, хвастались своей неприкосновенностью. В некоторых случаях полиция проявляла излишнее рвение вопреки инструкциям или действовала по собственной инициативе: ни в чем не повинный работник хорошо известной фирмы, производящей оптические приборы, был арестован и избит без всякой причины – просто потому, что проходил мимо здания Особого отдела. Да, гидру садизма, выпущенную на свободу, уже не всегда удавалось обуздать. Но то, что Эва была в курсе того, что творилось, и поощряла зверства Особого отдела, становится ясно из случая с Браво, поскольку мужественный рапорт доктора Кариде пролил свет на ту роль, которую играла в этом деле «Демократия» – газета Эвы.

В июне 1951 года на стенах домов в Буэнос-Айресе появились нацарапанные слова: «Где Браво?», а также: «Полиция вероломно

убила студента Браво!» По городу поползли слухи, что студент по фамилии Браво был схвачен полицией, а затем исчез; избитое и изувеченное тело некоего молодого человека подобрали на дороге, ведущей в Ла-Плата; мать Браво просила, чтобы ей позволили взглянуть на него, но ей отказали. 11 июня «Демократия» принялась, все отрицая, опровергать эту историю.

Шрифтом в полтора сантиметра заявлялось, что интернациональный коммунизм планировал устроить беспорядки с участием студентов университета. Далее шрифтом поменьше утверждалось, что Уолл-стрит и Коминтерн снова идут рука об руку. Публикация сообщала, что студент Браво близко общался с коммунистами и нес чуждые мысли в университетскую среду, что его с двумя друзьями полиция видела прогуливающимися поблизости от Особого отдела – не самое лучшее место для тайной сходки, если рассказ «Демократия» правда! – и что он сопротивлялся аресту и, прежде чем его смогли схватить, несколько раз стрелял; в доказательство этого газета поместила фотографию полицейского автомобиля с отверстиями от пуль в дверце и снимок бледного, но аккуратно причесанного Эрнеста Марио Браво – сразу после ареста. Доказательством того, что «Демократия» придавала этой истории большое значение, являлось то количество места, которое отводилось под публикацию; к 15 июня вся первая полоса и почти половина восьмистраничной газеты была посвящена этой теме; одна из статей имела заголовок: «Всегда почетно сражаться и умереть за Перона». Среди врагов, не желающих удостоиться такой чести, «Демократия» перечисляла дальше членов оппозиции, членов Демократического союза, среди которых большинство жили в изгнании в Уругвае, членов Коммунистической партии, мистера Джона Гриффитса – атташе по культуре американского посольства в Буэнос-Айресе – и «зловещую тень» – бывшего американского посла мистера Спруелла Брадена. Подобные подстрекательские материалы печатались в «Демократия» вплоть до 18 июня, когда распространились слухи о показаниях, представленных доктором Альберто Хулианом Кариде с риском для собственной жизни. Тот, кто не жил под властью диктатора, не может до конца осознать то невероятное воодушевление, которое пробудила новость хотя бы об одном мужественном поступке. Размноженные листы с текстом показания передавали из рук в руки через мраморные столики в кафе, в дверные проемы, на вечеринках между коктейлями, их везли в провинции в чемоданах самых обычных людей и в сумках девушек, и всюду они пробуждали сердца, разжигая пламя мужества.

Доктора Кариде, который знал нескольких чинов в Особом

отделе полиции, пригласили туда по поводу студента Браво. Коротко показания его сводились к следующему. На рассвете 18 мая 1951 года – если вспомнить, «Демократия» еще в июне уверяла, что полиция не знает ничего о местонахождении Браво, – его вызвали по телефону в приемную Особого отдела и сказали, что за ним уже выехала полицейская машина. Там ему сообщили, что ему выдадут его паспорт – совсем недавно он просил ускорить эту процедуру, потому что намеревался провести праздники за границей, – но сначала он должен осмотреть избитого узника. Доктор обследовал заключенного – высокого, крепкого молодого человека, который лежал на полу кабинета без сознания; все его тело было жестоко искалечено (доктор приводил конкретные детали), в особенности голова и плечи – лицо превратилось в сплошное кровавое месиво; на голове его зияла очень глубокая и болезненная рана, которая, когда доктор осматривал ее, заставляла юношу стонать, даже в бессознательном состоянии; у него были сломаны ребро и два пальца. Когда доктор доложил о его состоянии, один из офицеров полиции заметил, что лучше всего, наверное, избавиться от мальчишки, бросив его на дороге; он сказал, что парнишку били десять человек его подчиненных – без всякого его приказа – и что он может позволить ему остаться в живых, только если кто-то согласится его лечить здесь, в помещении Особого отдела.

Будучи близко знаком с сотрудниками этого подразделения, доктор Кариде наверняка сталкивался и с другими подобными проявлениями жестокости; возможно, его желание предпринять поездку за рубеж «по причине здоровья» свидетельствовало о его растущем отвращении к системе, в рамках которой он строил свою жизнь. Он не походил на человека с твердыми политическими убеждениями и едва ли имел хоть какое-то представление о политической принадлежности своих пациентов. Он видел в Браво только юношу, которого жестоко искалечили, и в тот момент решил спасти жизнь этого молодого человека, независимо от того, какому риску подвергнет себя и свою семью. Настало время, когда простая человечность превратила его в героя.

С той минуты, как он заявил о своем намерении, сам он и его дом оказались под постоянным надзором полиции; он не мог никуда выезжать – разве что в полицейской машине и в сопровождении полицейского офицера – и за ним следили даже тогда, когда он навещал своих пациентов. Полиция предупредила его, что «любая неосторожность с его стороны будет обозначать немедленное устранение его самого и юноши», и хвастала, что в случае необходимости им нечего бояться недовольства «сверху».

Доктор продолжал навещать юношу и после продолжительных настояний добился, чтобы ему выделили кровать и несколько одеял, а также выяснил, что фамилия пациента – Браво. Как только Браво пришел в сознание, а это случилось только через четыре-пять дней, во время визитов доктора ему стали завязывать глаза, а к доктору обращались под другим именем, чтобы юноша не смог позднее опознать его. Доктору сказали, что друзья заявили об исчезновении молодого человека и что в полиции ответили, что они его не арестовывали и что никаких обвинений ему не предъявлялось. Теперь в Особом отделе ожидали указаний «сверху», которые объяснили бы, что теперь делать с юношей. Они даже стали бояться, что в их отделение может нагрянуть инспекция, хотя честно признались, что в городе остались только два прокурора, инспекции которых они боятся, поскольку все остальные получили приказ не посещать Особого отдела без предварительного упреждения, которое даст офицерам время увести любого сомнительного узника через черный ход, который вел прямиком в участок на Пресинкт, 8. Через несколько дней поступили указания перевести юношу в другое место, и посреди ночи Браво накачали наркотиками, загрузили его вместе с его кроватью в грузовик и вывезли в домик в пригороде. Доктор, встревоженный состоянием сердца пациента, следовал за машиной. В своей новой тюрьме Браво оставался в постели.

9 июня, когда протесты, вызванные исчезновением Браво, достигли своего апогея, доктору сказали, что в его услугах больше не нуждаются, поскольку пришло распоряжение, чтобы узника освободить и отпустить на все четыре стороны уже на следующий день. Последние день или два Браво набрался сил настолько, чтобы вставать с кровати; его костюм отправили в чистку, а из его дома выкрали еще одну пару ботинок, поскольку те, которые были на нем при аресте, потерялись.

Доктор, который на протяжении трех недель пытался поставить юношу на ноги, с беспокойством ждал вестей о его возвращении. Несмотря на то, что доктор продолжал находиться под неусыпным полицейским надзором и был предупрежден, что за любую откровенность поплатится жизнью, он умудрился написать подробный отчет о случившемся и показать его доверенным друзьям, которые дали ему некоторые профессиональные консультации; они посоветовали ему придержать отчет до тех пор, пока ситуация не прояснится до конца. Когда 11 июня, вместо вести об освобождении Браво, «Демократия» поместила рассказ о его аресте, доктор и его друзья решили представить отчет Мигелю Анхелю Савара Ортису, одному из прокуроров, чьей честности полиция боялась как огня.

Но сначала требовалось увезти доктора из страны; это проделали с немалой изобретательностью, но доктор Кариде потерял свой дом и практику, он оказался разлучен с семьей и даже за границей жил в постоянном страхе за свою жизнь.

Только после этого стали распространяться отпечатанные копии его показаний, но оптимизм и воодушевление, которые они вызвали, погасли очень скоро.

Изо дня в день история Браво обсуждалась на страницах «Демократия» – разумеется, это была официальная версия и ответ на выдвинутые обвинения. «Насьон», которая со дня на день ожидала закрытия и экспроприации, как это произошло с «Пренса», 17 июня отважно опубликовала всю историю с подробностями, включая показания доктора и рассказ самого Браво. Протесты, вызванные отчетом доктора, принудили полицию освободить Браво и отправить под арест замешанных в этом деле офицеров. Но еще до конца июля Аморесано, Ломбилья и остальные с комфортом расположились в казармах конной полиции в парке Палермо без всякого внешнего надзора и в кругу друзей-приятелей, тогда как Браво и доктор Кариде по-прежнему прятались.

Похоже, что Браво арестовали за его принадлежность к коммунистической молодежной организации, и этим фактом пытались извинить то, как с ним обращались. Его политические убеждения не оправдывают ни в малейшей мере жестокости и несправедливости полиции и «начальства» и бесстыдного лицемерия редакторов «Демократия» и не умаляют героизма доктора Кариде. И не стоит успокаивать себя, что жестокость режима Перона распространялась только на коммунистов, поскольку единственной партией в Аргентине, свободной от преследований, являлась Перонистская партия. Радикалы, консервативные, словно английские тори, социалисты, консерваторы и те, кто вообще не интересовался политикой, были одинаково уязвимы. После выборов 1951 года лидеры многих партий отправились в тюрьму, включая Рикардо Бальбина и Артуро Фрондизи, кандидатов от радикалов, и доктора Паласиоса. Если их не пытали, то только потому, что на их стороне были симпатии слишком многих, чтобы безнаказанно их мучать. Полиция Перона истребляла богатых, дискредитировала влиятельных, запугивала иностранцев и терзала простых людей. Она использовала пугало коммунизма в качестве прикрытия, но при этом неизменно объединяла его с Уолл-стрит и с наиболее реакционными членами оппозиции. Судя по всему, Браво был исключительно отважным юношей – его избивали до потери сознания и приводили в себя для того, чтобы бить снова, но не

смогли заставить подписать «признание», он прекрасно учился в школе и во время военной службы получил медаль «Pro Patria»; именно таких ребят, которые не имели возможности открыто заявлять протест против несправедливости, которая их окружала, Пероны сами толкали в объятия коммунизма.

Ссылки офицеров на «начальство» могут относиться только к президенту и его окружению, перед которыми Особый отдел непосредственно отчитывался, а Эва замешана в истории еще больше, судя по тому, как «Демократия» настаивала на том, что полиции ничего не известно о Браво, уже после того, как та же полиция получила указания «сверху» убрать юношу из Особого отдела.

Те, кого Эва не могла очаровать своим обаянием и видом девочки, отмечали ее холодный взгляд рептилии. Она была бессердечна и безжалостна, независимо от того, отдавала ли она сама приказ о том, чтобы ее сограждан хватали и подвергали пыткам, или же пыталась убедить других, что факты подобной жестокости не получили доказательств.

И никак невозможно, чтобы она не знала о происходящем! И ее осведомленность обращает в ложь любые ее утверждения о сочувствии и симпатии к рабочим. Ее «любовь» к бедным людям Аргентины была болезненной любовью матери-собственницы; она любила их лишь до тех пор, пока они оставались в абсолютной зависимости от нее и послушно исполняли ее желания, до тех пор, пока они выражали свое обожание и преданность ей одной. И тогда она потворствовала им, как мать-невротичка потворствует своему единственному дорогому дитяте, дарила им игрушки, к которым тем не менее им не разрешалось прикасаться, и хвасталась перед гостями их взаимными нежными чувствами. Но стоило им проявить хотя бы толику самостоятельности, высказать мнение, противоположное ее собственному, и она набрасывалась на них, как родная мать порой набрасывается на своего ребенка, и наказывала самым безжалостным образом, какой только подсказывало ее больное воображение.

Глава 15

Лозунгом «людей без пиджаков» должны стать слова: кто плохо говорит о правительстве, получает то, что заслуживает. Давайте не станем пытаться переубедить его.

Э.П.

В связи с обсуждением и осуждением методов, которые использовала перонистская полиция, следует упомянуть, что и до прихода Перонов к власти в Аргентине полицейские порой действовали очень жестоко, – и вправду сказать, в какой стране не бывало отдельных случаев полицейских притеснений? Число их стало возрастать с момента установления военного режима в 1930 году; но Пероны, с их шпионами и их головорезами, с их арестами рано поутру и в полночь, с их переполненными тюрьмами, концентрационными лагерями и пытками, далеко превзошли своей безжалостностью любой другой режим со дней тирана Росаса, столетие свержения которого в 1952 году отмечать можно было только тайно; и это была не жестокость нескольких офицеров-садистов, но политика террора, направленная на то, чтобы покорить целую нацию. Пероны представляли собой южноамериканскую версию тоталитарного диктаторского режима, в меньшем масштабе, менее ужасную, менее эффективную, нежели нацистская система, которую она имитировала, зато более капризную, замаскированную под урбанизацию страны, не менее деморализующую и беспощадную. И жестокость кажется еще более неуместной в стране, где солнце светит так ярко, а улыбки так приветливы.

Тем, кто знает и любит Аргентину, разрушения, принесенные Пероном, кажутся еще более ужасными и горькими, потому что они ничем не оправданы. Страна не была перенаселена и бедна, как Италия или Германия, ее не тронули революция и война, как Россию; изобильная и мирная, она стояла на пороге великого процветания, будучи одним из главных поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, с неисчерпаемыми ресурсами, которые до сих пор оставались нетронутыми. Буэнос-Айрес был третьим по величине городом в Западном полушарии, по численности населения он приближался к Чикаго, и его улицы, которые мыли и подметали каждую ночь, сияли чистотой, как нигде в мире. И притом, что существовала глубочайшая пропасть

между жизнью в городе и жизнью в более отдаленных провинциях, Аргентина являлась самой передовой из всех стран Южной Америки и самой грамотной – до воцарения Перонов грамотность составляла около шестидесяти процентов, – и настолько богатой, что при достаточно честном правительстве она могла с легкостью достигнуть уровня жизни выше, чем в любой другой стране, не исключая и Соединенные Штаты. Если бы Перон обращался с рабочими с разумной либеральностью, направлял больше усилий на развитие сельских общин, нежели крупных городов, он бы получил надежную поддержку профсоюзов, не обращаясь к тиранническим методам, и Эва могла бы каждый год получать из Парижа платья стоимостью в сорок тысяч долларов и свои бриллиантовые серьги и кольца стоимостью в десятки тысяч каждое без того, чтобы страна ощущала на себе эти траты. Но никаких разумных причин, кроме собственных обид и амбиций, не имелось для того, чтобы совершать то, что творили Эва и Перон.

Программа реформ, предложенная Пероном, выглядела столь ослепительной в своих обещаниях, что любой готов был поверить, что, если бы Перон не находился под влиянием Эвы, он мог бы стать поистине демократическим лидером и войти в историю как величайший благодетель своей нации; но хотя Эва, без сомнения, поощряла коррупцию, нелепую пышность и ужесточение режима, Перон и сам прошел прусскую школу милитаризма, вдохновлялся напыщенными декламациями Муссолини и Гитлера и свято уверовал в тоталитаризм задолго до того, как повстречал Эву. Эва же до того, как встретила его, верила только в себя саму. Но именно она, с присущей ей безжалостностью и властностью, создала режиму намного больше врагов.

Ненависть к Эве постепенно захватывала не только олигархов и военных, которые были ее первыми неприятелями, но и либералов и лидеров профсоюзов, связывавших разрушение собственных иллюзий с влиянием Эвы на Перона, а затем и на самых сознательных и активных членов профсоюзов, которые видели, как исчезали некоторые из соратников, и начинали осознавать, какую цену им теперь приходится платить за повышение зарплаты. Но подавляющее большинство рабочих все еще стояло за Эву и Перона; только некоторые из них знали, что их товарищей пытают в застенках, поскольку перонистская пресса и радио не говорили об этом ни слова, а те, чьи родственники исчезали, зачастую были так напуганы, что хранили гробовое молчание. Любая печатная продукция, содержащая критику режима, обнаруженная в руках у человека, служила

доказательством desacato.

Месяца не проходило без того, чтобы не возникали слухи о заговоре с целью свергнуть режим, но до сих пор трудно сказать, имели ли они под собой хоть что-нибудь, поскольку участники заговоров, ясное дело, не объясняли об этом всем и каждому, а аресты и заключение в тюрьму никак не служат доказательством вины; многие из этих «заговоров» раскрывались настолько быстро и с такой страстью разоблачались в перонистской прессе, что наверняка их организовывали сами перонисты, которые использовали этот предлог, чтобы упечь в тюрьму членов оппозиции. Ни один из заговоров не увенчался успехом; да и сами они были не более чем инициативами отдельных групп – студенты запирались в университетах, богатые дамы устраивали демонстрацию на Калье Флорида, железнодорожные рабочие устраивали забастовку и взрывали мосты, группа офицеров пыталась захватить Кампо де Майо; никто из них не думал об объединении сил и серьезном выступлении.

В сентябре 1948 года все радиостанции неожиданно сообщили о том, что раскрыт заговор, участники которого собирались вероломно убить Эву и Перона, подложив бомбу на гала-представлении в оперном театре «Колон» 12 октября. Новость распространилась повсюду, и плакаты, разоблачающие заговорщиков, появились по всему городу через несколько часов после того, как были произведены аресты. Это была превосходная возможность переключить внимание с неудач режима в воплощении всего, что он обещал, возбудить в народе националистическое неистовство и отправить в тюрьму Киприано Рейеса и остальных. То, что Рейес и другие, так же, как он, утратившие свои иллюзии по поводу правления Перона, созывали собрания, на которых обсуждали вопрос свержения власти, не вызывает сомнений; то, что они устроили заговор, чтобы подло убить Эву и Перона в оперном театре, – невероятно. Наиболее сознательные представители оппозиции не считали террористический акт достойным методом освобождения от тирании, поскольку это могло развязать в стране гражданскую войну и кончиться очередной военной диктатурой. Известно, что Рейес с подозрением относился к некоторым армейским офицерам, которые, притворяясь недовольными перонистским правлением, предлагали ему свои услуги; он обсуждал свои планы с друзьями, которые – все до одного – были арестованы; среди них оказались слепой доктор, два священника и две женщины. Как уже говорилось, суд освободил их после шестимесячного заключения, но Рейеса арестовали снова по обвинению в нарушении закона об азартных играх.

Аресты и так называемый заговор вызвали настоящий взрыв перонистской истерии. ГКТ объявила однодневную забастовку, чтобы рабочие имели возможность свободно продемонстрировать свое негодование и свою лояльность; в костелах служили благодарственные мессы; полные грузовики «людей без пиджаков», размахивавших миниатюрными виселицами, приехали на Пласа де Майо, и толпы скандировали в горячечном ритме: «Эвита! Эвита! Перон! Перон!» С балкона Каса Росада Перон выкрикивал обвинения и угрозы, а Эва в эмоциональном оргазме кричала, что она сотни раз готова умереть за народ, добавляя жалобно: «Но почему кто-то может хотеть убить такую простую женщину, как я?»

Перонистская газета «Эпока» обвинила Соединенные Штаты в том, что они взлелеяли и финансировали этот заговор. Были вызваны из небытия зловещие фигуры Спруилла Брадена и Джона Гриффитса – теперь они превратились в классические пугала перонистского режима. Оба давно покинули страну: мистер Браден задолго до того вернулся в Вашингтон, а мистера Гриффитса, который больше не работал в посольстве, несколькими месяцами раньше обвинили в том, что он подстрекал банковских служащих устроить забастовку; проведя короткое время в тюрьме, он уехал из Аргентины; его арест был не чем иным, как способом выдворить его вон, поскольку он тесно сотрудничал со Спруиллом Браденом, который столь яростно осуждал режим. В Монтевидео Джона Гриффитса разбудили среди ночи жадные до новостей репортеры и стали задавать ему вопросы по поводу заговора, который он, предположительно, устроил; поначалу он не стал даже слушать, думая, что его разыгрывают.

В этом и в других подобных случаях Перон, не колеблясь, призывал толпу к насилию, что выглядело особенно чудовищно, поскольку исходило от высшего руководителя страны. В августе 1946 года, по другому поводу, он сказал: «Я совершу революцию на неделю раньше (чем оппозиция). Вопрос лишь в том, чтобы снабдить каждого «человека без пиджака» двумя ярдами веревки, – и тогда мы посмотрим, кто кого!»

Позднее он развил эту идею, предложив, чтобы «люди без пиджаков» носили с собой в кармане моток веревки для определенных целей. В сентябре 1948 года после того, как был раскрыт «заговор» Рейеса, Перон сказал, что его голос не дрогнет, когда он прикажет повесить своих внутренних врагов – в законодательстве Аргентины смертная казнь не предусматривалась, – а через несколько месяцев он призывал своих последователей быть готовыми «идти и защищать наше

дело. Очень скоро я укажу вам путь».

Когда никакие интриги уже не могли заглушить речей недовольных, «заговоры» стали раздувать из каждого мелкого инцидента, некоторые из них были прямо-таки абсурдны. Телеграмма, посланная родителям новорожденного весом в семь фунтов и поздравляющая их с прибытием трех с половиной килограммов динамита, привела к множеству арестов, включая и арест отца ребенка, пока наконец не разобрались, что подобный динамит посылается, как считают аргентинцы, самим Богом. В стране, где в каждом сельском доме имелась хотя бы парочка спортивных ружей, один англичанин угодил в тюрьму за то, что у него нашли винтовку. То, что оружие это было музейным и взорвалось бы в руках каждого, кто достаточно неосмотрительно попытался бы из него выстрелить, значения не имело. Иностранцы, жившие в Аргентине, в том числе англичане и американцы, не избежали незаконных арестов и нападений головорезов, но, насколько известно автору, на них не распространялось внимание Особого отдела. В целом угрозы в их адрес звучали не так часто, несмотря на то, что они достаточно громко ругали режим и аргентинскую слабохарактерность.

Постоянный рост недовольства среди трудящихся представлял куда более серьезную опасность для Эвы и Перона. Забастовки проходили все чаще, хотя сообщения о большинстве из них публиковались только в подпольных газетах, издававшихся радикалами и социалистами. Первые шесть месяцев 1950 года отмечены забастовками, а порой и неоднократными, самолетостроителей, докеров, официантов и поваров, работников молочной промышленности, дворников, матросов, строительных рабочих и рабочих консервного завода Свифта. На демонстрации протеста выходили муниципальные служащие, работники обувной фабрики и еще одного консервного завода, железнодорожники. Забастовки объявлялись незаконными, лидеров арестовывали. Эве в качестве добычи притащили нескольких из них, она выбранила их за то, что те так плохо себя ведут, тогда как у них такое хорошее правительство, и приказала вернуться к работе. Но забастовки не прекращались, а лишь набирали силу.

Самой серьезной угрозой из всех было растущее недовольство среди железнодорожных рабочих, самой могущественной группы трудящихся в стране. В ноябре 1950 года ремонтники объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, – следует помнить, что рост стоимости жизни постоянно опережал рост зарплаты; к ним скоро присоединились стрелочники, проводники

и кассиры. Министр транспорта обещал повышение, и люди вернулись к работе. Но в декабре они снова устроили забастовку, протестуя против того, что так и не получили обещанной прибавки, и требуя отставки руководителей профсоюза; забастовка была направлена скорее против них, в особенности против секретаря их профсоюза, Педро Лопеса, но не против правительства. И им пообещали то, чего они хотели, а Лопес ушел в отставку. Но ГКТ назначила в их профсоюз «инспектора», и к концу января 1951 года, после того как железнодорожным рабочим так и не разрешили выбрать руководство своего собственного профсоюза, а многие из их товарищей-забастовщиков, которых им обещали освободить, все еще оставались за решеткой, они снова прекратили работу. Перон отправил в отставку министра транспорта за то, что тот торговался с «нелегальными» забастовщиками, и, издав срочный декрет, подвел железнодорожных рабочих под закон о военном положении, уволил две тысячи и около трех тысяч бросил за решетку. Эва, которая воспринимала любую забастовку, кроме забастовок в поддержку перонистов, как личное оскорбление, переезжала с одной железнодорожной станции на другую, яростно разглагольствуя перед рабочими; но теперь ее встречали угрюмым молчанием, а порой – свистом и недовольными криками. А на стенах железнодорожных зданий появились зловещие слова: «Viva Peron Viudo» – «Да здравствует Перон-вдовец!»

Забастовщикам пришлось вернуться к работе; к середине года двадцать семь арестованных все еще оставались в тюрьме, без суда и следствия. Забастовки, обращенные первоначально против руководителей перонистских профсоюзов, которые, как говорили рабочие, разъезжали по стране в специальных поездах, словно они были олигархами, привели к тому, что в рабочих стал зреть гнев против Эвы лично, и умиротворению этого гнева никак не мог способствовать тот факт, что их силой вернули к работе.

Однако же в начале 1951 года даже самые отъявленные забастовщики, уволенные или прошедшие через аресты, даже те, кто был всерьез недоволен не только своим профсоюзным начальством, но и правительством, тревожили Перона значительно меньше, чем его собственное окружение, и в первую очередь Эва. Дефицит, к которому привела политика Перона, не так сильно затрагивал трудящихся, которые никогда не имели большой уверенности в завтрашнем дне или особого благополучия в дне сегодняшнем; у простого рабочего не было ни телефона, ни автомобиля, ни нормально отапливаемого дома, а его жена никогда не пользовалась газовой горелкой или

электрическим холодильником. Для готовки и отопления повсеместно использовался керосин, и больше всего людей не устраивала именно его нехватка, а также трудности, с которыми они сталкивались, пытаясь попасть на работу и вернуться домой поездом или автобусом. Еда их была настолько простой, что на их меню не сказывалось отсутствие никаких продуктов, кроме хлеба и мяса; рост стоимости жизни, который к 1951 году стал неуклонно обгонять рост зарплаты, во многих случаях возмещался тем фактом, что в недалеком прошлом в семье зарабатывал только мужчина, а женщины, если и брали стирку, получали не больше полутора доллара в день, а теперь все взрослые в семье могли работать, и женщины также вносили свой вклад в бюджет. Они никогда не жили в удобных домах и почти не чувствовали нехватку жилья в городе; даже те, кто прибыл с севера и населял трущобы пригородов, дома обитали отнюдь не в лучших условиях. Эти трудности куда больше отражались на «белых воротничках», которые привыкли к современным удобствам, а теперь вынуждены были носиться вокруг своих друзей-перонистов, выясняя, не хотят ли они, чтобы в маленький домик в пригороде опять дали газ или чтобы включили телефон.

Но Пероны сами усердно «подкапывали» свой режим, поскольку их политика потворства индустриальным рабочим в ущерб рабочим сельскохозяйственным начала приносить свои плоды в виде дефицита двух главных продуктов питания, и это касалось уже каждого человека в стране. Речь идет о хлебе и мясе.

Глава 16

Перон для аргентинцев – бог…

Э.П.

Слово «перонизм», отчеканенное по настоянию Эвы вскоре после того, как Перон был избран президентом, а Партия труда распущена, правду сказать, не имеет никакого смысла – даже в качестве политического ярлыка, и тем не менее оно вошло в употребление для обозначения всех и вся, хранящих личную верность Перонам. При всем их напыщенном поборничестве прав их «возлюбленных людей без пиджаков», Перонов не устраивало, что их партия непосредственно идентифицируется с рабочим классом или с любым другим классом. Перон лично определил слово «перонизм» как обозначающее то, что он называл «третьей позицией в политике», средней между капитализмом и коммунизмом, определение, которое, похоже, предоставляло своему автору всю возможную в этом мире свободу интерпретировать его так, как это было удобно ему в данный момент; и оно конечно же не подразумевало умеренности или стабильности любой центристской позиции. Но для Эвы «перонизм» был религией, и она раз за разом провозглашала себя ее фанатической приверженицей. Нет сомнения в том, что, если бы она осмелилась, она отменила в Аргентине католическую Церковь, как она уничтожила или выхолостила многое другое; но Церковь имела на людей не меньшее влияние, как и сама Эва, и Эве приходилось выказывать ей по крайней мере внешнее почтение. Но уважение, которое она выказывала, ограничивалось минимально допустимым. Правда и то, что она назначила своего личного духовника – эта его должность была, без сомнения, синекурой – главой церковного отделения Фонда Эвы Перон; но отец Бенитес показал себя почти что еретиком в том благоговении, с которым он относился лично к Эве. В своих домах и больницах она строила и церкви, но они никогда не были такими большими и так роскошно убранными, как комнаты, которые предназначались для ее личного пользования. Они с Пероном по праздникам ходили к мессе, но иногда они принимали в богослужении более активное участие, нежели подобает обычным членам общины или даже августейшим особам. Но так продолжалось только до тех пор, пока набожность была Эве на руку, и говорили, что ее недостаточная почтительность по отношению к священству стала причиной

охлаждения между кардиналом Копелло и правительством в течение последних года или двух.

В октябре 1950 года, когда кардинал Руфини, папский легат, прибыл в Аргентину, чтобы присутствовать на религиозном конгрессе в Росарио, Эва и Перон не приехали в аэропорт встречать его – они проводили выходные в Сан-Винсенте. Ходили слухи, что Перон послал в Рим за кардиналом специальный самолет, чтобы тот мог прибыть в Буэнос-Айрес до 17 октября и появиться вместе с Эвой и Пероном на балконе в Каса Росада во время празднования перонистской годовщины, но кардинал отказался присутствовать на празднестве и прилетел позже. Легат остановился в доме родственника Перейры Ираоласа, чью собственность Эва позже экспроприировала для своего дома престарелых. Было ли непочтеие, проявленное к папскому посланнику, своего рода местью, автору неизвестно; но кардинал Копелло выразил Перонам свое порицание, и они срочно отправились в Росарио, чтобы там воздать легату запоздалые почести.

Этот случай кажется особенно показательным на фоне другого происшествия, случившегося несколько раньше. Накануне религиозного конгресса в Росарио школа научного спиритизма Базилио провела свой конгресс в луна-парке, на закрытом стадионе, там, где впервые встретились Эва и Перон. На плакатах, объявляющих об открытии конгресса, была надпись: «Христос – это не Бог». Это возбудило яростные протесты священства и католических общин – среди недовольных был и друг Эвы – Иваниссевич, – которые окончились беспорядками у ограды луна-парка, и полиция разогнала народ с помощью слезоточивого газа. И по сей день никакой женский кружок в Буэнос-Айресе не может собраться, чтобы обсудить творчество Джейн Остин, без того чтобы предварительно не уведомить полицию и не сообщить ей всех деталей, а зачастую еще и не допустить на собрание офицера полиции, и потому весьма сомнительно, чтобы власти дали разрешение на проведение конгресса, не зная о том, какой текст предполагается разместить на плакатах; мало того, Перон, который изображал из себя патрона всех наук, составил послание, которое должен был зачитать участникам конгресса полковник Бальофет; и, разумеется, стадион украшали огромные портреты Перонов. Невозможно себе представить, чтобы Пероны не осознавали, что их горячая поддержка подобного еретического собрания выглядит прямым оскорблением Церкви. Кардинал Копелло выразил свое отношение достаточно ясно, приказав отслужить во всех костелах покаянные мессы, чтобы искупить подобное богохульство. И сразу

после этого Пероны выказали пренебрежение папскому легату. Извинения за подобную невежливость, которые были даны в письме, написанном в Верховную Курию отцом Бенитесом, проливают свет на любопытные взаимоотношения Эвы с Церковью. В нем он благодарит членов Курии за пожертвования, сделанные Фонду Эвы Перон, и, превознося Эву, упоминает ее серьезное увлечение спиритуализмом и то, что она поддерживает постоянный контакт с умершими, в том числе с Сан-Мартином, которые наставляют ее в политической деятельности. Церковь не одобряет подобной практики, продолжал Бенитес, но настанет день, когда Ватикан осознает истинную ценность ее исследований. Досадная неловкость, добавлял он, имела место из-за того, что Эва сочла себя слишком большой грешницей, чтобы обращаться с приветствиями к столь высокому духовному лицу.

Интерес Эвы и Перона к оккультизму неудивителен, поскольку они, подобно всем диктаторам, чувствовали себя очень неуверенно и пытались таким образом обрести некие гарантии на будущее в этом и в ином мире. Какое-то время они были убеждены, что узнали свою судьбу благодаря мистеру Кортни Лаку, англичанину, хорошо известному в Буэнос-Айресе из-за своих способностей предсказателя, которого Перон сделал директором института психологии. И то, что Эва верила, что общается с умершими и наделена благодаря этому сверхъестественной властью, вполне укладывается в рамки ее обычных фантазий.

Единственной религией Эвы был «перонизм», а его единственным догматом была вера в Перона. Какие бы чувства она ни испытывала к нему, они отступали перед ее разыгравшейся фантазией, как бы она ни обращалась с ним дома, а она пускала в ход свой язык против него столь же часто, как и против кого угодно другого, на публике она ни разу не дала повода усомниться в своей верности. Она наверняка считала, что и его и ее после смерти непременно канонизируют; но в ее речах и писаниях порой проскальзывает посягательство и на большее. Она создавала миф о Пероне, а заодно и о себе, в котором он был не только мудрым и добрым правителем, но и полубожественным королем.

«Иногда я думаю, – говорила она, – что президент Перон уже перестал быть просто человеком, что он скорее воплощение высшего существа. И именно поэтому наша партия должна дорожить им, как своим лидером, без страха, что он исчезнет в тот несчастный день, когда Перон во плоти оставит нас. Перон

всегда будет стоять перед людьми, словно идеал, флаг, маяк, словно звезда, которая в ночи указывает нам путь к окончательной победе».

«Я не могу помыслить о рае без генерала Перона, – об этом она говорила не раз и продолжала: – Но когда я думаю о том, что Сан-Мартина окружали предатели и что сам Христос был предан, почему это не может случиться и с Пероном?»

«Иногда я вижу, как у него рождается идея, которая кажется мне совершенно нереальной… и потом на моих глазах та же самая идея обретает форму… и мало-помалу его чудесные руки начинают воплощать ее в реальность». Паузы – ее собственные. По отношению к Перону Эва регулярно повторяла слово «чудесный»; она назвала день, в который встретила его, «чудесным днем» или же говорила о «чудесном смирении», с которым он снизошел до нее, и о его «чудесном сердце».

Скромная роль, которую она отводила себе при его божественной персоне, находилась в таком откровенном противоречии с реальностью, что многие видели здесь чистой воды пропаганду, без капли искренности, люди же из ближайшего окружения Эвы извлекли из этой роли немалую пользу для паблисити. Но для самой Эвы она значила больше. Это была необходимая и существенная часть тех фантазий, которыми она тешила и обманывала себя, ничуть не противоречащая ее неординарным амбициям, которые, ни в чем не находя удовлетворения, достигали пределов человеческих возможностей. Следующей ступенью была божественность и, превознося своего мужа и унижая себя, она, несомненно, провозглашала и свои собственные притязания. Она воспитывалась в католичестве, чей Бог и чьи святые проповедовали и практиковали смирение; смирение было знаком божественного. И показательно, что Эва простиралась ниц не перед Богом и Церковью, но перед Пероном и народом. Она говорила о себе, почти с психопатической настойчивостью, как о мосте, по которому люди могут прийти к Перону, – и здесь слышался отзвук той роли, которую играла в католичестве Дева Мария. Эва в экстазе падала ниц перед Пероном – разумеется, фигурально. «Я поняла, – писала она, – что больше не существую сама по себе и что он [Перон] живет в моей душе, он – господин всех моих слов и чувств, абсолютный хозяин моего сердца и моей жизни». Она называла себя «чем-то вроде рабыни» Перона и его тенью. «Я знаю, что есть огромная разница [между нею и Пероном]. Когда он наставляет меня, я просто цепенею. Если он может изложить проблему в четырех словах, у меня порой это занимает неделю. Если он принимает решения, то я – только предлагаю. То, что он видит ясно, я могу лишь смутно

разглядеть. Он – вождь, а я – только тень его высшего присутствия».

В ее речах и писаниях все это повторяется до оскомины во рту или, возможно, до превращения в некое заклинание. Она столько раз использовала слово «сердце» – в своих речах она навсегда открывала свое сердце, или отдавала, или останавливала его, – что Тристан для своих ехидных карикатур, нарисованных для «Вангуардиа», использовал в качестве основной темы маленькую подушечку для булавок в форме сердца; разумеется, он давно исчез. Но столь настойчивое использование слов «сердце», «самоотверженность» и «смирение» нельзя счесть только приемом экзальтированной демагогии или следствием некоей цветистости речи, естественной для испанского языка, оно было и болезненным признаком ее одержимости, которая в один прекрасный день еще станет материалом для психологического исследования.

Сам Перон не выказывал никаких признаков того, что его амбиции превосходят человеческую природу, и равно, невзирая на ту свободу, которую он ей предоставлял, и его поразительную лояльность по отношению к ней лично, ничем не показывал, что думает о своей жене как о чем-то большем, чем просто о человеке; в самом деле, в его отношении к ней порой замечалась некая покровительственность. Он позволял ей обожествлять себя, поскольку это соответствовало его желанию, чтобы им восхищались. На публике он был снисходительным мужем красивой и талантливой жены; в частной жизни, похоже, он ее слегка побаивался. Эва временами проявляла свой яростный темперамент, когда «господин всех ее слов и чувств» просто не прочь был поругаться, как всякий другой. Если кто-то становился свидетелем подобных сцен, Перон просто пожимал плечами и пояснял: «Моя жена сегодня так расстроена»… Складывалось впечатление, что он находится под каблуком у своей жены. Но одновременно с этим намеком на робость, и в общем и целом не в противоречии с ним, он явно гордился ее жестокостью и агрессивностью. После учреждения фонда он хвастался: «Скоро у моей жены в распоряжении будет больше денег, чем у меня!» А когда она показывала дорогому гостю свои наряды и украшения, он сказал с ухмылкой: «Неплохо для «людей без пиджаков», а?» Говорят, когда в ратуше в Тукумане был устроен фуршет с обильным угощением и Эва позвала уличных мальчишек, чтобы они поели, Перон заявил радостно: «Можете себе представить, какая это будет сенсация!»

Но нет сомнения, что он оценивал ее с собственных позиций,

а не с ее; она была для него женщиной, а не святой, и «перонизм» не являлся для него религией. На обеде, данном в 1951 году британским дипломатам, Эва неожиданно разразилась декламацией в пользу «перонизма», обычно приберегаемой для толпы на Пласа де Майо, – она делала это почти механически, словно нажали особую кнопку; и Перон пожал плечами, улыбнулся и пробормотал, извиняясь, что никогда не мог доверять женщине за обеденным столом; гости принужденно засмеялись, и Эва, смущенная, быстро закруглилась. Именно Эва, а не Перон фанатично поклонялась Гитлеру.

Перон препятствовал Эве только в нескольких случаях: он наложил вето на грант в четырнадцать миллионов долларов, за который проголосовали и сенат, и палата депутатов, и не дал никакого публичного объяснения своему поступку; в некоторых случаях он подвергал цензуре ее речи до того, как они появлялись в печати; говорят, что он временами ворчал на нее за то, что она вмешивалась в некоторые серьезные обсуждения. Но если он не произносил на публике столь страстных излияний в ее адрес, как она – в его, тем не менее он всегда отзывался о ней с большой теплотой. «Вы видите огромное влияние президента Фонда Эвы Перон – почему же это так? Потому что она хорошенькая и прекрасно одета? Нет. Она любима, уважаема всеми униженными, и они воздают ей почести, потому что она не может есть, или спать, или жить, не делая добра».

За первый шестилетний срок своего пребывания в кресле президента Перон не слишком изменился. Он немного пополнел и обрюзг; на некоторых фотографиях он выглядит довольно-таки потрепанным, словно стареющий актер, но, возможно, этим он обязан гриму, под которым он обычно скрывал шрам или любую царапину на щеке; при личной встрече он казался крупнее, здоровее и более добродушным, нежели те, кто его окружал. В прошлом Эва участвовала в создании его имиджа; она настояла, чтобы он, пока она ездила в Европу, вылечил свои зубы, после чего его улыбка стала еще более широкой и сияющей, чем раньше; именно она предложила ему носить в качестве верхней одежды белый пиджак даже зимой, чтобы на плохо отпечатанных фотографиях в аргентинских газетах его фигуру легко было заметить; позже, когда в глазах публики он несколько отошел на второй план, а она выдвинулась вперед, он отказался от этого нововведения, а она, похоже, перестала заботиться о его внешности. Он был так же трудолюбив, если и не так энергичен, как его жена, и его рабочий день начинался в 6 часов утра; но он отличался более флегматичным нравом и до Эвиной болезни практически никогда и ничем не проявлял своего волнения, разве

что, устав, курил трубку.

В 1951 году график жизни Эвы стал настолько плотным, что время, которое она могла проводить со своим мужем, сократилось до минимума и уходило на обсуждение их общей политики, на личную жизнь его уже не хватало. Эва сама говорила, что порой они не виделись по нескольку дней и она приходила домой тогда, когда ему нужно было вставать и отправляться в офис, и скромно добавляла, что в таких случаях он ее бранил. Они больше не проводили уик-эндов на лоне природы в доме в Сан-Винсенте, где когда-то она даже шокировала более женственных и консервативных аргентинских леди, появившись в подобном случае в брюках. Чету Перон больше не видели проезжающими вдоль кромки воды по вечерам, как они делали когда-то. Теперь у них не хватало времени для того «хождения в народ», которым они когда-то занимались вместе и которое так много дало их популярности; когда в 1947 году проводилась перепись населения, Эва и Перон появились в полудюжине рабочих домов и, пока Перон записывал сведения, Эва раздавала подарки таращившимся на них женщинам и детям; они значительно реже стали появляться на спортивных мероприятиях, тогда как поначалу взяли за правило вместе посещать самые популярные из них. Тем не менее по отношению ко всему миру они выступали на удивление единым фронтом; они демонстрировали, что в их взаимоотношениях ничего не изменилось и, разумеется, их любовь не остыла, и самые злейшие враги Эвы и Перона затруднялись найти какую-либо трещинку в их сентиментальном союзе.

Но Эва изменилась, и эти изменения были глубокими.

Чудесное цветистое творение середины века, донья Мария Эва Дуарте де Перон стала резкой, бесцеремонной деловой женщиной Эвой Перон, такой же красивой и еще более элегантной, чем прежде, в строгих костюмах от лучших портных, с бриллиантовой орхидеей на отвороте лацкана – почти такой же большой, как настоящая; ее светлые волосы зачесаны назад и собраны в тяжелый узел на затылке, ее худобу подчеркивают высокие округлые скулы и юный достаточно выпуклый лоб. Она все еще временами походит на маленькую девочку, но она утратила всю пышность и мягкость своей женственности, приобретя некий эмалированный лоск. Она была стремительной, сверкающей, хрупкой, словно стрекоза. Она возбуждала изумление, обожание и вражду, но больше не возбуждала желания. Когда она не улыбалась, а на публике она изображала почти непрестанную сияющую улыбку, ее рот складывался в

высокомерную, даже немного циничную гримасу; она встречала незнакомцев холодным, недоверчивым, оценивающим взглядом, однако, однажды убедившись в их дружелюбии, смягчалась до неожиданной теплоты, которая казалась искренней, но даже в ее искренности была частичка пафоса. Она все еще проявляла порой обезоруживающую откровенность и довольно свободно признавала, что она – то, что называется «раскаивающаяся брюнетка». Ее кожа была чрезвычайно бледной; ее частенько описывали как имеющую зеленоватый оттенок. На людях она выглядела на редкость уверенной в себе и уравновешенной, но руки выдавали ее эмоции и ее истинный характер; это не были мягкие белые руки кокетки или бездельницы, слабые руки мечтателя или святого; они были сильными, полными драматизма, вульгарными, и жесты ее были размашистыми и резкими, такими прерывает свою болтовню деревенская женщина, в них не замечалось ничего от самоуверенной элегантности или отточенных движений актера. Она обычно складывала руки на груди, словно прачка, махала указательным пальцем, чтобы подчеркнуть свой довод, отвергала любые возражения взмахом обеих рук, неожиданно хваталась за горло или же за бриллиантовую орхидею, словно бы тайный страх сковывал ее сердце, или же растопыривала пальцы на столе или балюстраде перед собой, чтобы показать свое нетерпение, если дело шло слишком медленно. Ее руки были сильными, вульгарными, нетерпеливыми, и говорят, что они всегда были холодными.

В свои роскошные наряды она одевалась теперь только по очень редким официальным поводам – в те длинные широкие юбки, которые она стала предпочитать для торжественных выходов вскоре после своего возвращения из Парижа и из-за которых ей приходилось становиться на шаг или два впереди тех, с кем она фотографировалась, – и она почти всегда была единственной женщиной в группе. В этих официальных нарядах она частенько позировала перед гобеленами, которые были развешаны по стенам резиденции исоздавали мрачный и царственный фон для ее бледной красоты; но чаще она фотографировалась у себя в кабинете, у микрофона или с группой руководителей профсоюзов или правительственных чиновников. Фотографий ее в неофициальной обстановке практически не осталось; да и в ее жизни было слишком мало «неофициального». Несмотря на великолепие и пышность ее окружения, она жила чрезвычайно суровой жизнью: ела лишь то, что позволяла ее диета, пила умеренно и вообще не курила на публике – Перон приносил для нее домой сигареты с угольными фильтрами. У нее вообще не было личной жизни и никаких удовольствий, кроме ее

работы. Она все поставила на службу одной цели, но цель эта являлась ее фантазией.

Голос, которым она разглагольствовала перед чернью, звучал почти так же резко и немелодично, как охрипшие голоса мальчишек, разносивших газеты, которые обычно кричали на углах Калье Корриентес; почти в каждой фразе он повышался до истерики и срывался; она говорила быстро, яростно, словно защищала что-то дорогое. Может быть, она пыталась защищать саму себя, потому что вся ее книга пестрит злобными выпадами и оправданиями[30]. В ее речах и ее писаниях шло бесконечное повторение одних и тех же выспренних фраз; она провозглашает абстрактные лозунги и пытается подкрепить свои заявления фактами и разумными доводами. Доказывая, что объединение профсоюзов необходимо перонистскому государству, она объясняет: «Это истина, в первую очередь потому, что так говорит Перон, а во вторую очередь потому, что это – истина». Она использует те же аргументы, какими равнодушная мать отговаривается от назойливых расспросов собственного ребенка. Эва с гордостью провозглашала, что действует и говорит от сердца, что скорее означало, что она действует и говорит импульсивно, под влиянием эмоций. Но хотя ее речи не утратили своей эмоциональности, их напор стал слабеть; она была все меньше мегерой и все больше – пророчицей. Она начала готовиться к своей финальной метаморфозе.

У Эвы не было близких друзей; у нее имелись враги, ученики, любовники, протеже, но только не друзья. Она общалась с несколькими женщинами, которые давали ей советы по части одежды и драгоценностей, но она обращалась с ними скорее как с фрейлинами, нежели как с подругами, и ее доверие к ним сохранялось недолго. Когда она достигла вершин власти, ее доверенным секретарем была Изабель Эрнст, подруга Мерканте, которая всегда стояла рядом с Эвой во время официальных церемоний, чтобы в случае чего помочь ей; но Эва обращалась с молодой женщиной настолько безжалостно – зачастую из-за работы она не успевала даже поесть, – что та заболела и ей пришлось уволиться. Одной из первых и ближайших подруг Эвы была жена Альберто Додеро, корабельного магната, которая некоторое время всюду разъезжала с Эвой. Но Эва хотела, чтобы ее компаньонки являлись к ней по первому зову в любое время дня и ночи, она не оставляла им времени на собственную жизнь, а миссис Додеро, американка по происхождению, которая и сама была занята в шоу-бизнесе, не собиралась отказываться от своей независимости; они поругались и разошлись. Одно время Эву обслуживала и ходила перед ней на задних лапках сеньора

Ларгомарсино де Гуардо, но две леди поссорились во время европейского турне, и по возвращении Эва перенесла свое покровительство на застенчивую и хорошенькую жену Эктора Кампоры. Эва была слишком требовательна, для того чтобы ее дружба хоть с кем-то могла выжить на этих условиях, и так же не могла допустить соперничества какой-либо женщины в социальной жизни, как не могла вынести соперничества какого-либо мужчины в жизни политической.

Эва сделала своих родных богачами; но она поступила так, чтобы обеспечить себе их верную поддержку; она не позволила никому из них соперничать с ней. Их фотографии очень редко появлялись в газетах, и их имена упоминались так же редко. Ее брат Хуансито был единственным, кому она позволила получить некоторую известность и к которому она, похоже, питала некоторую привязанность или уважение; говорят, что он умел успокаивать ее вспышки гнева, причем добивался этого мягкостью. Среди множества обладателей скандальных репутаций в Буэнос-Айресе он был самым заметным; ходили бесконечные рассказы о его спекуляциях на черном рынке и о его скандалах с женщинами в публичных местах. Его слава стала настолько зловещей, гласит история, что отец одной подающей надежды юной актрисы, видя, что его дочь попалась на глаза Хуансито, в одну ночь увез ее из страны. И тем не менее Хуансито Дуарте всегда сохранял близкие отношения с семьей президента. Старшая сестра Эвы, Элиза, стала чем-то вроде политического босса в Хунине, но поскольку Эва никогда не возвращалась в края своего горького детства, деятельность Элизы ни в коем случае не нарушала границ дозволенного. Бланку сделали инспектором школ, не самый высокий пост в данных обстоятельствах, и ходил слух, что Эва установила наблюдение за своей сестрой, чтобы убедиться, что та отправляется на работу к 7 утра, но не отличавшаяся трудолюбием Бланка потом опять возвращалась домой поспать.

Мать Эвы, грозная донья Хуана, скромно жила в квартире на Калье Посадас, где раньше жила Эва. Дом охранял полицейский, но больше не было никаких признаков того, что здесь находится резиденция важной персоны. Время от времени она приезжала в Хунин, чтобы навестить старых друзей, и тогда она занимала дом, который был не более просторным и лишь чуть-чуть более подходящим ее положению, нежели тот, в котором она жила в детские годы Эвы. Она любила комфорт и проявляла прихоти стареющей женщины: тратила свои деньги на массаж, косметические процедуры и за рулеточным столом в Мар дель Плата. Ходили слухи, что она страдала от бессонницы и что она

надоедала своей дочери с просьбами дать ей достаточно денег для того, чтобы перед смертью свозить свои старые кости за границу, но Эва, разозленная подобным кваканьем, отказала. Похоже, донья Дуарте также обращалась к оккультистам, и вполне возможно, что старая леди жила в смертельном страхе перед возмездием, которое падет на семью.

К началу 1951 года Эва Перон достигла зенита своей карьеры, хотя временами ее возможности расширять сферу влияния казались пугающе безграничными. Ей был тридцать один год, и за этот тридцать один год она достигла всемирной известности, ее грудь украшала дюжина разных национальных орденов, корабли, школы, парки, станции метро и даже звезда были названы ее именем[31]; она носила титул Первой Самаритянки; ее называли «Леди надежда» и «Защитницей рабочих» – казалось, еще немного, и к ее власти добавится власть, которую дает официальный статус в правительстве. Но ее амбиции намного превышали возможности этого мира, и она теряла связь с реальностью. Единственный близкий ей человек стал символом в царстве ее фантазии. Почести и слава скрывали пустоту, в которой она жила, ее одиночество.

Глава 17

Между тем я довольствуюсь малым: всего лишь каплей любви!

Э.П.

1951 год начался для Перонов зловеще – с забастовки железнодорожников, на которых не подействовали гневные осуждения Эвы; множились слухи и предположения, один кризис сменял другой.

В конце января «Пренса» была закрыта, и в апреле сенат единодушно проголосовал за ее конфискацию как «не исполняющей своих социальных функций, присущих любому институту внутри общества». Закрытие этой газеты, одной из известнейших в мире, было расценено многими как серьезная и грубая ошибка, за которую основную ответственность несет Эва, так как оно привлекло внимание демократических народов к внутренним проблемам, которые Перон старался не афишировать; Эва, однако, не проявляла особой чувствительности к зарубежной критике. «Демократия» была в первых рядах тех, кто клеймил «Пренса» и «Насьон» как органы «дегенеративной» олигархии, что было верно, поскольку одна из них была собственностью семьи Пас, а другая – семьи Митре, которые славились огромным богатством и были из самых прославленных в истории Аргентины. «Демократия» обвиняла их в том, что они получают субсидии из-за границы; это обвинение полностью лживо, поскольку газеты получали большую часть своего дохода от обыкновенной рекламы, что обеспечивало им определенную независимость; первые семь или более страниц в «Пренса» одно время отдавались под мелкие рекламные объявления. Эти газеты освещали события правдиво, в консервативном духе, а «Пренса», в частности, открыто критиковала антиконституционные декреты. В 1931 году именно «Пренса» заставила генерала Урибуру провести выборы, потому что, когда он попытался закрыть ее за критику диктаторских методов, старый сеньор Эсекиэль Пас, владелец и редактор газеты, пригрозил, что продолжит печатать ее в Париже и на первой полосе ежедневно будет объяснять причины изгнания. В октябре 1945 года «Пренса» призвала Верховный суд взять на себя функции правительства и тем самым снискала себе личную вражду Эвы; ее негодование против тех, кто не требовал восстановления правления Перона, казалось, росло с годами.

Едва только Перон вновь занял свой кабинет, как началась развернутая кампания против свободной прессы; «Пренса» была провозглашена врагом народа; профсоюз разносчиков газет, подстрекаемый ГКТ, отказался доставлять газету подписчикам и потребовал, чтобы ему выплачивали процент от дохода с рекламы; запас газетной бумаги был конфискован, а разрешения на импорт урезаны настолько, что издание в сорок страниц сократилось до шестнадцати, а потом до двенадцати и меньше. В начале 1951 года, когда «Пренса» продолжала публиковать новости о забастовке железнодорожников, ГКТ объявила газете настоящую войну; водители грузовиков и работники авиапромышленности отказались ее перевозить, телефонная связь и прочие услуги ей не предоставлялись, а фотографов ее отказывались пускать на стадионы. После того как газету заставили закрыться на месяц, около двенадцати сотен ее служащих – многие из которых питали к ней личную привязанность – были решительно настроены издавать ее и дальше. Но когда они пришли в редакцию, их атаковала банда перонистских громил, которые стреляли в них, убили одного и ранили четырнадцать работников. Вызванная полиция так и не появилась, и люди вооружились камнями и палками. Однако, когда работники газеты оттеснили нападавших и стало очевидно, что они сумеют выпустить новый номер, прибыла полиция и забрала шестьсот служащих в полицейский участок.

Поскольку «Пренса», одно время гордившаяся, что публикует больше зарубежных новостей, нежели любая другая газета в мире, не собиралась отказываться от услуг Юнайтед Пресс и исправляла сообщения, которые предлагало Аргентинское министерство информации, газету обвинили в том, что она пренебрегает национальными интересами. Сеньор Гаинса Пас, который сменил дядю в должности издателя, вынужден был бежать из страны, чтобы избежать ареста; старое, барочной архитектуры здание газеты заняли перонистские чиновники, хотя перонистская пресса с ликованием объявила, что здание передадут ГКТ для пользы народа. Эва заявила с цинизмом, возможно неосознанным, что фонд будет выплачивать зарплату тем, кто из-за этих событий потерял средства к существованию; говорили, что она предложила компенсацию семье убитого, но те отказались. Только несколько человек из тех, кто работал на «Пренса», устроились по своей специальности, остальные обнаружили, что найти работу где бы то ни было очень трудно, если не невозможно. Когда «Пренса» была окончательно передана ГКТ в ноябре, Эва послала письмо с поздравлениями, в которых говорила, что теперь страница правды займет место каждой

страницы, наполненной ложью.

Год шел своим чередом, и трудности в городе усиливались, налицо были все признаки экономического кризиса, который стал очевиден уже и для обычного человека: множились слухи о беспорядках, об усилении болезни Эвы, а тем временем приближались выборы, которые были назначены на февраль 1952 года. Заверениям Перона, что он не собирается остаться на второй срок, никто не верил, поскольку он сам, изменяя конституцию, сделал это возможным. Было похоже, что место Кихано на посту вице-президента сменит полковник Мерканте; Перон сохранял близкие и доверительные отношения со всеми чиновниками, сделавшими карьеру вместе с ним. Когда Мерканте стал бороться за пост губернатора провинции Буэнос-Айрес, Эва и Перон лично участвовали в его предвыборной кампании. «Поддержать Мерканте означает поддержать Перона», – сказала Эва. До сих пор не было и речи о том, чтобы Эва претендовала на вице-президентство, это казалось совершенно немыслимым в стране, где у женщин все еще не было избирательного права. Но весьма вероятно, что Эва думала о такой возможности с первых лет президентства Перона, когда начала агитировать за избирательное право для женщин. Ее амбиции всегда опережали события, она, возможно, уже видела себя на этом посту еще прежде, чем укрепилась в резиденции, а сейчас, когда ее избрание стало возможным, она желала канонизации.

В Аргентине идея предоставить женщинам избирательное право не встретила активной поддержки; большинство женщин политикой не интересовались и не чувствовали никакой ответственности за жизнь страны; за эту меру активно ратовали только образованные и либеральные представители оппозиции. Но поскольку Эву поддерживал Перон, она не нуждалась в общественном мнении, и хотя сами перонисты не одобряли подобных новаций, Эве не составило труда убедить сенат включить этот пункт в проект новой конституции.

Вопрос о том, должна ли женщина указывать в бюллетене для голосования свой возраст или нет, вызвал больше споров, нежели сама гарантия избирательного права. Эва, которая выступала по этому поводу перед палатой депутатов, заявила, что получает тысячи писем от женщин всей страны с просьбами о том, чтобы их возраст не разглашался – поистине печальное свидетельство умственного развития аргентинок, если это, конечно, правда. Депутат от радикалов Пастор заметил, что он может понять подобную учтивость в отношении одной женщины, но его весьма пугает такая обходительность в отношении четырех миллионов.

Такая учтивость, за которую ратовала Эва, давала ей некоторые преимущества, но не позволяла женщине обрести истинную независимость и заставляла женщин с амбициями обманом добиваться своего, но она также не позволяла наиболее благородным оппозиционерам нападать на Эву так, как они нападали бы на мужчину. Вполне возможно, что Перон был достаточно умен, чтобы предвидеть это, и отчасти поэтому позволил Эве так возвыситься.

Несмотря на все свои разочарования, Эва не была феминисткой. Если она продвигала в Аргентине женскую идею, то лишь потому, что так она продвигала вперед свою собственную карьеру и перонизм. Она высмеивала феминистских лидеров и утверждала, что своими «неудачами» они обязаны тому, что пытаются подражать мужчинам; место женщины – дома, – заявляла она так же твердо, как любая викторианка, и она отстаивала свое убеждение, что мужчины «в определенном смысле» выше женщин, – убеждение, которое никоим образом не ограничивало ее личной активности.

Поскольку Эва в своей личной карьере шла вперед, огромное число женщин, более заинтересованных в собственном продвижении, нежели в правах женщин вообще или в их социальной поддержке, перешло на ее сторону. Они в основном происходили из той среды, где женщины до сих пор могли только учительствовать или – реже – занимать мелкие должности в социальных службах. Возможно, из-за разочарований и трудностей, встающих в Аргентине перед женщиной, решившей самой делать карьеру, эти сеньориты практически образовали новый тип женщин-бюрократов, сама внешность которых была почти одинаковой; их изящные платья и тщательно продуманные прически защищали владелиц своей респектабельностью; эти женщины пудрились чересчур светлой пудрой и слишком ярко красились, используя одежду и макияж, словно оружие, которое они никогда не сложат. Зачастую сделать карьеру этих женщин заставляли сложные жизненные обстоятельства, но неуверенность в своем положении кроила их всех по одному стандарту, и всякое проявление индивидуальности подавлялось необходимостью выглядеть определенным образом и в первую очередь – респектабельно. Фонд Эвы Перон и Перонистская женская партия предоставляли этим женщинам возможность получать большую зарплату, но не давали духовной независимости; больше, чем когда-либо, их карьера зижделась на полном подчинении. В 1949 году в театре Сервантеса в Буэнос-Айресе проходил конгресс Перонистской женской партии, на котором около полутора тысяч этих женщин приветствовали Эву с энтузиазмом, граничащим с

истерией; единственным присутствовавшим на конгрессе мужчиной был Мерканте, но его полностью игнорировали. Некоторые из них в самом деле были фанатически преданы Эве, но большинство этих «senoritas» – многие из них были «сеньорами», но все они были в определенном смысле сама невинность – слишком близко столкнулись с ее режимом, чтобы сохранить свои иллюзии, и если они и обожали ее, то не как спасительницу отечества, но как женщину с головой, сделавшую неплохую карьеру. Это были не те женщины, которые были готовы пасть на колени при ее приближении и устилать ее путь розами, и к тем, кто так делал, они не испытывали ничего, кроме презрения.

Однако же, несмотря на то, что они получали неплохие зарплаты, пенсии и премии, им не позволялось никоим образом себя рекламировать. Среди подписей под десятками тысяч фотографий, которые публиковала Эва, почти не встречались упоминания каких-либо имен, кроме Перона и ее собственного; иногда только в прессе мелькали имена Мерканте, Алое, Эспехо или кого-нибудь из ее любимчиков-перонистов, еще реже упоминалось имя хотя бы одной из их жен; но женщины, которые работали на Эву в Перонистской женской партии, всегда оставались безвестными.

Перонистская женская партия оставалась полностью независимой от мужской Перонистскойпартии; Эва лично была ее президентом, и у партии были свои собственные штаб-квартиры, разбросанные по всей стране. Накануне выборов штаб-квартиры Перонистской партии открылись в Буэнос-Айресе почти в каждом квартале, и их дублировали штаб-квартиры «партии Эвы» – как можно было с уверенностью назвать женскую партию. При свете дня они пестрели бело-голубыми вывесками, перонистскими гербами и многочисленными портретами Эвы, а по ночам ярко сияли огнями, хотя улицы, где они располагались, освещались весьма скудно. Почти все плакаты с изображением Эвы были одинаковы: ее голова грациозно наклонена, на губах играет приклеенная благосклонная улыбка; из-за ханжеского выражения лица эти плакаты очень сильно напоминали плохо выполненную рекламу жевательной резинки или зубной пасты и никак не воздавали должного ни красоте Эвы, ни ее элегантности. Маленькие портреты были вырезаны в форме сердца, подобно открыткам в День святого Валентина, и из них складывали сердца большего размера.

Поскольку избирательное право для женщин стало законным, женщинам пришлось пройти поголовную регистрацию – голосование в Аргентине было обязательным; им выдали

маленькие книжечки для голосования, столь же необходимые для всякой работницы или бизнесменши, как мужские libreta de enrolamiento[32], чрезвычайно полезные в качестве инструмента контроля. В этих libretas не было упоминаний о возрасте, но они различались сообразно году рождения! Поскольку многие женщины не успели зарегистрироваться в установленный срок, Эва непосредственно перед выборами назначила новый; тех, кто воспользовался этим, долго выспрашивали, почему они вовремя не исполнили требования закона. Чиновники, которые работали на регистрации, не были членами Перонистской женской партии, но женщинам представлялось, что, скорее всего, это именно так.

Если новая избирательница и не вступала в партию, едва зарегистрировавшись, ей все равно не удавалось долго наслаждаться своей независимостью. В начале года Эва вместе с переписью населения организовала социологический опрос и массовую агитацию, и если домохозяек, которые не могли предъявить партийного билета, прямо не запугивали, то уже в самих повторяющихся визитах и опросах чувствовалась угроза, и все быстро поняли, что против каждого, кто продолжит упорствовать, будут приняты меры. В какой степени это понимание явилось результатом действий опрашивающего, а в какой – игры воображения тех, кого опрашивали, сказать трудно; но нет сомнения в том, что ни один человек не мог рассчитывать сохранить собственное дело, получать постоянный доход, если слишком упрямился. Домохозяйкам требовалось большое мужество, чтобы сопротивляться давлению, поскольку их зачастую опрашивали, когда они были одни с детьми в доме, а сплетни преувеличивали опасность; и тем не менее некоторые из них упорствовали, хотя их стойкость всячески подрывали родственники и друзья, которые, вместо того чтобы поддерживать их, говорили, что не подчиняться глупо. Тирания приносила плоды, и этому, к несчастью, весьма способствовали также и те, кто, опасаясь за собственную шкуру, умалял силу воли других.

Вместе со слухами об ожидаемом мятеже и о плохом здоровье Эвы прошел слух, что Эва собирается выставить себя кандидатом в вице-президенты. В начале года ГКТ начала организовывать демонстрации, призывающие к переизбранию Перона; каждый день в самых разных уголках страны собирались митинги и делегации рабочих, призванные в Каса Росада или в министерство труда, выражали свою «совершенную приверженность» Перону; Эва, будучи главой делегации Перонистской женской партии, лично прибыла в Каса Росада, чтобы подарить мужу золотые часы и умолять его оставаться во

главе правительства; а персонал министерства социального обеспечения совершил паломничество в Лиджан, чтобы помолиться за переизбрание Перона. Но никакого официального объявления о кандидатуре Эвы не было сделано. Похоже, никто не знал, откуда возник этот слух, но он неожиданно стал общеизвестным фактом, и оппозиция, которая видела в этом залог возможного падения Перона, встретила его даже с одобрением.

Эва сообщила о своих намерениях в речи, произнесенной 1 мая с балкона Каса Росада. 1 мая отмечался в Аргентине как День профсоюзов, и Пласа де Майо была забита толпами с плакатами, выражающими верность Перону.

«Мои возлюбленные «люди без пиджаков», – начала Эва, – в этот традиционный праздник аргентинских рабочих, в этот удивительный день Первого мая, в который все рабочие отмечают триумф народа и Перона над врагами и предателями родины, я хотела бы говорить от души, будучи исключительной, абсолютной сторонницей «людей без пиджаков».

«Я хочу говорить для Перона, для рабочих, для мужчин и женщин всего мира, которые хотели бы разделить с нами славу народа, поднявшего флаг, на котором написано «справедливость, свобода и независимость», на всех флагштоках родины».

«Я хотела бы, чтобы вы наделили меня властью, отдали мне чудесную и вечную власть рабочих, власть всех женщин, всех униженных, одним словом – всех «людей без пиджаков»…»

Четыре раза произносила она в этой речи: «Я хочу, чтобы вы наделили меня властью…» – и каждый раз делала паузу, ожидая, конечно, не просто аплодисментов. Но толпа не ответила ей; и ни один человек не выступил с призывом избрать ее.

Примерно в это время на улицах, практически на каждой стене, появился аккуратно нанесенный по трафарету лозунг:

CGT
PERON CUMPLE
EVITA DIGNIFICA[33]
1952/58

Дата, разумеется, перекрывала следующий президентский срок. Слово «cumplir» означает «выполнять обещания» или «исполнять долг». Слово же «dignifica» – «благородная, облаченная саном» – выглядит несколько неуместным по отношению к Эве в то время, когда ее газета «Демократия» готовилась напечатать истерические статьи, обвиняющие в исчезновении Браво истинных и воображаемых врагов.

Оппозиция была обречена на гонения, еще более жестокие, нежели те, от которых она страдала перед выборами 1946 года. Согласно новым декретам ей не позволялось сформировать какой бы то ни было коалиции, никакой новой партии, а всякая партия, которая не могла выставить своего кандидата, должна была быть распущена. Таким образом Перон не только лишил оппозицию возможности открыто объединиться против него – теперь ни одна партия не могла отозвать своего выдвиженца и убедить своих сторонников голосовать за какого-нибудь другого, более популярного оппозиционного кандидата. Радикальная партия, которая всегда была самой сильной из оппозиции, снова разделилась; одна фракция предпочитала кандидатов старой школы, а другая призывала искать новое, более энергичное руководство. Но каким-то образом они пришли к согласию, и были названы имена двух молодых депутатов: Рикардо Бальбина и Артуро Фрондизи. Обоим было за сорок, и до восшествия Перона они были неизвестными политиками, но открыто и мужественно противостояли ему и палате депутатов; они представляли наиболее либеральную часть радикалов. Но этот шанс был упущен; им не дали возможности выступать по радио – официально Перон провозгласил, что у них будет столько эфирного времени, сколько они смогут оплатить, но на самом деле ни одна станция не собиралась продавать им это время; только «Насьон» и выходящие нерегулярно подпольные листки сообщали об их выступлениях; никакие издательства не принимали их заказов, и они могли вывешивать только афиши, написанные от руки, и плакаты, которые печатали на собственных станках – в одном шаге от полиции, которая закрывала любую их типографию. Поскольку всякая критика правительства, невзирая на то, насколько ее подтверждали документальные доказательства, могла быть расценена как desacato, члены оппозиции после каждого собрания могли встретиться уже в тюрьме; Бальбин на протяжении всей предвыборной кампании то попадал за решетку, то выходил на свободу. Дома оппозиционеров были помечены позорными красными крестами. Доктор Паласос, который проходил по списку социалистов, заявил, что он собирается снять свою кандидатуру в знак протеста против невозможных условий, в которые поставлена оппозиция, но соратники по партии убедили его продолжать борьбу, поскольку, лишившись кандидата, партия на следующий день была бы распущена. Несмотря на все эти трудности, собрания радикалов в городе и в провинции посещались неплохо, в то время как Перонистская партия в некоторых отдаленных пуэбло облагала штрафами тех, кто уходил, не дожидаясь

окончания ее митингов. Но люди не собирались голосовать против Перона, поскольку они слишком устали от постоянных посягательств на свое время и свой карман. Один из деревенских почтовых служащих выразил то, что чувствовали многие и многие: «Я не перонист, – сказал он. – Но что будет с пенсией, которую они мне пообещали, если я проголосую против?»

В Буэнос-Айресе перонистские плакаты зачастую разрисовывали и портили: «Нью-Йорк таймс» писала о том, что один шутник, которому надоели бесконечные надписи «Viva Peron!» заменил фразу на «Viva yo!» – «Да здравствую я!» – и вскоре то же самое можно было прочитать на всех улицах.

Оппозицию еще больше встревожило неожиданное объявление, что выборы передвинуты на 11 ноября, это изменение, как поначалу казалось, было сделано единственно для того, чтобы ввергнуть в замешательство, но, как выяснилось позже, оно имело целью проведение выборов до того, как страна будет переведена на карточки.

На ежегодном приеме для военных накануне 9 июля, Дня независимости, отсутствие Мерканте показалось многим подтверждением слухов о том, что Эва собирается занять его место кандидата в вице-президенты. Ходили разговоры, что он стал чересчур популярен в Ла-Плата, столице провинции Буэнос-Айрес, и проявлял недовольство существующим режимом.

За эти месяцы железнодорожники так и не смирились с ситуацией; двадцать семь их товарищей, арестованных в том же году, все еще ждали судебного разбирательства. Необыкновенно сильные дожди размыли землю и обнаружили тела десяти или двенадцати убитых, захороненных на мусорной свалке; полиция заявила, что не может установить их личности, и представила неправдоподобное объяснение, что это будто тела, украденные с кладбищ ради саванов; все это были мужчины среднего возраста, а все особые приметы были уничтожены. Их так никогда и не опознали, или, по крайней мере, эта информация не была опубликована, и ходили слухи о том, что то были тела убитых забастовщиков.

31 июля, в полночь, железнодорожные рабочие объявили всеобщую забастовку, на следующее утро в три тридцать на разных железнодорожных линиях гремели восемнадцать взрывов и был взорван мост. Взрывов могло бы оказаться и больше, если бы власти, которых, очевидно, о чем-то предупредили, не выставили охрану в стратегически важных пунктах. День или два Перон, казалось, был мало обеспокоен этими беспорядками – он, похоже, считал, что держит ситуацию под контролем, и до 3 августа не было принято никаких особых мер. 3 августа,

поскольку машинисты не вернулись на работу в ожидавшийся срок, Перон снова объявил чрезвычайное положение и принудил железнодорожников прекратить стачку.

Забастовка была недостаточно хорошо организована, и рабочие не получили поддержки ни от студентов, которые совсем недавно выступали против исчезновения Браво, ни от военных, которые в то время планировали свой собственный мятеж. Перонистская пресса обвиняла во всем международный заговор, и «человек с улицы» до самого конца очень мало знал о том, что творится на самом деле.

С середины года Хосе Эспехо, глава ГКТ, начал приготовления к большим гонкам, которые должны были пройти 22 августа на Авенида де Хулио, которая разрезала город пополам так, как будто ураган проложил свой путь напрямую сквозь здания. Все вокруг понимали, что это мероприятие представит удобный случай для того, чтобы провозгласить кандидатуру Эвы. Хорошо вымуштрованные хоры «людей без пиджаков» уже добавили ее имя к своим молитвам о переизбрании Перона. Началась настоящая истерия, но она была спланирована искусственно; она включала в себя не только ежедневное паломничество в город провинциальных правительственных чиновников, которые были, без сомнения, искренне и лично заинтересованы в переизбрании Перона, но и прибытие множества профсоюзных делегаций и демонстрации рабочих по всей стране. Теперь даже дети были вовлечены в предвыборную кампанию, и на встречах со школьниками открыто происходило политическое усыновление восьми-, девяти– и десятилетних, как бы смутно бедняжки ни осознавали смысл этого мероприятия, и ради своих детей их родители не осмеливались прогуливать подобные собрания. В луна-парке в присутствии Эвы и Перона состоялось открытие детской железной дороги, а чтобы собрать толпу побольше, ребятам пообещали велосипеды и прочие призы. Тысячи детей, оказавшись без должного присмотра и страшно возбужденные мыслью о призах (многие из них боролись за место поближе к Эве, чтобы отдать ей письма с просьбами, доверенные им родителями), устроили настоящее побоище, в котором, согласно рапортам, двести пятьдесят детей были ранены и двое убиты.

В честь Дня труда и Дня верности Перону гонки организовывались ежегодно, но они не шли ни в какое сравнение с гонками 22 августа; говорили, что на них будет присутствовать два миллиона «людей без пиджаков», большинство из которых – приезжие. На проспекте соорудили сцену, вывесили портреты Эвы и Перона величиной с дом, на каждом фонарном столбе

установили громкоговорители и повсюду развесили плакаты, наклейки, вымпелы и флаги. Желая выразить свою преданность, люди совершали самые экстравагантные поступки, многие из этих людей, без сомнения, рассчитывали привлечь внимание Эвы и получить некое вознаграждение, пропорциональное абсурдности подвига. Исполненные надежд люди приезжали в город из провинций, расположенных за сотни миль, одна пара привезла свою малолетнюю дочь, другой явился с мешком пшеницы на плечах, все несли с собой два имени-талисмана; один человек дотащил свой автомобиль в Лухан и обратно, другой проделал две сотни миль на вершине катящейся бочки; вся страна превратилась в цирк, и «Демократия» провозгласила с торжеством, что расходы на гонки превзошли все ожидания. 22 августа по всей стране было объявлено выходным днем, но многие провинциальные города решили, что они будут праздновать несколько дней, чтобы дать людям возможность добраться до столицы и вернуться обратно. За сорок восемь часов до гонок весь общественный транспорт, поезда, самолеты, автобусы, речные катера были зарезервированы для бесплатного проезда тех, кто собирался примкнуть к демонстрации. Только из одного Росарио прибыло двенадцать специальных поездов, двадцать четыре автобуса транспортной системы Росарио, девять частных автобусов, зафрахтованных ГКТ, и шестьсот грузовиков. Вереницы богато украшенных частных автомобилей наводнили город, и, согласно сообщению «Демократия», в Каса Росада ежедневно получали по десять тысяч телеграмм от тех, кто был не в состоянии приехать.

В кварталах, окружающих Авенида де Хулио, движение перекрыли; проезд на метро и в трамваях для тех, кто смог туда втиснуться, был бесплатным. На площадях устраивали барбекю, чтобы накормить толпы, шумящие как на карнавале; для большинства собравшихся это был просто повод для кутежа. Толпа не казалась чересчур яркой, поскольку аргентинцы одеваются обычно скромно, и только в костюмах провинции Андриан пестрели яркие краски инков; сельских жителей легко было узнать по простым и грубым одеяниям. Некоторые носили широкие хлопковые бриджи, другие были подпоясаны ремнями с серебряной чеканкой, в сапогах гармошкой и с шерстяным пончо, небрежно переброшенными через плечо. Некоторые надевали пончо, служившие селянам и одеялом, и верхней одеждой, прямо поверх городского платья. Только самые молодые и смелые из девушек надели ярко-розовое и голубое – вызывающий жест, попытка протеста против бесцветности жизни; женщины постарше были одеты в черное, они вели за руки маленьких детей и несли

пакетики с едой или же спокойно сидели на крылечках или скамьях, держа младенцев на коленях, – плодовитость в Аргентине никого не смущала. Женщины и девушки, похожие на средневековых цыганок, которые появлялись только во время подобных особо торжественных праздников, несли на головах подносы с тушеным мясом. Уличные торговцы заполнили свои лотки флагами, пуговицами, эмблемами, розетками, булавками, бантами, и все это было украшено двумя магическими именами, а рядом покупателям навязывали портреты и открытки с изображениями правящей четы. Из громкоговорителей по обе стороны проспекта лились перонистские песни и марши, и толпы, шествующие группами под своими знаменами, подготовленными специально для этого случая, весело кричали и скандировали новый боевой клич: «Перон! Эва Перон!» Но, несмотря на то, что огромный проспект, казалось, был заполнен от стены до стены, ожидания ГКТ не оправдались: согласно подсчетам, здесь присутствовало не больше четверти миллиона человек, тогда как ожидалось два миллиона.

Это сборище назвали Cabildo Abierto, или открытой ассамблеей, в честь знаменитой Cabildo Abierto 1810 года, когда жители Буэнос-Айреса голосовали за свержение вице-короля. Примерно в пять часов пополудни Перон появился на сцене в сопровождении Хосе Эспехо и прочих активистов ГКТ и адмирала Тессайре, президента Перонистской партии. Но Эвы не было, и Эспехо, который говорил первым, высказал свое мнение.

«Мой генерал, – сказал он, – мы замечаем, что здесь кое-кто отсутствует, мы замечаем отсутствие вашей жены, Эвы Перон, которой нет равной в мире, в истории, в любви и почитании аргентинского народа. Товарищи, возможно, ее скромность, которая является, вероятно, самым большим из ее достоинств, не позволила ей присутствовать на этом собрании, но Cabildo Abierto не может продолжаться без товарища Эвы Перон».

За Эвой отправили эскорт, состоящий из руководителей ГКТ, и вскоре она появилась, без шляпы, одетая с той простотой и элегантностью, которой можно добиться только при наличии времени и денег. Толпа проревела свое приветствие, и Эва с Пероном подняли руки в знак того, что они его принимают. После того как прозвучал гимн, Эспехо заговорил снова, попросив Перона выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание и умоляя Эву баллотироваться на пост вице-президента.

Ответ Эвы по большей части был горьким обличением олигархов – а каждый, сказала она, кто не является перонистом, есть олигарх, – которые все еще плетут заговоры, чтобы перевернуть страну вверх дном, и она лично, «слабая

аргентинская женщина», не избежала клеветы и нападок; но она бесконечно счастлива, если своей грудью может защитить Перона от всех атак, потому что «они направлены не на Эву Перон, но на самого Перона». Ее ответ и колебания, с которыми она принимала свое выдвижение, – она сказала только, что сделает то, чего хочет народ, – показали, что она хорошо осознавала, какое сильное противодействие может встретить ее кандидатура. После того как Перон кратко рассказал о доктрине Justicialismo и о том, какие жертвы он лично принес ради своего народа, Эспехо настоял на том, чтобы Эва высказалась с полной определенностью. Затем последовал забавный спектакль: неуверенные отказы, попытки убедить, колебания и наконец капитуляция. Эва умоляла собравшихся не заставлять ее делать то, чего она не хочет, и просила несколько дней на раздумья. Но толпа, подстрекаемая Эспехо, шумно требовала, чтобы она дала ответ сейчас. «Нет! Нет!» Она беспомощно смотрела на Перона и просила позволить ей подумать, хотя бы несколько часов, но люди требовали немедленного решения, ведь большинство из них с раннего утра находились на ногах. Со слезами на глазах, дрожащим голосом она произнесла: «Я сделаю то, чего хочет народ».

С криками и песнями народ разошелся, чтобы продолжать развлекаться в бесплатных театрах и кинотеатрах, которые открывались в полночь; драматическим актерам и прочим артистам было приказано с одиннадцати тридцати быть на рабочих местах. Это решало проблему ночевки такой толпы.

Поздно вечером Перонистская партия официально заявила о выдвижении Перона и Эвы Перон на посты президента и вице-президента.

Великое празднество было закончено, но город уже не мог успокоиться.

Накал страстей достиг высшей точки, и со дня на день ждали демонстрации протеста; каждый сплетник выдвигал собственные предположения, но все сходились в одном – выдвижение Эвы не пройдет без ответных выступлений. Однако последовало лишь заявление, сделанное ею самой.

Ночью 31 августа, в десять тридцать, Эва неожиданно выступила по всем программам аргентинского радио. Она говорила тихо, без всяких эмоций.

«Это – мое окончательное решение, – сказала она, – отказаться от той чести, которой рабочие и народ моей страны желали почтить меня во время исторического Cabildo Abierto 22 августа. Я заявляю, что это решение подсказано моим внутренним голосом и что оно абсолютно свободно и является выражением

моей последней воли».

Она говорила о великом счастье жить и работать вместе с генералом Пероном и о клятве, которую она дала, – клятве сохранить страну и ее униженный рабочий народ.

«И в дальнейшем, так же, как и сейчас, у меня останется одно-единственное желание, одна личная великая цель: чтобы в тот миг, когда будет записана потрясающая глава в истории, посвященная Перону, обо мне было сказано: «Рядом с Пероном была женщина, отдавшая всю себя тому, чтобы рассказать президенту о надеждах его народа, которые Перон превратил в прекрасную реальность, и что эту женщину люди с любовью называли «Эвита».

Она добавила также, что никто не сможет сказать, что ею руководили какие-то личные эгоистические амбиции. «Я знаю, что каждый из «людей без пиджаков», кто действительно любит меня, всегда будет желать, чтобы моим словам верили, и никто, если он не до конца озлоблен, не усомнится в моей честности, верности и искренности. Именно поэтому я хочу, чтобы мои «люди без пиджаков» оставались спокойны. Я не отказываюсь от работы или борьбы, я отказываюсь только от высокой чести».

Это заявление, само по себе драматичное, появилось слишком скоро и было совершенно неожиданным после всех тех истерических приветствий, которыми ее осыпали всего за десять дней до этого, и тем более впечатляло, что было сделано сломленным и почти больным голосом. Стало ясно, что Эвиту гнетет какая-то страшная тяжесть, она находится на грани полного краха.

Глава 18

С того дня я думала, что умереть будет нетрудно, если тебя кто-то любит. Или еще проще: умереть ради любви.

Э.П.

Именно давление армии в конце концов заставило Эву отступить; военные чины, очевидно, пригрозили Перону лишить его своей поддержки, а может быть, поднять восстание, если кандидатура Эвы не будет отозвана. Для них была невыносима сама мысль о том, чтобы оказаться под командованием женщины – поскольку, если президент умирал, руководство переходило к вице-президенту. И тем не менее действия военных, вероятно, не достигли бы цели, если бы на помощь не пришли новые обстоятельства. Растущее недовольство в народе, и в особенности среди рабочих, ослабило позиции Эвы, у нее становилось все меньше сторонников, несмотря на мероприятия типа Cabildo Abierto, где в последнее время собиралось куда меньше людей, чем ожидалось. Из ее речи 1 мая ясно, что, призывая народ наделить ее властью, Эва думала, что вся страна поднимется и потребует ее выдвижения. После Cabildo Abierto ходилиразговоры об отставке Эспехо и о полной реорганизации ГКТ, которая, без сомнения, была бы проведена, если бы Эва не выбыла из игры.

Центром неподчинения оказалась Ла-Плата, столица провинции Буэнос-Айрес, власти которой никогда не были столь преданы режиму, как чиновники столицы; один судья из Ла-Плата даже ответил дерзостью на требования ГКТ изменить ход одного из дел. Полковник Мерканте снискал репутацию прекрасного губернатора; его резиденция находилась в Ла-Плата, где военные и часть перонистских депутатов хотели выдвинуть его кандидатом на пост вице-президента. Сообщалось, что тысяча перонистов отправилась из Ла-Плата на Cabildo Abierto с флагами, на которых было написано имя Мерканте, и что их силой заставили повернуть обратно.

Еще до отказа Эвы среди перонистских депутатов провинции наметился раскол, двадцать семь человек, поддержавших кандидатуру Эвы, удалились с заседания, оставив двадцать пять, предпочитавших Мерканте. Что случилось вскоре после того на закрытом собрании, которое они провели в присутствии Эвы и Мерканте, разумеется, не раскрывалось; говорили, что Эва

использовала всю свою способность убеждать, уговаривая перонистских депутатов твердо стоять за Перона. Какие бы аргументы ни использовались, но Эва и Мерканте оба сняли свои кандидатуры, и было объявлено, что на пост вице-президента будет баллотироваться доктор Кихано. Доктор Кихано[34] в это время лежал в клинике на операции, весьма серьезной для человека его возраста; по-видимому, он был единственным, кто никак не мог повлиять на ситуацию, и потому устраивал обе фракции. Перон не присутствовал на этом заседании, демонстрируя свое равнодушие к внутрипартийным баталиям. Это стало первым крупным поражением Эвы, и сразу же после него она произнесла в эфире речь, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента.

В перонистской прессе объявили, что решение Эвы обусловлено существующим законодательством: кандидаты в президенты и вице-президенты должны быть старше тридцати лет, а Эве, как утверждалось, было только двадцать девять. Это выглядело не слишком убедительно на фоне ее речей о самопожертвовании, даже если бы и было правдой, а ей на самом деле исполнилось уже тридцать два. Но и ее возраст едва ли мог долго оставаться тайной, в особенности после того, как в мае ее день рождения объявили Днем любви и благодарности и отпраздновали широко, со множеством цветистых речей и подарков. Сразу же после ее отказа Рауль Апольд, министр информации, распространил сообщение о том, что Эва страдает от анемии и больна гриппом. Эва, которая была в полуобморочном состоянии, когда произносила свою речь 31 августа, действительно заработала нервный срыв и неделю оставалась под медицинским наблюдением. Все ее планы рухнули, и унизительность поражения можно было как-то сгладить, только войдя в роль мученицы, чему немало способствовала и ее болезнь. В последний год по поводу анемии ее наблюдал доктор Заварски, польский специалист по болезням крови; гемоглобин у нее упал до 3500 против 5000 в норме, и слухи, вечно все преувеличивающие, приписали ей наклонности Дракулы. С поразительным упорством она продолжала придерживаться своего изматывающего графика, не желая дать себе послабление, не позволяя даже обсуждать этот вопрос. Как-то на обеде в резиденции Эва заметила, что доктор Заварски беседует с Пероном с глазу на глаз, и пожелала узнать суть разговора. Доктор отвечал, что предостерегал его превосходительство и говорил о том, что ее положение весьма серьезно и что ей не стоит так много работать. В ярости она бросила доктору в лицо салфетку с криком: «Я просила вас не

обсуждать мое здоровье с президентом!»

Вероятно, именно во время нервного заболевания, когда она находилась под действием успокоительных средств, и был призван доктор Рикардо Фионочиетто, директор клиники президента Перона; ее в первый раз обследовали и заподозрили рак матки; до тех пор она отказывалась проходить обследование. В конце сентября доктор Джордж Т. Пак, специалист по раковым опухолям из Мемориальной больницы Нью-Йорка, прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы выступить на конференции онкологов; тогда же к нему обратились, чтобы он осмотрел Эву. Она по-прежнему, как, вероятно, даже после операции, оставалась в неведении относительно своей болезни и не знала, что доктор Канонико консультировался с доктором Паком по поводу ее состояния. Похоже, она как многие простые люди, боялась врачей и особенно врачей-иностранцев. В октября доктора Пака снова вызвали в Буэнос-Айрес осмотреть Эву; когда он пришел, она находилась под наркозом и, скорее всего, так и не узнала, что он ее обследовал. И, разумеется, все это держалось в тайне от общественности, которая не могла понять неожиданную просьбу Перона о длительном отпуске, отчего и возникли слухи о том, что они с Эвой собираются бежать из страны, не дожидаясь ее экономического краха.

Но на некоторое время внимание публики было отвлечено от драматического исчезновения Эвы из общественной жизни. В 11.10 28 сентября по радио было объявлено, что армия взбунтовалась; через несколько минут Эспехо призвал ГКТ к всеобщей забастовке в знак протеста против мятежа. Вскоре радио стало транслировать заявления о том, что мятежные офицеры будут расстреляны, а около часа дня было объявлено о подавлении восстания. Эта попытка, судя по всему, была очень плохо спланирована. Рано утром восставшие самолеты бунтовщиков с военной авиабазы в Эль-Паломар и с военно-морской базы в Пунта дель Индио вылетели в сторону города, разбрасывая листовки, призывающие к восстанию; согласно перонистским сообщениям, над городом летали только два тяжелых самолета, но согласно свидетельствам очевидцев, их было тридцать или сорок. В Кампо де Майо генерал Менендес перекрыл ворота, ведущие к офицерской школе, в которой в то же утро в присутствии Перона должен был быть преподнесен флаг. Согласно сообщениям в перонистских газетах, стремившихся всеми силами преуменьшить значение этого выступления, Менендес захватил офицеров, прибывших на церемонию, но двое караульных вскочили на лошадей и успели предупредить своих командиров, которые вскоре и появились на сцене с

подкреплением; противники обменялись несколькими выстрелами, и один из перонистских сержантов умер со словами: «Viva Peron!» Согласно другим сообщениям, армейские офицеры заметили необычное оживление на воздушной базе Эль-Паломар, прилегающей к Кампо де Майо, и поспешили в город, чтобы предупредить Перона. В докладе же радикалов, который появился в подпольной газете «Сьюдадано», утверждалось, что в ГКТ к тому времени уже были организованы ударные группы и именно их немедленная реакция на речь Эспехо способствовала провалу восстания. В «Сьюдадано» приводились копии контрактов, заключенных в том году с одной аргентинской фирмой на поставку пяти тысяч автоматов и двух тысяч карабинов Фонду Эвы Перон; это оружие, согласно комментарию редактора, предназначалось для тех самых ударных групп, которые столь наглядно доказали свою эффективность еще в сентябре.

Менендес и его соратники пытались связаться со своими сообщниками в Эль-Паломар, но похоже, по дороге в Буэнос-Айрес их схватили; их провал, судя по всему, был обусловлен их собственной нерешительностью, недостатком организации, вероятно, взаимным недоверием, и, несомненно, в их рядах имелись шпионы и предатели, – в той же мере, в какой он явился следствием решительных действий со стороны Перона. Они не сделали даже попытки добиться поддержки гражданского населения. Продолжалась старая песня: каждый за себя, и энтузиазм некоторых бунтовщиков был сильно поостужен отречением и болезнью Эвы.

К двум часам пополудни армейские реактивные самолеты скользнули над крышами домов, демонстрируя свою верность режиму и силу, и «люди без пиджаков» снова стали стекаться к Пласа де Майо, чтобы поддержать речь своего «лидера» криками: «На виселицу! На виселицу предателей!»

В суматохе об Эве не вспоминали – до тех пор, пока все не закончилось. В тот день ей сделали очередное переливание крови, и она была слишком слаба. Услышав о том, что на площади собрались толпы, она хотела подняться и говорить с ними – она не могла вынести, чтобы ее так внезапно и бесповоротно отстранили от дел; и когда оказалось, что отправиться на площадь она не может, она настояла на том, чтобы, не вставая с постели, произнести речь в эфире. Слабым и дрожащим голосом она молила народ следовать за Пероном так, как они сделали это сегодня, до самой их смерти, потому что Перон достоин этого, потому что он добился этой победы, потому что они должны доказать свою любовь к нему, предав позору его врагов, которые являются врагами родины и всего народа.

«Всех вас я обнимаю от всего сердца, – завершила она свою речь. – Для меня в мире нет ничего, кроме любви Перона и моего народа».

Насколько безрезультатной оказалась попытка восстания, видно из того, что Перон использовал ее как оправдание для последующих арестов своих противников и для того, чтобы подхлестнуть патриотические чувства накануне выборов с помощью вечных пугал – американского империализма и мистера Спруилла Брадена, невзирая на то, что Менендес был известен как ярый националист и антиамериканец. Многие из восставших бежали в Уругвай на присвоенных самолетах. Согласно официальным сведениям, было проведено около двухсот арестов, согласно неофициальным источникам, около двух тысяч человек отправились в концентрационные лагеря на юге страны. Среди арестованных был и генерал Менендес, и генерал Роусон – оба получили отставку, оба прошли все перипетии расследования, касавшегося их подрывной деятельности. Расследование это, похоже, опровергло предположение, что Перон позволил заговору созреть и использовал его для своих собственных целей. Генерал Роусон был тот самый опрометчивый и храбрый генерал, который на два дня занял место президента Кастильо и позже оказался в тюрьме за попытку поднять восстание против Фаррела и Перона; с него сняли обвинение в заговоре, но, видимо, продолжали держать под арестом. Согласно официальным донесениям, арестованные офицеры получили отечески мягкий приговор, генерал Менендес был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы, а остальные получили срок от трех до шести лет. Конгресс утвердил закон, который давал Перону право продвигать по служебной лестнице, понижать в должности или увольнять всякого офицера, право, которое он тут же и использовал, чтобы провести во всех подразделениях значительные перестановки.

Ходила история насчет одной модной женской школы, все ученицы которой в восторге бросились к окнам, едва заслышав самолеты мятежников, с криком: «Viva la revolutionˆ К несчастью для монахинь-учительниц, среди воспитанниц была дочь майора Алое, которая и рассказала о случившемся своему отцу. Школа была закрыта и остается закрытой по сей день.

Устранение Эвы из избирательной кампании и ее болезнь, которая поначалу весьма приободрила оппозицию, оказались для Перона самой лучшей поддержкой. Как кандидат Эва разрушала единство партии; как больная женщина она стала объектом бурного демонстративного проявления чувств, причем ее слова, что «она пожертвовала здоровьем ради народа» были обсосаны со

всех сторон. Ее имя, не сходившее с уст агитаторов-перонистов, красовалось, кажется, всюду, так что иностранец мог решить, будто в списке кандидатов стоят лишь два имени – Перон и Перон.

Перон отложил свою поездку по стране, но вся Аргентина была наводнена пропагандистскими листовками; говорили, что перонистская реклама стоила миллион песо в день, причем имя Эвы и ее фотографии появлялись там так же часто, как имя и фотографии Перона. По обеим сторонам Кальe Флорида были воздвигнуты леса, на которых укрепили плакаты, прославляющие «новую Аргентину Перона», с портретами Эвы и Перона, с перонистскими гербами. Чтобы установить такое препятствие для уличного движения, пришлось поступиться доходами магазинов, чьи входные двери и окна были загорожены лесами и к которым, по замечанию одного из очевидцев, не смогли бы пробиться даже пожарные машины. Теперь мессы служили не только во всех церквах, но и у алтарей, воздвигнутых на площадях и автостанциях, и любой прохожий мог вознести молитву о выздоровлении Эвы; то тут, то там попадались маленькие группки, которые, неся с собой образы Святой Девы и свитки с молитвами о выздоровлении Эвы, шествовали в Лухан; люди в приступе повальной истерии в огромном количестве сдавали кровь для переливания; по всей стране среди самых разных слоев населения проходили бесчисленные собрания, демонстрации, митинги. Все это создавало Перону достойную предвыборную кампанию. И то, что оппозиция еще продолжала где-то заседать, рассматривалось перонистами как невнимательность по отношению к больной женщине.

После того как доктор Пак обследовал Эву в октябре и неизбежность операции стала очевидной, проблема здоровья Эвы, казалось, перевесила все прочие, и демонстрация народных чувств приняла заговорщическую окраску, как приготовления к Рождеству; словно ради того, чтобы потворствовать умирающему ребенку, образовался как бы негласный союз прессы и широкой публики. Было объявлено, что в этом году День лояльности, 17 октября, будет посвящен Эвите. В процессе подготовки к этому событию по всему городу и во всех государственных школах расставили телевизоры.

Пласа де Майо оказалась так же заполнена народом, как и в 1945 году; 17-е и 18 октября объявили праздниками, и снова все театры и кинотеатры предоставляли бесплатные развлечения. Эва появилась на балконе Каса Росада и уселась в кресло; она была без шляпы и в узком темно-красном пиджаке, бледная и изможденная – болезнь и сила воображения позволили ей сыграть

роль religieuse[35]. Перон возвышался над ней, а вокруг стояла вся перонистская элита: Эспехо, Фрейер, Кампора, Апольд, Алое и даже полковник Мерканте, которого вернули на время празднования. Толпа бурно аплодировала и скандировала партийный марш «Перонистские ребята». Эспехо сказал речь, в которой превознес самоотверженность Эвы, и преподнес ей «Лавры благодарного отличия» первой степени – украшение, которое, похоже, было сделано специально для нее. Она не могла сразу ему ответить – доктор вообще возражал против ее появления. Затем Перон приколол ей на грудь «Большую перонистскую медаль», высочайшую награду в знак признания ее самоотверженности, выразившейся в том, что она сняла свою кандидатуру. Он обнял Эву, и на мгновение она, рыдая, припала к его плечу.

«Этот чудесный народ, – сказал Перон, – который мы уже назвали лучшим в мире, решил, что сегодняшнее 17 октября должно быть посвящено Эве Перон. Не может быть дани уважения более справедливой, более глубокой, более почетной, чем это посвящение 17 октября Эве Перон. Она не только руководитель и вдохновитель нашего движения, Эва Перон – одна из величайших женщин всего человечества». Затем он попросил о полной тишине, чтобы сеньора Эва Перон могла говорить без напряжения.

То, что Эва смогла произнести эту речь, – еще одно доказательство ее удивительной решимости. В полной тишине она начала:

«Возлюбленные мои «люди без пиджаков», сегодня для меня – день великого волнения. Всей душой я желала быть с вами и с Пероном в этот торжественный для всех «людей без пиджаков» день. Я никогда не забуду внимания, которое оказывал мне народ всякий раз 17 октября. Я заверяю вас, что ничто и никто не мог удержать меня от того, чтобы прийти сюда, потому что я в неоплатном долгу перед Пероном и перед вами, перед рабочими и ребятами из ГКТ, и для меня не имеет значения, если, чтобы его оплатить, я должна буду расстаться с жизнью.

Я должна была прийти, и я пришла, чтобы поблагодарить Перона, и ГКТ, и «людей без пиджаков», и мой народ. Перону, который только что почтил меня самой высокой наградой, которую могут дать перонисты, я никогда не смогу оплатить свой долг, даже если я отдам жизнь в благодарность за ту доброту, которую он всегда выказывал мне. Ничто из того, что я имею, ничто из того, чем я являюсь, ничто из того, о чем я думаю, не мое; все это принадлежит Перону. Я не буду говорить привычной лжи о том, что я этого не заслуживаю; да, я заслужила это, мой

генерал. Я заслужила это благодаря лишь одной вещи, которая стоит всего золота мира. Я заслужила это, потому что все, что я делаю, я делаю ради любви к моей стране. То, что я сделала, не имеет цены; мое отречение не имеет цены; то, чем я являюсь, и то, что я имею, не имеет цены. У меня есть лишь одна ценная вещь, и это – мое сердце. Что-то жжет мне душу, пронзает болью мою плоть, напрягает мои нервы: это – любовь к народу и к Перону. И я благодарю вас, мой генерал, за то, что позволил мне узнать и полюбить вас. Если народ попросит мою жизнь, я отдам ее с песней, потому что счастье «людей без пиджаков» стоит больше моей жизни.

Я должна была прийти сюда, чтобы сказать спасибо ГКТ за Лавры, которыми они наградили меня, которые для меня – самое дорогое напоминание о рабочих Аргентины. Я должна была прийти, чтобы сказать спасибо рабочим и ГКТ, которые посвятили этот славный день простой женщине.

Я должна была прийти, чтобы сказать вам, как я всегда говорила, что нам необходимо бдительно следить за всеми направлениями нашей борьбы. Опасность не миновала. Враги народа, Перона и нашей patria не спят. Необходимо, чтобы каждый рабочий Аргентины бодрствовал и не спал, потому что враги работают под тенью предательства и подчас прячутся за улыбкой или за протянутой рукой. Я должна была прийти, чтобы поблагодарить всех моих возлюбленных «людей без пиджаков» со всех уголков нашей patria, потому что 28 сентября вы умели рисковать своими жизнями ради Перона. Я была уверена, что вы будете знать, как знали это и раньше, каким образом действовать, чтобы оградить Перона. Враги Перона и родины уже давно знают, что Перон и Эва Перон готовы умереть за народ. Теперь они знают, что народ готов умереть за Перона.

Сегодня я прошу вас только об одном, товарищи: публично поклясться защищать Перона и бороться за него, и мы должны кричать нашу клятву в течение минуты, чтобы звуки ее могли достигнуть самых отдаленных уголков земли».

После этого толпа разразилась громогласным ревом: «Моя жизнь – за Перона! Моя жизнь – за Перона!», который, если и не достиг самых отдаленных уголков земли, то вполне мог быть услышан в тюрьмах Вилья Девото и Сан-Мигель. Когда крики сменились тишиной, Эва продолжала:

«Я благодарю вас, товарищи, за ваши молитвы о моем здоровье. Я благодарю вас от всего сердца. Я надеюсь, что Бог слышит мольбы народа моей родины, и потому я смогу скоро вернуться в бой и продолжить свою борьбу вместе с Пероном – за

вас, и с вами – за Перона до самой моей смерти.

Я никогда не хотела и не хочу ничего для себя. Моя слава есть и всегда будет щитом для Перона и флагом моего народа, и даже если на этом пути мне суждено терять по капле свою жизнь, я знаю, что вы соберете все их во имя мое и, словно флаг, понесете их к победе.

Я знаю, что Бог – с нами, потому что он всегда остается с униженными и презирает гордость олигархов, и потому победа будет за нами. Раньше или позже мы добьемся ее, мы заплатим за нее столько, сколько потребуется, и кто должен будет пасть во имя ее, тот падет.

Мои «люди без пиджаков», я хотела бы сказать вам многое, но мои доктора сказали, что я не должна говорить. Я оставляю вам свое сердце и говорю вам, что я уверена, и это – мое главное желание, что я вскоре снова вернусь в эту битву, с удвоенными силами и удвоенной любовью, чтобы бороться за эту страну, которую я люблю так же сильно, как люблю Перона. Я прошу вас только об одном: я убеждена, что вскоре снова буду с вами, но если из-за моего здоровья не смогу, помогите Перону, будьте верны Перону так же, как были верны до сих пор, потому что это означает быть верным patria и самим себе. И те «люди без пиджаков», которые живут в пределах нашей страны, должны знать, что я обнимаю их и прижимаю к самому сердцу, и я надеюсь, что теперь они понимают, как сильно я их люблю».

Достаточно было взглянуть на Эву во время этой церемонии, чтобы убедиться в ее искренности; она сама убедила себя в том, что является «Леди надеждой и состраданием», любящей всех и любимой всеми. Но любовь, в которой она клялась, должно быть, была горька, потому что она пронзала, жгла и наполняла болью ее душу.

5 ноября доктор Пак снова приехал в Буэнос-Айрес; здесь он жил в полной изоляции, ему не позволяли общаться даже со своим другом, американским послом мистером Эллсморсом Банкером. Стало известно, что 3 ноября Эву перевезли в клинику президента Перона, весь второй этаж которой, как говорили, был отведен лично для нее; за несколько месяцев до этого больница уже была фактически закрыта, так что оставалось лишь обставить ее с подобающей роскошью. На соседних улицах начали собираться толпы, молившиеся за выздоровление Эвы, но их жаркие молитвы были не вполне искренни и добровольны; позднее некоторые фирмы Буэнос-Айреса сообщали, что им было приказано выделить для этого мероприятия столько сотрудников

и необходимого транспорта, сколько требовалось. Все торжественные мероприятия перонистов были отменены, о выздоровлении Эвы каждый час служились мессы. Папе Римскому посылались телеграммы с просьбами о личном заступничестве, сенаторы, депутаты, государственные чиновники молились так, словно весь город был поражен чумой. Но в основном вся эта любовь к Эве была всего лишь частью перонистской кампании, ее болезнь нещадно эксплуатировали агитаторы, и все это было настолько ко времени, что кое-кто подумывал, не откладывали ли ее операцию специально, чтобы, взбудоражив чувства голосующей публики, дать Перону огромное преимущество на выборах. Эвину идею мученичества, не менее важную составляющую ее болезни, чем раковая опухоль, всячески превозносили, не особенно заботясь о душевном здоровье больной, подобно тому, как в эпоху средневековья недобросовестные священники эксплуатировали видения и экстатические состояния умалишенных девушек.

6 ноября Эве удалили матку. Ходили слухи, что, ложась под наркоз, она воскликнула: «Viva Peron!» Операцию проводил доктор Пак, присутствовали доктор Рикардо Финочиетто, директор клиники, доктор Хорхе Альбертелли, известный гинеколог, и доктор Рок Иззо, директор медицинской школы при университете Буэнос-Айреса. Судя по всему, аргентинские специалисты не хотели сами оперировать Эву, поскольку не были уверены в благополучном исходе. Операция длилась три часа и двадцать минут, и наконец было объявлено, что рак по возможности удален. И снова Эва почти наверняка не знала о присутствии доктора Пака, потому что он вошел, когда она была уже под наркозом, и уж наверняка не подозревала, что проводил операцию именно он. Приехав в декабре, доктор Пак получил премию за свои исследования в области изучения рака, и примерно в то же время было сделано подношение доктору Финочиетто, причем в такой форме, что это давало основание именно его считать главным хирургом. Вероятно, таким образом от общественности хотели скрыть тот факт, что для операции был приглашен иностранный специалист; вполне возможно, что Эва так до самого конца и не знала, кто именно удалял опухоль.

Выборы состоялись через пять дней, 11 ноября, и Перон был переизбран шестьюдесятью шестью процентами голосов. К кровати Эвы принесли специальную урну для бюллетеней, чтобы она – одна из четырех миллионов аргентинских женщин, голосовавших впервые в жизни, – могла подать свой голос. Прежде чем Эву положили в клинику, она записала речь, которую транслировали в последний день кампании.

«Не голосовать за Перона, – сказала она, – значит не

голосовать за Аргентину. Я говорю это потому, что чувствую: поступить иначе – значит предать страну». Она сказала, что 11 ноября будет духовно сопутствовать каждому шагу каждого избирателя. «Я стану следовать за вами, словно тень, повторяя вам на ухо, повторяя вашей совести имя Перона – до тех пор, пока вы не опустите в урну свой бюллетень – как послание любви и веры и верности лидеру народа». Она закончила словами: «Пусть каждый голос перонистов 11 ноября будет молчаливым криком из глубины аргентинской души: «Моя жизнь – за Перона!»

Эва Дуарте де Перон умерла 26 июля 1952 года, менее чем через год после того, как на Авенида де Хулио было объявлено перед народом, что она баллотируется в качестве кандидата в вице-президенты. Для нее этот год был исполнен мучений. После операции несколько раз она появилась на публике: в первый раз, когда было объявлено о победе Перона на выборах, и парни из ГКТ устроили факельное шествие от Пласа де Майо вдоль Калье Флорида и по проспекту Освободителя Сан-Мартина – когда-то известному как Авенида Альвеар – к президентской резиденции; там Эва ненадолго появилась на балконе в кресле на колесиках. Ее последний выход состоялся 4 июля 1952 года на инаугурации Перона на второй срок.

Несмотря на то, что народ продолжал настойчиво молиться о ее выздоровлении и всем было ясно, что Эва тяжело больна, в прессе замалчивалась серьезность ее положения. Перед камерами она старалась выпрямиться в кресле, в храброй попытке показать свою былую энергию, но, как только их убирали, в изнеможении откидывалась на спинку. У нее не хватало сил даже на то, чтобы играть роль мученицы.

После ее смерти перонистская пресса сообщала, что, несмотря на боли, она кричала докторам, что не хочет умирать, что Перон и народ нуждаются в ней и что в самом конце она позвала Перона и заставила его поклясться, что он никогда не покинет «людей без пиджаков». Эта информация вполне может быть перонистской пропагандой, но с легкостью может и оказаться правдой, потому что Эва слишком долго жертвовала реальностью ради фантазий и безоговорочно, словно самые преданные из ее последователей, верила, что она и Перон избраны судьбой для спасения человечества.

За несколько дней до ее смерти Перон наградил ее «Ожерельем Сан-Мартина»; этот знак отличия предназначался для руководителей государства и давал Эве, не имеющей соответствующего чина, право на погребение с президентскими почестями. В ожерелье было семьсот бриллиантов, изумрудов и рубинов в золотой и платиновой оправе. Это была последняя ее

драгоценность.

Когда она умирала, у ее постели были мать, брат и три сестры, Перон и члены кабинета. В тот вечер радиостанции Буэнос-Айреса прервали вещание, и вице-секретарь министерства информации исполнил свой «скорбный долг объявить, что в восемь двадцать пять сеньора Перон, духовный лидер нации, ушла от нас». Это сообщение повторялось каждые пятнадцать минут, в перерывах звучала траурная музыка. Кабинет министров заявил, что на два дня любая политическая деятельность будет приостановлена. В стране был объявлен тридцатидневный траур. Во всех церквах звонили колокола, и Аргентина на пять минут погрузилась в молчание.

Было решено, что в парке Палермо будет воздвигнут мавзолей из мрамора и бронзы, размером больше Статуи свободы, и что копии его появятся во всех провинциальных городах. На его строительство членам ГКТ предложили внести свою зарплату за 22 августа – в дальнейшем этот день стал известен как День отречения. Белый саркофаг был провезен сквозь рыдающие толпы к зданию министерства труда, где Эва царствовала в течение шести лет. В первый день собралось столько народу, что по меньшей мере три человека погибло в давке и более двух тысяч получило увечья. Женщины в истерике бросались целовать остекленный гроб; чтобы сдерживать толпу, были призваны войска. Перон объявил, что погребальный обряд откладывается до тех пор, пока не будет наведен порядок вокруг министерства труда.

В течение трех дней в Буэнос-Айресе вся коммерческая деятельность приостановилась, были закрыты магазины и рестораны, на улицах исчезли такси, в новостях сообщалось лишь о ходе траурных церемоний. В первоклассном отеле «Плаза» постояльцам приходилось самим застилать постели и довольствоваться одной трапезой в день – купить еду было невозможно. Но для продавцов цветов наступил звездный час, и даже в магазинах вскоре уже не хватало цветов для венков, которые наводнили министерство труда и дюжинами лежали вокруг здания, намокая под дождем.

В сенате и в эфире Эву называли Мученицей Труда, Защитницей покинутых, Защитницей рабочих, Путеводной звездой для детей. Было решено, что теперь и всегда 26 июля будет днем траура, что теперь и всегда все члены Перонистской партии будут носить черные галстуки на всех торжественных церемониях, что каждый день делегация школьников будет возлагать цветы к ее саркофагу и у ее гробницы всегда будет стоять почетный караул из двадцати рабочих.

Эвита умерла в тридцать три года, словно бы по воле античного Рока. Такая смерть более всего приличествовала ей. Эва всегда верила в свою судьбу, и эта вера давала ей силу. Когда-то она заявляла, что станет величайшей актрисой мира. Об этом грезило множество девочек, но судьба и случай, ее неослабная энергия и безжалостность даровали ей роль, которая далеко превосходила все мечты. Она стала самой любимой и самой ненавидимой женщиной своего времени, самой могущественной, самой легендарной и, вероятно, самой богатой женщиной в мире. Ей были оказаны все возможные почести, кроме лишь канонизации. Папа отказал ей в этом, но Эва умерла с верой в то, что она – святая.

Эпилог – 1977

Я вернусь, и я вернусь в миллионах…

Э.П.

Эта книга была написана в 1952 году, но история Эвы не окончилась с ее смертью. Даже спустя двадцать пять лет она не оставила свою страну. Страстные слова, которые она произносила в эфире, прорастали среди раздоров, словно драконовы зубы. Ее имени было достаточно, чтобы аргентинец пошел против аргентинца, перонист против перониста.

В Пероне угадывалась та самая столь свойственная южноамериканцам апатия, скорее духовная, нежели физическая, которая заставляет пожимать плечами и повторять: «Что же делать!» Он не был настолько азартным игроком, чтобы идти ва-банк: среди политиков он был скорее лукавым игроком в покер, который держит за манжетой козырной туз. В 1945 году, когда Перон жаловался на неудобства тюремной жизни на острове Мартин Гарсия, именно призывы Эвы подняли «людей без пиджаков» на его поддержку. До самой смерти она была той динамо-машиной, которая снабжала его энергией. Теперь, когда она ушла, его твердость поколебалась. Еще до того, как был окончен мавзолей, ставший для тела Эвы домом в вечности, Перон был отправлен в ссылку.

В 1955 году, спустя три года после смерти Эвы, армия, напуганная государственной политикой, которая привела страну на грань банкротства, устроила государственный переворот. Армию поддержали католические епископы, так как разбойники-перонисты грабили и варварски разрушали церкви. Студенты подняли восстание, и даже ГКТ, огромная вооруженная толпа, на которую надеялся Перон, не смогла сплотиться для его поддержки. Теперь уже не было Эвы, чтобы заставить партию действовать.

После пяти дней боев под угрозой обстрела города флот, который всегда был враждебно настроен по отношению к Перону, отправил его в ссылку в Уругвай на уругвайском военном катере. То, что его не посадили в тюрьму и не казнили, свидетельствовало не столько о гуманизме его врагов, сколько об их убежденности, что его время миновало. В Буэнос-Айресе толпы заполнили улицы, радуясь его падению. Все, кроме наиболее фанатичных перонистов, верили, что видят его конец. Это могло

быть так, если бы не бездарность и продажность сменивших его правителей и если бы не козырной туз, который он держал в рукаве, – тело Эвиты.

Ее тело было открыто для доступа поначалу в министерстве труда, затем в сенате, и наконец в часовне в штаб-квартире ГКТ. Там оно было забальзамировано известным испанским патологоанатомом Педро Ара. Говорят, что это обошлось Перону в сотню тысяч долларов, но деньги были потрачены не зря, так как теперь телу фактически не грозило разложение. Когда генерал Арамбуру захватил штаб-квартиру ГКТ, тело было обнаружено, но не в часовне, и вообще не в гробу – оно лежало во временном алтаре в одном из запертых кабинетов. И это оказалась не последняя проблема, с которой пришлось столкнуться генералу. Перонистские феминистки, чья партия была распущена, уже требовали, чтобы им выдали тело для христианского погребения. Место ее захоронения неизбежно должно было стать «меккой» перонистов. Как католичку ее не могли кремировать, а военный флот отказался предоставить ей место на кладбище на острове Мартин Гарсия. Ее семья, сосланная в Венесуэлу, весьма неблагородно умыла руки и отказалась от нее. Тело исчезло, и шестнадцать лет о нем ничего не было слышно.

В ресторанах и экспресс-барах Буэнос-Айреса, в будуарах и на скамейках в парках витали слухи о том, где теперь находится тело Эвы: Арамбуру выбросил его в реку; оно замаскировано под тело монахини и его кораблем отправили в Рим для захоронения; двадцать пять видных горожан, которые по отдельности дали присягу ради сохранения тайны, получили каждый по гробу для тайного погребения, и каждый верил, что именно его гроб содержит останки Эвы Перон.

Что происходило с телом Эвиты на протяжении последующих двух лет, до сих пор остается неясным, но в 1957 году сеньора Айролди, рукоположенная сестра из Миссии святого Павла, прибыла в Милан с гробом, в котором, как она полагала, содержится тело Марии Магги, итальянской вдовы, умершей в Аргентине. Оно было захоронено на кладбище Мусокко в Милане и четырнадцать лет лежало непотревоженным.

Перон бежал в Парагвай, оттуда – в Панаму, затем в Санта-Доминго, или, как его называли, Сьюдад Трухильо, и наконец в Мадрид. Ему было нелегко найти себе постоянное место. Перон был истинным аргентинским macho, и он не мог жить без женщины. После смерти Эвиты ее наиболее преданные последовательницы обвиняли его в «похождениях» с несовершеннолетними школьницами в президентской

резиденции в Оливос. В Панама-Сити он встретил юную аргентинскую танцовщицу из кабаре, Марию Эстелу Мартинес. Она переехала с ним в Мадрид, и в 1961 году они поженились. По любым меркам Перон был невероятно богатым человеком – среди бесконечных слухов, циркулировавших вокруг него, была и история о том, что после смерти Эвы ее счет в швейцарском банке обнаружен не был. Он и Изабелита, как стали называть его третью жену, жили в роскоши на фешенебельной, хорошо охраняемой вилле в элитном районе Пуерто де Гиерро в пригороде Мадрида.

Здесь он продолжал принимать верных ему делегатов от профсоюзов и членов перонистской партии. В то время как один губительный режим в Аргентине сменял другой, за семнадцать лет после отставки Перона в стране было пять военных и три гражданских правительства, медленный поток визитеров в роскошный дом в Пуерто де Гиерро превратился в потоп. Эйфория, последовавшая за падением Перона, быстро рассеялась. Цены продолжали расти, коррупция распространялась повсюду, а насилие очень быстро стало образом жизни. Перон однажды не без юмора заметил: «Дело не в том, что мы были такими хорошими, а в том, что те, кто последовал за нами, были так плохи, что мы стали выглядеть лучше, чем мы есть». Даже самые безнадежные консерваторы начали верить, что Перон, который оставил страну в хаосе, возможно, единственный, кто восстановит спокойствие.

Перон был гениальным обманщиком. Justicia-lismo, который он проповедовал, был, как он объяснял, средним путем между капитализмом и коммунизмом и позволял ему каждого, кто к нему приходил, убеждать в своем сочувствии. Военным и бизнесменам он обещал спокойствие и процветание; молодому поколению, которое не могло помнить, насколько деспотическим был его режим, он обещал справедливость и новый общественный строй. Эта политическая неопределенность вполне могла открыть ящик Пандоры перед его соотечественниками.

Сам Перон, похоже, не торопился расставаться со своей привольной жизнью в Пуерто де Гиерро, где Изабелита тщательно следила за его питанием и оберегала его от чересчур настырных визитеров. Ему было за семьдесят, он все быстрее уставал и, как утверждали его враги, все больше дряхлел. На свете еще очень многие желали ему смерти. И только тело, лежащее под чужим именем на кладбище Мусокко, не давало ему покоя.

Тайна исчезновения Эвы многое прибавила к легенде о ней. Бедняки в Аргентине помнили лишь светлые надежды, которые, как им казалось, она дарила. Она стала культовой фигурой для нового поколения, которое скандировало: «Эва живет».

«Монтонерос», молодежная крайне левая террористическая группировка, утверждала: «Если бы Эвита была жива, она была бы монтонеро».

Не раз Перон просил генералиссимуса Франко разрешить ему перевезти ее тело в Мадрид, но Франко, который не выказал сиюминутной готовности принять Перона, отказал. В 1971 году он смягчился. Возможно, это произошло потому, что генерал Алехандро Лануссе, последний, кто прибрал к рукам власть в Аргентине, оказался под давлением перонистской партии и использовал в ее целях свое влияние. Вероятно, Франко, который всегда держал нос по ветру, почувствовал, что надвигаются перемены.

В июне 1971 года человек, который назвался Карлосом Магги, братом несуществующей Марии Магги, получил разрешение от властей Милана эксгумировать тело. Внешний деревянный каркас сгнил, но сам гроб, который, как говорили, был сделан из серебра, находился в превосходном состоянии – так же, как и тело: лицо покойницы можно было разглядеть через стеклянное окошко в крышке. Человек, называвший себя Карлосом Магги, сопроводил тело в катафалке вдоль границы Франции на виллу под Мадридом.

У нас нет сведений о том, как его там приняли, но похоже, что, несмотря на личные чувства, Изабелита приняла тело своей предшественницы с таким благоговением, словно то были мощи святой.

Аргентинские военные к тому времени утратили всякие иллюзии касательно своей способности восстановить порядок в стране. Инфляция достигла приблизительно семи процентов в год и все еще росла, иностранцы отзывали из страны капиталы, мясо люди могли себе позволить только раз в две недели – в стране, гордостью которой была говядина! – а количество взрывов и убийств возросло. Ланусс провозгласил, что в 1973 году будут проведены всеобщие выборы, первые за десятилетие. Стало ясно, что без сотрудничества с перонистами невозможно будет добиться никакой мирной передачи власти, а перонисты тем временем, похоже, были не в состоянии сотрудничать даже друг с другом. Под знаменем Перона сплотились бизнесмены и маоисты, военные и террористы, и разногласия в перонистских рядах все возрастали и становились неконтролируемыми. Был только один человек, который мог, как считал Ланусс, их устранить, и генерал неохотно заявил, что, если Перон вернется домой, он будет желанным гостем. Не было никаких упоминаний о теле Эвы. Даже говорить об этом было слишком опасно.

Перон вместе с Изабелитой вернулся в ноябре 1972 года, и

его возвращение разочаровало и его, и его последователей. Усталый пожилой человек, который шагнул под дождь с чартерного самолета «Алиталии», небрежно помахал толпе и заторопился к ожидающему его автомобилю, больше не был тем пламенным caudillo[36], который плечом прокладывал себе дорогу сквозь тянувшуюся к нему руками и кричащую толпу. Не та была и толпа, приветствовавшая его, лишь около шестисот человек, причем большинство газетчики, собралось в аэропорту Эсейса. Тысячи людей с флагами и барабанами, обещанные Перону перонистской партией, были оттеснены войсками. Сам город словно вымер. Ланусс, дабы избежать демонстраций, заявил, что это будет день принудительного отдыха, тогда как ГКТ призвала ко всеобщей забастовке, чтобы позволить «людям без пиджаков» приветствовать своего вернувшегося домой героя.

Перон так долго бездельничал, ожидая возвращения, что пропустил августовский срок, который позволил бы его имени появиться в бюллетенях для мартовского голосования. Негодуя, поскольку Ланусс не поменял ради него порядок, чувствуя, что официальные лица им пренебрегают, и будучи разочарован приемом, Перон через четыре недели снова покинул страну, немногим более торжественно, чем когда бежал на уругвайском военном катере в Уругвай. Они с Изабелитой вернулись в Мадрид и стали ждать результатов выборов.

Если появление Перона несколько разочаровало народ, имена Эвы и Перона ничуть не потеряли своего былого волшебного очарования. Стены домов в Буэнос-Айресе украшали их портреты, словно они продолжали править страной. Человек, которого Перон рассчитывал выставить вместо себя, Эктор Кампора, малоизвестный политик, не отличавшийся ничем, кроме рабской преданности Перону, победил под лозунгом: «Кампору в правительство! Перона к власти!» Он подал в отставку через пятьдесят дней после инаугурации, и Перон, который с триумфом вернулся в июне, был выбран на третий срок в сентябре, с Изабелитой в роли помощника.

Издалека на балконе Каса Росада Перон все еще смотрелся видным мужчиной: un buen pedazo de pan[37], как говорят аргентинцы. Привлекательный, прямой, выше шести футов роста, с крашеными черными волосами, ободренный своим невероятным возвращением, он все еще казался молодым и сильным. Посетители президентской резиденции в Оливос были очарованы его дружескими манерами и обезоруживающей улыбкой. Он неплохо играл роль умудренного годами государственного деятеля, и многие все еще верили, что он сможет объединить страну и дать ей обещанные мир и процветание. Но Перону было

семьдесят восемь лет, и вскоре начали ходить слухи о его плохом здоровье. 1 июля 1974 года, через девять месяцев после вступления в должность, он умер от пневмонии и последовавшей за ней сердечной блокады, оставив Изабелиту первой женщиной – главой государства в истории обеих Америк.

По иронии судьбы ею стала Изабелита, а не Эвита, которая в свое время на деле исполняла эту роль, и было что-то трогательное в ее попытках вести себя подобно своей предшественнице. По происхождению они стоили одна другой, хотя прошлое Изабелиты было более обыкновенным. Ее отец умер, когда она была маленькой, и она покинула провинцию Ла-Риоха, чтобы поступить в труппу исполнителей национальных танцев в Буэнос-Айресе. Она была не более образованна, чем Эва. У нее также были определенные амбиции, но ей не хватало политического оппортунизма, и она была совершенно лишена той энергии, отваги и всепобеждающей веры в свою великую судьбу, которые вынесли Эвиту наверх. Теперь Изабелита столкнулась с ситуацией, перед которой могла дрогнуть сама Эва. Возвращение Перона нисколько не смягчило раскол в рядах перонистов. Когда годом раньше он торжественно явился в город, толпы, встречавшие его в аэропорту, устроили потасовку. В этой драке по меньшей мере сто человек погибли и тысячи были ранены. Его ближайшие советники отличались от прочих в первую очередь своей безвестностью. Один из них, Хосе Лопес Рега, астролог и зловещая фигура, всегда был рядом с Пероном, а теперь стал приближенным Изабелиты. Ему одинаково не доверяли и правые, и левые. Да и самой Изабелите правящие круги не доверяли, причем не только из-за недостатка опыта, но и потому, что она была женщиной. Перонисты былых времен негодовали, глядя на ее попытки подражать Эве: она носила такую же прическу, выкрасилась в темную блондинку и собирала волосы в пучок, как делала Эвита. В стране воцарился хаос. Инфляция возросла до шестисот процентов, и ожидалось ее повышение, иностранные бизнесмены, столкнувшиеся с непосредственной угрозой своей жизни и жизням детей, уезжали из страны. Политические убийства участились до трех в день. У Изабелиты на руках осталась лишь одна карта, козырной туз, не разыгранный Пероном. Она послала Лопеса Регу в Мадрид, чтобы привезти тело Эвиты домой.

Некоторые говорят, что она сделала это, чтобы спасти Лопеса Регу, чьей жизни угрожали; другие – что она надеялась отвлечь внимание от непомерных налогов и растущих цен. Самое причудливое и самое правдоподобное объяснение таково: группа «монтонерос» настаивала на обмене телами. Четыре года назад

«монтонерос» убили генерала Арамбуру – того самого Арамбуру, который в 1955 году вывез тело Эвы из страны. Недавно его труп был выкраден из семейного склепа, и теперь они предлагали вернуть его, если тело Эвиты будет привезено домой. Когда самолет с останками приземлился на военной авиабазе, «монтонерос» позвонили в газеты и сообщили, что тело Арамбуру лежит в грузовике, припаркованном на одной из улиц Буэнос-Айреса.

Лишь несколько человек приветствовали возвращение Эвиты домой. Мероприятие проходило в такой строгой секретности, что общественность не знала ничего до тех пор, пока гроб с телом Эвы не поставили рядом с Пероном в церкви при президентской резиденции. Она вернулась, но не «в миллионах». Было слишком поздно. Мертвые не могли вернуть спокойствие этой земле.

Изабелита появлялась на публике все реже и реже. Это была тоненькая, хрупкая, нервная женщина сорока трех лет, и в ее резком голосе порой звучали истерические нотки. Город был полон слухов: говорили, что она подаст в отставку, что армия мобилизована, что Лопес Рега арестован или что он бежал из страны, что тела четы Перон исчезли и что на месте Эвы лежит восковая фигура. Изабелита отправилась на холмы Кордовы «для поправки здоровья». Она вернулась в Буэнос-Айрес и почти сразу нашла прибежище в больнице. Она уже как загнанный заяц металась туда-сюда и тем не менее сохраняла с дурацким упрямством пристрастие к краткому очарованию аргентинского солнца.

Конец не удивил никого, кроме самой Изабелиты. Она не имела никакого понятия о тщательно спланированном заговоре до тех пор, пока вертолет, который должен был доставить ее в президентское имение в Оливос, не отклонился от курса и ее без всяких церемоний не проинформировали, что она арестована. Позже ее судили за то, что она присвоила семьсот тысяч долларов бюджета для своих собственных нужд. Даже и в преступлении она оказалась лишь бледной тенью Эвиты, не считавшей и сотни миллионов долларов, которые проходили через ее руки и бесследно исчезали. Эва заявляла, что считать деньги, которые тратятся на благотворительность, – это капиталистическая чушь. «Я просто трачу деньги на бедных, – говорила она. – Я не могу остановиться, чтобы их пересчитать».

Дальше начались бесконечные споры между аргентинцами о том, почему их страна, которая в первые три десятилетия века была самой стабильной, самой прогрессивной, самой богатой и многообещающей страной в Южной Америке, докатилась до

анархии. История рассудит, насколько велика была вина Эвы и Перона. Но хотя бы отчасти в этом повинен и сам народ Аргентины, и патриархальная система, позволявшая невероятному богатству процветать рядом с ужасающей нищетой, и «национальный характер», который не только вычеркивал из жизни женщин, но и не позволял мужчинам задуматься об общем благе. Не следует забывать и заслуги Перона: он предоставил трудящимся социальные блага – гарантированный минимум зарплаты, восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые больничные листы и так далее, – которые сохранились и поныне и которые некогда хотя бы немного улучшили положение тружеников. К заслугам Эвы следует отнести освобождение аргентинских женщин. Во время правления Перона женщины получили право голоса и был узаконен развод, да и сама Эва одним своим существованием опровергала мысль о женской неполноценности.

Те, кто помнит прошлое Аргентины, должны горевать при виде развалин великой страны и медленной гибели ее народа. Хаос в политике и экономике продолжается. Инфляция возросла до тысячи процентов в год. Не только иностранные бизнесмены забрали свое имущество из страны, но и сами аргентинцы уезжают навсегда. Молодые профессионалы и рабочие не видят для себя будущего на родине, и пожилые люди, боясь за свою жизнь и за жизнь своих детей, отправляются в добровольное изгнание. Уровень насилия почти достиг стадии гражданской войны. Совет глав вооруженных сил под руководством генерала Видела попытался восстановить закон и порядок, но эта попытка оказалась столь же безрезультатной, как и все предыдущие. «Монтонерос» убивают правительственных чиновников, офицеров и любого, кого заподозрят в сотрудничестве с полицией, тогда как полицейские команды, зачастую не способные выследить самих террористов, арестовывают и подвергают пыткам их семьи, всех, кого хотя бы смутно можно заподозрить в связи с левыми, тела их выбрасывают в море с вертолетов, оставляют на свалках и пустынных дорогах. Тот, кто может, нанимает телохранителей. Даже дети не чувствуют себя в безопасности.

Тела Перона и Эвы больше не выставлены на всеобщее обозрение. Гроб Перона перевезен в фамильный склеп в предместье Буэнос-Айреса.

На Реколета, закрытом кладбище, в самой престижной части города, выстроен мавзолей в готическом стиле. Под ним, на пять метров ниже уровня земли, располагается склеп, обшитый листовой сталью. Листы изготовлены и сварены по особому

заказу фирмой, которая делает несгораемые шкафы для банков. Замки на нем – последней и надежной модели и система сигнализации соединяет склеп с ближайшим полицейским участком. Здесь в окружении мраморных и бронзовых надгробий тех аристократических семей, которые она ненавидела и которые ненавидели ее, под стеклянной крышкой своего гроба лежит Эвита.

В дни моей молодости аргентинские крестьяне говорили, что, если не огородить кладбище, дух умерших будет бродить по свету. Реколета окружает высокая стена, и оно хорошо охраняется. Так пусть же дух Эвиты вечно почиет в мире.

notes

Примечания

1

Президент Иполито Иригойен. *(Здесь и далее примеч. автора обозначены звездочкой.)*

2

Президента Альвеара прозвали *Pelado,* или Лысый. Его друга Иригойена называли *Peludo* – Волосатик.

3

Президент Роберто М. Ортис.

4

Кабачок (фр.). *(Здесь и далее примеч. ред. обозначены цифрами.)*

5

Имение, поместье *(исп.)*.

6

Неуважение (исп.).

7

Свободные брюки из хлопка *(арг.)*.

8

Старушка (исп.).

9

Эва Перон. Смысл моей жизни (La Razon de mi Vida).

10

Хозяин *(исп.)*.

11

Креолы, потомки первых испанских и португальских поселенцев в Латинской Америке (иси.).

12

Портовый люд; простые горожане *(исп.)*.

13

Берсальеры – стрелки итальянской пехоты.

14

Да здравствует демократия! *(исп.)*

15

Святой Хуан!

16

Как чудесно! *(исп.)*

17

Латиноамериканский клуб (фр.).

18

Госпожа супруга президента *(исп.)*.

19

Эрнесто Саммартино. Правда о положении в Аргентине (La Verdad sobre la Situacion Argentina).

Позднее был добавлен второй «день без мяса».

21

Послушное дитя (исп.).

22

Друг *(исп.)*.

23

Эрнесто Саммартино. Правда о положении в Аргентине.

24

Мате – настой, известный также как парагвайский чай, который в Аргентине пьют с таким же удовольствием, как в Соединенных Штатах – кофе, а в Англии – чай.

25

Маленькое ранчо *(исп.)*.

26

От слов «справедливость» (justice) и «социализм».

27

Секретариат труда и социального обеспечения в 1948 году был преобразован в министерство.

28

8000 песо в 1947 году равнялись примерно 1900 долларам; 120 000 песо в 1951-м стоили меньше 6000 долларов.

29

Перед второй инаугурацией Перона в июне 1952 года Рейес, который провел в тюрьме уже четыре года, был приговорен к пятилетнему заключению.

Как заявлял Мильтон Бракер в «Нью-Йорк таймс».

31

В 1952 году было объявлено, что провинция Пампа будет теперь называться провинцией Эвы Перон. Сам Перон не отставал от своей жены по количеству школ, парков и т. п., носящих его имя, и тоже имел «свою» провинцию.

32

Военный билет *(исп.)*.

33

Перон, исполняющий обещания Эвита величественная.

34

Доктор Кихано умер 3 апреля 1952 года, не дождавшись вторичного вступления в должность вице-президента.

Здесь: религиозной святыни (фр.).

Каудильо, вождь *(исп.)*.

37

Хороший ломоть хлеба *(исп.)*.